

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАПИСКИ

Журнал русской литературы
Книга тринадцатая
(I - 2008)

Verlag "Partner"
2008



Главные редакторы:

Даниил Чкония
Лариса Щиголь

Редколлегия:

Людмила Агеева
Борис Вайнблат
Сергей Викман
Юрий Малецкий

“Zarubežnye zapiski“

ISSN 1862-8419

Все тексты этого и других выпусков журнала
представлены на интернет-порталах:

<http://magazines.russ.ru/> (Журнальный зал)
<http://www.zapiski.de>

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАПИСКИ

Журнал русской литературы

КНИГА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Юрий Колкер. Я хотел бы жить со скворцом... *Стихи* 2

К 80-ЛЕТИЮ БОРИСА ХАЗАНОВА

Борис Хазанов. Вчерашняя вечность. *Роман* 9

Александр Мильштейн – Борис Хазанов. *Беседа* 52

Юрий Колкер. Писатель земли русской 56

ПРИВЕТСТВИЯ И ПОЗДРАВЛЕНИЯ 63

Михаил Дынкин. Лирика. *Стихи* 72

Владимир Шубин. Невский сплин. *Рассказ* 76

Евгений Чигрин. Стишками-плавниками шевеля... *Стихи* 92

Леонид Гиршович. Криминалиссимо. *По мотивам двух неудавшихся рассказов* ... 98

Яков Лотовский. Правый сапог для старухи Тумаркиной. *Рассказ* 152

СВОБОДНЫЙ ЖАНР

Юрий Малецкий. Памяти трёх товарищей Эриха Марии Ремарка 158

ЭССЕИСТИКА, КРИТИКА, ПУБЛИЦИСТИКА

Александр Мелихов. Творцы декретной родины 171

Алексей Макушинский. «Титаник» и «океан» 185

ИНЫЕ ЖАНРЫ...

Нина Горланова, ВячеславБукур. Субботник 195

Коротко об авторах...... 198

Я ХОТЕЛ БЫ ЖИТЬ СО СКВОРЦОМ...

* * *

Сладко уразуметь, как прядут и ткут.
Время перерождается, подхватив
Райским вратам двоюродный древний труд,
Шелковый этот, льняной, шерстяной мотив.

В Месопотамии или в Египте – там,
Прежде, чем первый выкован был клинок,
Трепет священный по женским прошел перстам,
Волны и струны сошлись: побежал челнок.

Видно, и впрямь терпенью гений сродни,
И уж наверное ритмом песня жива.
Спеет, копясь, клетчатка долгие дни,
Жито и ткань приваживают слова.

Слаще вина процеженного глотка
Нежит шероховатое полотно.
Цевка – сестра цевнице, и жизнь – сладка.
Плещет в амбары собранное зерно.

Весел твой замысел, ткань живая, и прост.
Дням ли, тысячелетьям потерян счет, –
Тянется, тянется с неба серпянка звезд,
Крутится, вертится шар голубой – и ткёт.

1997

* * *

А. Гелих

Молодость склонна к эпосу, значит – к утрате:
К долгой разлуке, к неутолённой любви.
Троя – вот ее нерв: там Зевс на подхвате,
Стройный сюжет, замешанный на крови.

Самоубийство ей кажется сильным ходом –
Правда, всё реже: всё-таки век не тот.
Скучно с милой квитаться или с народом,
Зная: Олимп и бровью не поведёт.

Помню, бродил я по городу днём погожим,
Ссору лелея и втайне собой гордясь,
А Каллиопа, дряхлая, врала: – Отложим!
Выдюжим, лишь бы пряжа не порвалась.

Молодость мнит, в закон возвышая частность,
На поколенья вперед закупить места.
Биологическая целесообразность –
Вот ее неподсудная правота.

Если бы старость могла, а молодость знала!
Впрочем, формулу можно и развернуть:
В чём-то ведь правду гречанка мне нашептала:
Лишь к тридцати мы умеем подковы гнуть,

Лишь к сорока сообщается нам дорога...
Кто в Лабиринте шишек успел набить, –
Тот, поостыв, человека, страну и Бога
Только взаимной любовью готов любить.

1995

* * *

Святой Георгий на коне,
Тесак и пика, весь в броне,
Под ним – несчастный ящер.
Не дав травинку дожевать,
Спешит его освежевать
Мой кровожадный пращур.

Зверь безобиден, не крылат,
Плешив и кроток, как прелат,
Но, одержимый духом,
Мой тезка, доблестный в бою,
Коня пихает на змею
Незащищенным брюхом.

Мы в бой пошлем своих сынов
За равноправье скакунов,
За ящеров свободных.
В своей же собственной стране
Противен витязь на коне
Защитнику животных.

2006

* * *

Вот Гамлет. Он уцелел и стал королем.
Жива и Офелия. Мы слезы не прольем –
Ну, разве от счастья: сейчас влюбленных поженим.
Конец страстям и прочим пустым движеньям.
Ничто не подгнило в Дании. Сыт народ.

Монарх ученый шкуры с нас не дерет.
Убийца – на Темзе, в одной из дальних колоний.
Гертруда – в монастыре. Сияет Полоний.
Пасутся овцы. Всюду мир и прогресс.
У Фортенбраса гнев на Польшу исчез.
Горацию дали в Эльсиноре квартиру –
И нечем, нечем нас огорчить Шекспиру.
Воображала чуши нагородил,
Из устаревшей ереси исходил.

2006

* * *

Цветок незряч и слуха не имеет –
И Моцарту пернатому не рад.
Где сведенья, что он ценить умеет
Хоть свой неповторимый аромат?

В банаховом пространстве пребывает,
В монашестве, нездешний, как звезда.
Всего страшней, что он тебя не знает,
Увянет, не увидев никогда.

2006

* * *

Обожгу горшок, напишу стишок,
Оторвусь от земли на вершок.
Миллиарды лет мать пуста земля
Мне готовила пососок.
Километры вглубь мать скупа земля,
Накопляла, мгновенья для,
Глинозём земли, ко грешку грешок,
Птеродактиля, мотыля.
И на месте том, где увял стишок,
Над родным языком
Шевеля плавником,
Вырастет артишок... art-и-shock.

2006

* * *

Нарисуй для меня скворца.
Я хотел бы жить со скворцом,
Отвернуться от подлеца,
Повернуться к скворцу лицом.

Отвратителен мне Творец,
Хоть и знаю, что нет его.
Предпочтителен мне скворец,
Несомненное существо.

Дотянуть хочу до конца
Без свинчатки и без свинца,
Повернуться к стене, уснуть,
И во сне увидеть скворца.

2006

Пушкин: предсмертные сны

(1) Один из нас бессмертен для другого.
Сейчас умру – и вечность напролет
Враг, воплощением всего живого,
Всё будет жить и метить мне в живот.

(2) За миг до смерти гений видит сон:
Любимую с другим в сени алькова.
Развеществовались разом твердь и слово,
И мертвым сердцем Бога проклял он.

2005

* * *

Влюбленные играют в поддавки.
Счастливики! Им никого не надо.
Гуляют у кладбищенской реки,
Где смотрит в реку ржавая ограда.

Бессмертному чужая смерть легка.
Им любопытны старые могилы,
Над ними неподвижны облака
И вечный день стоит, как Фермопилы.

2006

* * *

Соседка бродит в переулке,
А рядом, плюшевый магнит,
Полдня прождавшая прогулки
Болонка в шлейке семенит.

Когда бечевка на пределе,
Подружки связаны тесней.
Одна из двух всегда при деле,
Другая тянется за ней.

Я всякий раз немного трушу
И заклинанья бормочу,
Свою выгуливая душу:
Всё кажется, что упущу.

Над этим телом виноватым,
Над черным лаком невских вод

Гомункулом замысловатым
Она спиралями плывет.

Над Латераном пролетела,
Над Лувром сделала виток.
С понятным страхом чует тело
Нематерьяльный поводок.

Полубезлюдный город гулок.
Назад торопится душа.
Хорош Кричевский переулок.
Соседка тоже хороша.

2005

* * *

Бессмертную-то – что ж и не продать?!
Как тот пятак, она в себя вернется,
А тутошнее – склонно увядать:
Сегодня бьется, завтра – разобьется.

К ее устам не поднесут стекла.
Застенчиво, но никогда не сыто
Глядит на преходящие дела
Аленушка, она же – Карменсита.

Ей нравится на этом берегу,
На тот – она отправится без спросу.
Нет, лучше я *его* поберегу,
А либертинку отпущу к матросу.

2007

Ориенталии

1

Неужто выживем? Непостижим
Схвативший нас водоворот событий –
И пощадивший. Бочка под скалой.
Нас чудом вынесло на милый берег.
Дно высажено, жалкие пожитки
В камнях рассеяны, а в стороне
Еще родная злобствует стихия.
Но этот древний, выстраданный воздух
Уж слишком полон мыслью, слишком сладок,
Чтоб нам его могло не доставать...

Вавилонянин Мушезиб Мардук
Не нам ли шлёт поклон тысячетный?
Он торговал на этих берегах,

6

А нам велит обзаводиться домом,
И мы попробуем...

Едва укладывается в сознаныи,
Где мы живём. Переверни бинокль
И посмотри – сквозь камни Хасмонеев,
Сквозь пыль Рамсесов и халдейский зной –
Туда, на жмущееся к стенке детство,
Картавое, в обидах, синяках,
Прозреньях и надеждах горделивых...
Там – рай прогорклый, коммунальный быт,
Сопенье примусов и керосинок,
Бульжный двор, сараи дровяные...
Неужто это было наяву?

Сентябрь. Хамсин. Палящая жара.
Слепяще бел иерусалимский камень.
Ты отправляешь дочку в магазин
За хлебом, сливками и кока-колой –
И не отвешиваешь серебро,
А жёлтую хрустящую бумажку
Суёшь ей в руку: это десять *сиклей*...

2

Обыденная жизнь в стране необычайной
Трудна еще и тем, что песня стеснена.
Здесь жезл миндалевый пронёс Иеремия –
Поймём ли, отчего так сокрушался он?
Освенцим, может быть, провидел, Хиросиму,
Эпоху дискотек... Избранничества дар
Тяжёл: поди посмей возвысить тут свой голос
На скифском языке!..

А всё-таки решусь: вот виноградник, там
И в полдень уголок тенистый мы отыщем.
Мне Суламифь туда дорогу указала.
Ее пророчеству не нужен перевод,
Как земледелию – истолкователь...

1984-95

* * *

Евгений... Какое красивое имя: Евгений!
Я девственный вижу аттический мрамор ступеней.
Я Пушкина слышу. Я слышу раскаты героической
Музыки: идет полководец Евгений Савойский.
А вот и народ, этим именем одушевленный:
Многомиллионный Евгений удешевленный.
В толпе и поэт-попрошайка с улыбкою свойской.
Что слышно? Захаживай в гости, Евгений с авоськой.

2007

* * *

Мы возводили Вавилон.
Среди его стропил
Один красив, другой умён,
А третий счастлив был.

Наивничали мы, цвела
Ребячливость меж нас,
И наши гордые дела
Не поражают вас.

Все наши звери – ДНК,
Квазары, Интернет –
Заняты вам издалека
Что твой велосипед.

Вы одеваетесь не так,
Вас декольте смешат,
И мой бесхитростный пиджак –
Музейный экспонат.

Но день не сделался длинней,
Везувий не погас,
И вы не лучше, не умней
И не счастливей нас.

1998

* * *

На голых ветвях, при мерцании звезд
Не спит до утра обезумевший дрозд,
Хвалебную песнь вознося фонарю,
В неоновом свете он встретит зарю.

Природа обманута. Птица поёт
И гибельной истины не сознаёт.
Убогий мирок отвоёван у тьмы.
Пичуга не вынесет этой зимы.

Смешны и страшны обольщенья певца.
Он славит химеру, не чуя конца.
В никчёмном порыве живая свирель
Расходует кровь на картавую трель.

На этой вот улице мы и умрём,
Сорвав голоса под ночным фонарём.
Конец недосыпам и каторге дня.
Пусть новый безумец помянет меня.

1995

Борис ХАЗАНОВ

ВЧЕРАШНЯЯ ВЕЧНОСТЬ

Фрагменты XX столетия

роман

*...praesens autem si semper esset praesens
nec in praeteritum transiret, non iam esset
tempus, sed aeternitas.*

Beati Augustini Confess. XI, 14¹

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I А. Я. в овальной раме

15 сентября 1936

Две ночи поднимаются навстречу друг другу, одна на Западе, другая на Востоке, чтобы, соединившись, слиться в одну безбрежную ночь.

Это ночь забвения.

Забывается всё; забудут и нас, и тех, кто нас забудет. Назвать ли эту историю поучительной? Мы грезили будущим, не чувствуя затхлый запах, который оно издаёт, не замечая, как будущее разлагается на ходу; мы жили будущим и чуть ли не в самом будущем, а оно тем временем превратилось в прошлое; так уличный светофор переключается с зелёного на красный, не успев загореться жёлтым.

Некогда в тридевятом царстве, в переулке у Красных Ворот жила Анна Яковлевна Тарнкаппе. Пишущий эти строки, может быть, единственный, кто её помнит.

Уже в те времена никаких ворот не существовало, не осталось деревьев на Садовом кольце; смутно помнится Сухарева башня, слышны звонки трамвая; на углу Мясницкого проезда в керосиновой лавке продают керосин; всё ещё кажется очень высоким дом Ефремова, цитадель воровского и нищенствующего сброда, ещё не снесён двухэтажный особнячок на площади Красных Ворот – там, говорят, родился Лермонтов.

Что касается переулка, то здесь ничего не менялось, по крайней мере, за последние пятьдесят лет. Возможно, этим объясняются некоторые кажущиеся несообразности в рассказах Анны Яковлевны.

¹ ...настоящее же, если бы оно всегда оставалось настоящим и никогда не переходило в прошлое, было бы не временем, а вечностью. *Исповедь Бл. Августина*, кн. XI, 14 (лат.).

«Veuillez avoir l'obligeance de ne pas mettre vos pieds sur le canapé². Я на нём сплю».

Некто в ботинках, не однажды побывавших в починке, в бумажных чулках на резинках, которые выглядывают из-под коротких штанов, ёрзает на её антикварном ложе.

«Должно быть, поэтому, — она вздыхает, — мне так часто не спится. Так теперь принято: есть не за столом, спать не на кровати...»

«А сны тебе снятся?»

«Иногда. Но я догадываюсь, почему ты спрашиваешь. Ты хочешь сказать, что это был сон».

Писатель радостно кивает.

«Так вот, к твоему сведению: ничего подобного. Это не сон. Лежу, ворочаюсь с боку на бок... Нет, думаю, не уснуть».

Квартира Анны Яковлевны находится на первом этаже. Тусклая лампочка озаряет могильным светом коридор, двери, за которыми прячутся жильцы, и массивный сундук, похожий на небесный камень Кааба. Никто не решается убрать его с дороги или попросту вынести на свалку, никто не «поднимает вопрос». Смутная догадка владеет жильцами, что сундук охраняет квартиру от несчастий. Ключ от всячего замка давно потерян, никто не знает, что хранится в сундуке, скорее всего он пуст. Изредка на нём ночует какой-нибудь гость из провинции.

Но на самом деле ключ не пропал. Он хранится в шкатулке, а шкатулка лежит в хрустальном гробу. Гроб — на дне океана. И не где-нибудь, а на дне самой глубокой в мире Филиппинской впадины. Недавно экспедиция в батискафе опустилась на самое дно и убедилась, что он там. Вещи живут тёмной жизнью, более долговечной, чем жизнь людей.

В старых квартирах обыкновенно бывают высокие потолки. Последний раз потолок белили в год отречения императора Николая Второго. Рядом с лампочкой висит колокольчик звонка, на стене справа от входа — счётчик Сименс-Шуккерт, оба слова с твёрдым знаком на конце; встав на цыпочки, можно увидеть, как в окошке вращается диск с красной меткой. Висит объявление: экономьте электричество, каллиграфический почерк Анны Яковлевны угадать нетрудно. Ей же принадлежит ряд других воззваний. Если по дороге на кухню вам понадобится зайти в закуток и, накинув крючок на дверь, усесться, вашему утомлённому взору предстанет наставление, как вести себя в местах общественного пользования: спускаться за собой воду, не оставлять брызги на крышке стульчака, не засиживаться, читая во время отправления естественных нужд художественную литературу.

Библиотека помещается тут же, в нише перед пыльным окошком, выходящим на лестничную площадку: Ник. Огнев, «Дневник Кости Рябцева», некогда чрезвычайно модное произведение; его же, «Исход Никпетожа»; Юрий Либединский, «Неделя»; «Княжна Джаваха», роман дореволюционной писательницы Чарской. А также разрозненные номера журнала «Красная Новь», самоучитель игры на гавайской гитаре и ряд других сочинений. Некоторые книги сохранились частично или представляют собой пустые картонные обложки: все страницы использованы. Библиотека регулярно пополняется.

При входе в квартиру первая дверь направо — жилплощадь Анны Яковлевны. Одно из ключевых слов эпохи. В словаре можно найти поясняющие его фразеологические обороты. Площадь предоставляется. Её занимают, уплотняют или освобождают. Остался без площади. За отсутствием площади. Прописан на чьей-то площади и проч. Окно смотрит во двор, похожий на все московские дворы. Вещи живут долго, но всё же не бесконечно, зато голоса, улыбки, запахи живы и тогда, когда ни от людей, ни даже от вещей ничего не осталось. От диванной материи

² Убедительная просьба не забираться с ногами на диван (фр.)

восхитительно пахло куревом. Вся стена над спинкой дивана была увешана портретами в круглых, овальных, прямоугольных рамках и рамочках, в мундирах и туалетах последнего царствования. Фотографиями был уставлен и комод, там среди прочих помещалась сама хозяйка, какой она была, по удачному выражению поэта, *в те баснословные года*.

«Нет, — сказала она, — я же вижу, что ты мне не веришь. Я не могу рассказывать, когда мне не верят!»

Томительная пауза; Анна Яковлевна устремила надменный взор в пространство; ты помотал головой, что могло означать и опровержение, и согласие. Ясно, по крайней мере, что главное в историях Анны Яковлевны — это занимательность, а не достоверность. Ноги в ботинках торчат над краем дивана, ты весь ожидание.

«Так вот... — глубокий вздох, — на чём я остановилась... Делать нечего. Дай, думаю, пройдусь... Подышу свежим воздухом. Выхожу. Дивная тишина. В небесах торжественно и чудно. Кто это сказал, тебе известно?»

Писатель надул щёки, выпучил глаза. Энергично кивнул и издал непристойный звук.

«Фу!» Анна Яковлевна облила презрением собеседника, и на некоторое время вновь воцарилось молчание.

«Между прочим, он родился в двух шагах от нас...»

Можно было бы и не намекать на двухэтажный домик Лермонтова: знаем; каждый знает.

«Тут рядом и Пушкин жил — в Харитоньевском. В раннем детстве».

«Дальше», — сказал писатель.

«Дай, думаю, прогуляюсь...»

«Это ты уже рассказывала».

« Попрошу меня не торопить! Горят фонари, во всех домах темно. И такое чувство, как будто я куда-то попала, где до сих пор никогда не была. Как будто я в царстве умерших...»

«Такой сон, да?»

Она фыркнула. Неужели мы настолько выжили из ума, что не в состоянии отличить сон от действительности? И потом, если не спится, то какой же это может быть сон. Анна Яковлевна сунула в рот папироску, потрясла коробком перед ухом, есть ли ещё спички.

«Фу. — Она с наслаждением затянулась, выпустила дым к потолку и помахала рукой в воздухе. — Можешь ли ты мне сказать, кто изготавливает эти отвратительные папиросы?»

«Дукат».

«Qu'est-ce que c'est que ce Дукат?»

«Фабрика, — сказал он небрежно. — Там написано».

II Древо корнями кверху

14 сентября 1936

Итак, что же произошло? Анна Яковлевна вышла из подъезда, одиночество охватило её, словно порыв ветра. Перед ней короткий Боярский переулок вёл направо к недавно сооружённой станции метро, налево уходил Большой Козловский. Напротив — красивый особняк и стена чехословацкого посольства. Жёлтые конусы света покачиваются под тарелками ночных фонарей, прохладно, зябко. И тут внезапно донеслось цоканье подков по булыжной мостовой.

Не зря сказано кем-то: наш мир — сновидение без сновидца. Но это не был сон. Это ехал извозчик.

Это был могиканин почти уже вымершей профессии. Вдалеке, на пересечении Большого Козловского с Большим Харитоньевским, выехал из-за угла и погромыхивал навстречу музейной экипаж. Конь стал, перебирая копытами. Некто в картузе с высоким околышем, с бородой, расчёсанной на обе стороны, повернул из коляски клокатые брови к Анне Яковлевне. Не подкажешь ли, мать, где тут церковь Харитония. Анна Яковлевна была вынуждена ответить, что церкви больше нет. Куды ж она делась? Снесли.

«Ты знаешь, что это была за церковь? – Мальчик помотал головой. – Вот видишь, я, наверное, последняя, кто ещё помнит. В этой церкви венчался Боратынский, был такой поэт».

Эва, сказал мужик в картузе, вот так новость; а это что за улица? Анна Яковлевна назвала наш переулок. Ба, уж не тот ли; да ведь он-то мне и нужен.

Мужик стал вылезать, пролётка накренилась под его тяжестью, лошадь переступила ногами. Возница по-прежнему неподвижно возвышался на облучке. Бородатый гость шагал животом вперёд, он был невысок, дороден, суров. Квартира спала, и никто не узнал о визите. На цыпочках в полутьме Анна Яковлевна прокралась на кухню, поставила медный чайник на керосинку, заварила чай в пузатом фарфоровом чайничке с покаленным носиком. Гость сидел на диване под фотографией, расставив ноги в портах дорогого сукна и высоких смазных сапогах. Обнажив лысую голову, пил вприкуску, отдуваясь, держа блюдечко на растопыренных перстах. Важно кивнул, услышав, что хозяйка покупает чай на Мясницкой в знаменитом «китайском» магазине. От Высоцкого, стало быть. Она возразила, магазин был перловский. Как же, закивал гость, ещё бы не знать: Перлов Сергей наша родня.

«Интересно всё же. – Анна Яковлевна держит на отлёте курящуюся дымком папироску, разглядывает пустую пачку. – Дукат... это от *ducatum*, что означает герцогство. Какой же, спрашивается, герцог, да и просто порядочный человек, решится взять в рот эту дрянь?.. *Vous êtes fou*, ты с ума сошёл! – зашипела она, когда, улучив момент, писатель нацелился выхватить папиросу из её пальцев. – Убери руки. Твоя мама и так недовольна, что ты торчишь у меня целыми часами...»

«А я уже пробовал», – гордо сказал он.

«Пробовал, что это значит?»

«На даче. Из листьев».

«Вот как. Из каких это листьев?»

Разговор о родне продолжался, полуночный гость допил последнюю чашку, перевернул и положил на донышко огрызок сахара. Как если бы время замедлило бег, всё ещё было далеко до рассвета. От ближних родичей и свояков перешли к предкам, подтвердились предания. Прадед-татарин родом из Бугульмы, расторопный мужик по прозвищу Козёл, накопил денег, выкупился у барыни и в столицу прибыл в самую удачную пору: только что французы оставили Москву. Земля была дешёва. Он купил участок, разобрал пепелище и построил доходный дом. Потом ещё один, завёл торговлю, обзавёлся знакомствами, связями, под конец жизни был уже купцом второй гильдии. С тех пор переулок называется Козловским.

Выходит, подмигнув, сказал гость, мы с тобою сродственники. Белая кость, она из чёрной произошла.

«А у тебя какая кость?» – спросил мальчик.

«Белая. У всех людей кости белые. Это просто так говорится».

Она объяснила – впрочем, знала это и раньше: из всего козловского потомства в живых остались сын и дочь. Козлов-младший был дедушкой ночного визитёра, то, что этот гость в самом деле посетил Анну Яковлевну, не подлежало сомнению: «вот тут сидел, где ты сейчас сидишь». А дочь вышла замуж за барона Терентия Карловича фон Тарнкаппе.

Тут пошли разного рода генеалогические подробности, хитренькая усмешка показалась на увядшем лице Анны Яковлевны.

«Между прочим, говорят... хотя, конечно, проверить не так просто... Одним словом, считается, что барон Тарнкаппе был внебрачным отпрыском – угадай, кого?»

Писатель спросил, что значит внебрачный.

«Бастард. В некотором роде незаконный... *laissons*, оставим это. И вообще, если я обо всём этом рассказываю, ты понимаешь? Не для того, чтобы ты рассказывал другим».

Сейчас она скажет: ты уже большой, должен понимать. Не раз приходилось замечать, что взрослые употребляют слово «большой» в двух противоположных смыслах: и как комплимент, впрочем, достаточно сомнительный, и как упрёк, абсолютно необоснованный.

«Дальше», – сухо сказал он.

«При нём был выстроен этот дом, на месте старого. Да, да, этот самый, где ты живёшь... Сыновья Терентия Карловича, вон они, все трое, – Анна Яковлевна подняла глаза на стенку, – пропали без вести. А если точнее...»

Она смотрит в пространство. Что она там видит?

«Если точнее, были расстреляны».

Писатель смотрит на неё круглыми глазами.

«В двадцатом году, во время гражданской войны. При отступлении... Старший, Яков, – это мой отец».

Спохватившись, она бросает погасшую папиросу в пепельницу. Погружённая в загадочные мысли, поднимает окурочек, снова роняет.

«Вот так, друг мой, – проговорила она. – Это бывает. Дом был записан на моего отца, я единственная наследница. Так что, как это ни смешно, – она развела руками, – дом принадлежит мне».

Опять же, как ни смешно, тебя не смущало странное явление гостя. Об Анне Яковлевне и говорить не приходится – с неё, как говорится, взятки гладки. Вокруг Анны Яковлевны происходили чудеса. Но если вспомнить, сколько таких выходцев бродило по улицам в те годы, пряталось в норах коммунальных квартир!

Времена смешались, и в некотором смысле всё существовало одновременно.

Он спросил:

«Весь дом?»

«Да, – сказала она сокрушённо. – Так я ему и объяснила. Но он и так знал, поэтому и приехал».

«Откуда?»

«Не знаю; не интересовалась. А главное, никак не мог понять, что всё это не имеет никакого значения... Спрашивает, где документы. Нет никаких документов, всё пропало. Выходит, ты не могла доказать, тебя и поёрли. Я говорю: вы хотите сказать, что меня выгнали? Пытаюсь ему объяснить, что меня – как это называется – экспроприировали. Сперва был организован домком. Какой такой домком? Комитет по управлению и уплотнению. Слава Богу, – сказала Анна Яковлевна. – Люди остаются людьми. Оставили за мной эту комнату».

«Дальше».

«Что дальше?»

«Дальше рассказывай».

«Мой купец словно с Луны свалился; спрашивает: а кто же ещё здесь живёт? – Жильцы. – Кто такие? – Разные. – Ладно, сказал он и хлопнул себя по коленям, некогда мне тут с тобой тары-бары разводить, я желаю откупить у тебя дом. – Господи, говорю я, что вы будете с ним делать? – Не твоя забота. О цене сговоримся, составим купчую, всё как положено. И предлагает задаток, представляешь себе? Разворачивает бумажник и вынимает пачку банкнот. Я, говорит, дом отремонтирую, приведу в божеский вид. Конечно, и тебя не забуду. Выберешь себе какой-нибудь этаж, а всю эту шантрапу вон. Приличным господам будем сдавать».

«Я уж не стала говорить, – продолжала Анна Яковлевна, – на что мне эти банкноты. Что я с ними буду делать? – Она усмехнулась. – Вот видишь, он бы и твоих родителей выгнал на улицу. Всё-таки революция имела какой-то смысл».

«Революция, – сказал писатель, – покончила с экс-плю...».

«Не вздумай плевать. Ты хочешь сказать, с эксплуатацией. *Veuillez m'expliquer...* благоволите объяснить, что это такое».

«Рабочих и крестьян».

«Угу. М-да... Впрочем, в твоих словах есть доля истины. Этого нельзя не признать».

Таковы были памятные беседы писателя с экс-баронессой Анной Яковлевной Тарнкаппе.

III Палеонтология времени (1)

22 сентября 1936

Ты увидел её такой, какой была она в те счастливые дни, когда ты забирался с ногами на диван и пел: «Иксплю, икспля, иксплю!», и в ту ночь, когда возвращались после неудачного путешествия в Колонный зал, о чём речь ниже; ты увидел её в те времена, когда читал её лицо на комодe, – ведь портреты можно читать, даже не сознавая этого, – и на фарфоровом, в чёрных трещинках медальоне, и тотчас, через много лет, услышал её журчащий голос, звучный прононс: «*Veuillez avoir l'obligeance!...*»; ты увидел переулок, и дом, и квартиру, где прошли лучшие годы жизни, и вспомнил, как однажды, а может быть, и не один раз, тебе привиделось, будто ты лежишь на её диване и видишь сон, и знаешь, что этот сон во сне есть не что иное, как действительность.

Гипертрофия памяти, о, этот старческий недуг, подобный гипертрофии предстательной железы. Молодость умеет сопротивляться, молодость побеждает агрессию памяти; беспамятство – её защитный механизм: мы молоды, покуда способны забывать. Но незаметно, неотвратимо наши окна покрываются копотью памяти. Отложения памяти накапливаются в мозгу. Словно горб, склеротическая память не даёт распрямиться. Утрата способности забывать, вот что такое старение; мы умираем, раздавленные этим бременем. Итак, берегитесь! Вы заболите той же болезнью. Вот что могло бы сказать старшее поколение младшему. Берегитесь: когда-нибудь и у вас начнёт расти эта опухоль, и вас однажды настигнет бессонница воспоминаний. И уберечься невозможно.

Вернёмся всё же к начатому рассказу. Жилплощадь родителей. По имеющимся сведениям, она представляла собой длинную, наподобие пенала, комнату с окном в переулок. Занавес на кольцах делил её пополам. Получилось две комнаты. В первой половине находилась оттоманка, на ней спал писатель, ближе к двери – шаткий столик, заваленный растрёпанными детскими книжками, под ним было свалено ещё кое-какое имущество: игрушки прежних лет, деревянное оружие, коробка с фантиками, интерес к которым угас, и альбом марок – новое увлечение. На этой же половине помещались буфет, книжный шкаф, обеденный стол и древнее пианино. От множества вещей комната, казавшаяся ребёнку просторной, выглядела ещё вместительней, он расхаживал, как в хоромах, там, где взрослые передвигались бочком; но если бы, например, пришлось освобождать жилплощадь, она оказалась бы совсем небольшой – удивительно, как могло всё это уместиться; вообще говоря, это была одна из загадочных черт эпохи.

Скажут: не жильё, а камера хранения, чулан прошлого; скажут – судорожные усилия сберечь обломки безнадёжно отжившего; и в самом деле, было нетрудно угадать в этом нищенском изобилии, в мутных стекляшках люстры, в остатках леп-

нины на потолке, в никому не нужном пианино допотопной немецкой фирмы, с медными подсвечниками и двуглавым орлом, – угадать немое и трагикомическое столкновение эпох. Но, быть может, тут сказалось врождённое стремление сохранить непрерывность времени. Пускай нить, соединявшая прошлое с настоящим, рвалась то и дело – руки людей ловили, кое-как связывали повисшие концы, снова подхватывали и снова связывали. Удивительное было время – всё в узлах.

Что касается второй половины, так сказать, второй комнаты, там стояли зеркальный шкаф, туалетный столик, остальное пространство, загородив часть окна высокой никелированной спинкой, занимала кровать родителей. На ночь задёргивалась портьера; шорохи, вздохи, слабый стон матрасных пружин, обрывки загадочных речей доносились до мальчика.

«Не могу забыть, всё время думаю...»

Отец: «Перестань».

«Всё время...»

«Откуда ты знаешь, что это была девочка?»

«Знаю. Теперь я уже никогда не смогу...»

«Откуда это известно?»

«Врач сказал».

«Что он сказал?»

«Сказал, у меня заросли трубы».

«Может, к лучшему».

«Как ты можешь так говорить!»

Смешок: «Не надо предохраняться».

«Ты и так не предохраняешься. Всё самой приходится».

«Нет, серьёзно, сама подумай: с нашей зарплатой. И в этой тесноте».

«Другие живут ещё тесней. Посмотри, как ютятся Островские, шестеро в одной комнате. А Гуджаян просто в подвале».

«Вы ещё козу к себе возьмите. Помнишь этот анекдот?»

«А ты поменьше рассказывай. Тебя и так уже считают евреем».

«Но это правда».

«Наполовину. Не забывай, что на пятьдесят процентов ты русский. И вообще, благосостояние растёт».

«Ты поставила будильник?»

Вздых: «Говорят, хлеб подорожает».

«Кто это говорит?»

«Марья Антоновна. У неё сын работает в этом, как его».

«А ты говоришь, благосостояние растёт».

«Да, в общем и целом, без сомнения».

«В общем и целом. А в частности?»

«Я знаю, что ты хочешь сказать. Есть люди, которые сознательно распространяют такие сведения».

Голоса доносятся из темноты, из-под воды, из чащи, заросшей лианами; ты не спишь, ты не спишь.

«Ты видел это объявление? Совсем рехнулась».

«Делать нечего, вот она и пишет».

«Здесь не плюй, там не сори».

«Делать нечего, вот и пишет».

«А у самой комната вся провоняла табаком. Ребёнок дышит табачным дымом».

Снова пауза, ты держишься на поверхности, изо всех сил стараясь не погрузиться в небытие.

«Говорят, в Москву завезли – не поверишь. Сто тысяч тонн бананов».

«Бананов?»

«Из Колумбии».

«Где это?»

«Ну, как тебе сказать», – говорит отец.

Пальмы, джунгли, лианы. Голые, шоколадного цвета туземцы в перьях выглядывают из чащи, потрясая копьями над головой.

Хочется вскочить и показать им в альбоме роскошную серебристую марку.

«А сколько они стоят, ты знаешь?»

«Понятия не имею. Я вообще никогда не пробовала бананов. А ты?».

Пауза.

«Надо ему запретить».

«Ты знаешь, кто она такая?»

«Конечно. Из бывших».

«Ну вот, а ты говоришь».

«Что ты хочешь этим сказать?»

«А то, что я не понимаю: как это таким людям разрешают жить в Москве».

Такие люди. Какие? Вскочить и крикнуть: ей принадлежит весь дом! Так что помалкивайте.

«Подделала анкету, вот и всё».

«Думаешь, это так просто?»

«А то бы её давно вытурили».

«За подделку документов знаешь, что бывает?»

«Взятку, наверно, дала. Небось припрятала брильянты».

«Какие там брильянты...»

«А что. Марья Антоновна рассказывала, у них умерла одна старуха. Совсем нищая была, побиралась. А потом вспороли матрас – там сто тысяч».

«Брехня...»

«Бродит по ночам. Вдруг понадобилось чай пить, я сама видела».

«Ночью?»

«Пописать выходила, а она на кухне зажигает керосинку. Ещё пожар наделает».

«Не надо преувеличивать. Тихая, культурная старушка».

«В тихом омуте черти водятся».

«Слушай-ка, – сказал папа, – а кто это такая, ты её раньше когда-нибудь видела?»

«Никого я не видела. Я спать хочу».

«Барышня эта. Вчера приходила».

«Ты всё на барышень заглядываешься. Племянница».

«Какая племянница, она ей во внучки годится».

«А ты знаешь, что она разговаривает с мальчиком по-французски?»

«Кто разговаривает?»

«Она».

«Ну что ж, это очень хорошо. Расширяет кругозор».

«По-моему, это опасно».

«Не понимаю, почему?»

«Мало ли что – ещё кто-нибудь сообщит».

Молчание.

«Разве тебе не ясно, что это в высшей степени подозрительная личность?»

«Кто, племянница?»

«Да не племянница. Старуха!»

«Господи, да она сто лет здесь живет».

Я сплю, сказал мальчик. Экспля, эксплю.

«В Москву завезли... Сто тысяч...»

«А где это находится?»

Там еще что-то происходит. Под пальмами Колумбии. Издалека:

«Не хочу».

«Повернись, пожалуйста».

«Ты всегда выбираешь самый неподходящий момент».

«Смилуйся, государыня рыбка».

«Ты всегда... – Я сплю, сказал мальчик. – О-о!» – и в её голосе смешались протест и восхищение. Тихий скрежет пружин – последнее, что он услышал. И прошло много часов, много дней. Уже близился рассвет. Теперь ему снилось, что он спит и видит сон. Сон склонился над ним и будит его.

О снах во сне сказал далекий соотечественник Анны Яковлевны Тарнкаппе: мы близки к пробуждению, когда во сне сознаём, что видим сон. Следует ли из слов Новалиса, что если мы стараемся убедить себя, что мы бодрствуем, значит, мы грезим? Сон – это ряд ступеней, ты нисходишь в подвал, потом восходишь наверх, там чердак, там сквозь окно в крыше голубеет рассвет. Слабый стук будильника проник в слух, вот-вот прогремит гром, мальчик спал и думал во сне о том, что мать увидела ночью Анну Яковлевну на кухне, но не разгадала тайну, не узнала, для кого заваривался чай из китайского магазина. И, чтобы окончательно пробудиться, он встал и на цыпочках вышел в коридор.

Ему не было холодно в ночной рубашке, впрочем, как-то само собой получилось, что он одет. Возможно, он забыл, что возвращался в комнату надеть чулки и заправить в штаны рубашку. Как и Анна Яковлевна перед тем, как подъехала коляска с бородатым родственником, он стоял перед подъездом, тускло светилась мостовая в сиянии фонарей, из тёмной листвы за стеной чехословацкого посольства бесшумно вылетела большая ночная птица и, махая крыльями, полетела низко, на уровне первого этажа, к перекрёстку, он шёл за ней. Он увидел, что, долетев до поворота, она уселась на каменную тумбу – должно быть, ждала его. Это была учёная дрессированная птица, когда он приблизился, она широко растворила клюв. Он не мог разобрать слов. Навстречу шёл кто-то, невозможно было понять, мужчина или женщина, далеко в просвете Большого Харитоньевского переулка, за спиной идущего светлело, над Чистыми прудами занималась заря; но когда этот кто-то приблизился, писатель догадался, что навстречу идёт племянница, та самая барышня, о которой говорил отец. Она остановилась шагах в десяти и поманила его к себе. Он успел сделать шаг навстречу и был сердит на мать, которая наклонилась над ним и гладила ему волосы. Пора было в ненавистную школу.

IV Племянница

10 апреля 1937

Анна Яковлевна была больна, покоилась под выставкой фотографий, маленькая, с необыкновенным румянцем, заострившийся нос торчал над одеялом, рядом на стуле стояла кружка с остывшим чаем, лежали порошки в вощаной бумаге, лежала книга, которую она не раскрывала, роман Пьера Лоти.

Можно добавить, что под Пьером Лоти лежала ещё одна тоненькая книжка стихов: как ни странно, Бодлер.

«Если, – сказал писатель, держа в обеих руках большой ломоть хлеба, намазанный повидлом, – поставить ракету на колёса, получится ракетный автомобиль».

«Сперва прожуй...»

«Если присоединить к динаме электромотор, знаешь, что получится?»

«Нет, не знаю».

«Вечный двигатель. Динама будет давать ток для электромотора, а электромотор вертеть динаму».

«Ты это сам изобрёл?»

Инженер самодовольно повёл плечами.

«Я в этом ничего не понимаю. У тебя сейчас капнет. Только, пожалуйста, не на пол...»

«Насколько мне известно, – продолжала она, – вечный двигатель невозможен, хотя столько людей потратили жизнь на его поиски. Не думаешь ли ты присоединиться к ним?»

Мальчик слизывал стекающее на пальцы повидло. «Pas du tout, – сказал он презрительно, – вовсе нет. Ведь я его уже нашёл».

Анна Яковлевна осведомилась, что нового в училище. Так она называла, возможно, из упрямства, 613-ю среднюю школу в Большом Харитоньевском, воздвигнутую на месте взлетевшей на воздух церкви. Но что может быть нового в школе? Он пожал плечами.

«У тебя криво висит галстук... ах нет, не подходи. Подхватишь от меня. Вытри пальцы».

Порылась за пазухой и вытащила градусник.

«Тридцать восемь и ноль», – стоя у окна, объявил писатель.

«Дай-ка мне... Гм, действительно... Подойди к зеркалу и поправь».

Из тусклого, в чёрных царапинках, стекла, словно из окна в прошлое, на тебя уставилась голова с выпученными глазами, оттопыренными ушами – и высунула язык.

«Заправь под пиджачок. Попроси маму, чтобы она тебе выгладила».

Он объяснил символику алого пионерского галстука. Три конца галстука обозначают Третий Интернационал. А также три поколения революционеров: большевики, комсомольцы и мы.

«Кто это – мы?»

Мальчик сотворил перед зеркалом пионерский салют. В его руках появились невидимые палочки, затрещала сухая дробь барабана.

«Юные пионеры, – проговорил он, – тр-ра-татата! В борьбе за дело, трам-тарарам, будьте здоровы. Нет, – поправился он, – будьте готовы».

Он запел:

«Взвейтесь кострами, синие ночи! – Маршируя по комнате, чуть не налетел на стул. – Этот красный галстук смочен кровью борцов за дело рабочего класса».

«Угу, – пробормотала Анна Яковлевна. – Не испачкайся».

Но она была далека от иронии. Возможно, её мысли витали где-то. Она промолвила:

«Вот что я хочу тебе сказать... Ты, наверное, уже рассказал маме, кого мы вчера видели?»

«Милиционеров».

«Совершенно верно. А когда возвращались, на обратном пути. Тоже рассказал?»

Он помотал головой.

«Правильно. Не надо её беспокоить. Между прочим, я как-то начинаю сомневаться... – Она закрыла глаза ладонью, в комнате стало сумрачно, стало холодно, зеркало белело в углу, белело окно. – Накрой меня ещё, вон там лежит... Я как-то... – бормотала она, стуча зубами, – начинаю... Меня тут многие считают помещанной, но уверяю тебя... б-р-р... Не надо было ездить... Ах, не надо было... И тебя ещё потащила с собой...»

Её голос, прерываемый кашлем, всё ещё слышался из-под одеяла и пледа, когда произошло событие, которому едва ли стоило придавать значение, а впрочем, как посмотреть, ведь память не гарантирует ни важности, ни случайности происходящего. В комнату вошла племянница. Или, что было правдоподобней, внучатая племянница, а ещё точнее, седьмая вода на киселе. Та самая. Забежала к больной по дороге куда-то.

Волосы окружили её светящимся нимбом – теперь она стояла у окна, её лицо погрузилось в сумрак.

Кажется, она училась в театральной студии. Что же вы ставите, спросила Анна Яковлевна. «Платон Кречет». Это что, из современной жизни? Замечательная пьеса, драма, сказала гостья. Но со счастливым концом. – И о чём же эта пьеса? – Ах, бабушка, долго рассказывать. Это такой хирург, он влюблён в одну девушку, а у неё отец умирает во время операции. Но несмотря на это, они любят друг друга. – Извини меня, детка, я совсем бестолковая: кто это, они? – Я же говорю, Кречет и Лида! – Всё так же неожиданно она попрощалась, её глаза, золотисто-карие, взглянули на мальчика, каблучки простучали по коридору.

Самое удивительное состояло в том, что она была похожа на ту, другую, висевшую за комодом.

И это несмотря на то, что дама за комодом была, осторожно выражаясь, неоде-та, на племяннице же было платье и пальто.

В чем же тогда состояло это сходство? Ведь нельзя же себе представить, чтобы тебе, в этом возрасте, могло прийти в голову, что если бы племянница сбросила с себя всё, то оказалось бы, что она точь-в-точь та самая, в углу за комодом. Что она, чего доброго, позировала неизвестному художнику! И что это ошеломляющее открытие было сделано в те короткие минуты, когда девушка появилась в комнате, чтобы тотчас упорхнуть прочь. Vraiment³, малоправдоподобное предположение.

Необходимо объяснить. Наше описание жилища Анны Яковлевны будет неполным, если мы опустим одну немаловажную деталь: по обе стороны от окна помещались, одно за комодом, другое за диваном, два произведения искусства. Об иконе, висевшей, как полагается, в правом углу, много говорить не приходится, слава Богу, она не бросалась в глаза. (Хотя, если присмотреться, тоже кого-то подозрительно напоминала – уж не хозяйку ли комнаты? Но эта гипотеза – позднейшего происхождения). Гораздо занятней был другой, куда менее благопристойный, а лучше сказать, прямо-таки скандальный портрет в затейливой раме с остатками позолоты. Писатель как будто даже не обращал на него внимания, а всё же нет-нет да и взглянёт.

«Comment la trouvez-vous, cette peinture?»⁴ – осведомилась однажды, не без некоторого беспокойства, Анна Яковлевна.

Писатель молчал – не потому, что не умел ответить по-французски, а потому, что не знал, что ответить. Картина вызывала неясную тревогу.

Это был типичный образец буржуазного разложения предреволюционных лет. Представлена была нагая особа в бокале с шампанским – заметьте, не с бокалом, а в самом бокале, достаточно, впрочем, вместительном. Как она там очутилась? Одну ногу она подогнула, так как обе ступни не помещались на узком дне, прозрачно-золотистый напиток доходил ей до груди; приглядевшись, можно было заметить, что пальцы другой ноги отталкиваются от стеклянного дна, – казалось, она старается всплыть.

Русалка потеряла рыбий хвост, – одно из возможных объяснений, – расщепившись внизу, превратилась в женщину. И вот теперь рвётся прочь, ищет выбраться из стихии, которая стала ей чуждой. При этом она не забывала прикрыть поджатым правой ногой низ живота, ведь она была женщиной. Её бёдра образовали форму слегка перекошенной лиры, подчеркнув изгиб её тела. Она тянется вверх. Вода ласкает живот с ямкой пупка, ласкает бёдра, вот, оказывается, в чём дело: влага

³ Право же.

⁴ Как тебе нравится эта картина? (фр.)

делает почти ощутимым музыкальное струение линий тела. Маленькие груди – левая чуть ниже правой, так что сосок оказался ниже уровня жидкости, правая выступила из воды. Надо признать, умелый мастер! И к тому же себе на уме. Легко, почти шутя, ушёл от упрощённой симметрии, но не запретил зрителю почувствовать эту симметрию. Линия рук особенно удалась. Одна рука под водой скользит по стенке сосуда, другая тянется к тонкому краю. Длинные волосы колыхнутся на поверхности вод. Взгляд наблюдателя поднимается к животу и груди, к круглому подбородку, и тут его ожидает ещё одна странность, если угодно, фокус художника: переливы света в бокале, игра бликов на поверхности вина лишили это лицо сколько-нибудь ясного выражения. Оно как будто обращено к вам, как будто вопрошает о чем-то и тотчас тонет, не дождавшись ответа, в прозрачной и зыбкой, почти нематериальной среде, так и хочется сказать – в материи сна. И в самом деле: не подсказало ли сновидение художнику его сюжет? Или он попросту приглашает полюбоваться, хочет выразить весьма тривиальную мысль, что тело женщины красноречивей её лица?

Грамматика женского тела, может быть, и не столь сложна, не так уж много этих падежей и глагольных форм, и все времена заменены одним настоящим; зато стилистика, поэтика, внутренние рифмы и ассонансы – о, тут есть над чем потрудиться. Лицо одухотворяет чувственность тела; в свою очередь, нагое тело расшифровывает загадку лица. Мы переселяемся в иную эпоху, в иное настоящее, мысли такого рода бродят в голове у зрителя, пока, наконец, он не отводит глаза, отворачивается, чтобы стряхнуть минутный гипноз манерного, щекочущего эстетизма, вспомнить, где он живёт, в какой стране, в какое время.

Эта смешная картинка. Это лицо – лицо золотоокой племянницы, при всей абсурдности такого предположения. Было ли оно, это лицо, красивым? Задумчивость, неожиданная у девушки, поднявшейся из воды, – задумчивость о себе, о своей сущности, смутная догадка об участи, которая ждёт её в мире холодного воздуха, в чужой, опасной среде. Вода – ибо, в конце концов, это была первоматерия, из которой вышла новая Анадиомена, – вода не выталкивала её, вопреки физическому закону, напротив, тянула назад, в материнское лоно, оберегала от излучений, от насилия. Но, верная своему назначению, девушка рвётся ввысь, в мир, наружу. Её судьба впереди. Никакого представления о катастрофе, лишь смутное чувство, предвидение утраты.

Позвольте, однако: беседовать на подобные темы с ребёнком? (Если предположить, что такая беседа могла состояться.) Или, вернее, с маленьким мужчиной – раз уж сомнительная картина притягивает его взгляд.

«Comment la trouvez-vous, cette peinture?»

Она и не ждет ответа.

«Видишь ли, что я хочу тебе сказать...»

Сейчас она скажет: ты уже не маленький. Как будто он и без того не понимает, в чём дело. Но, собственно, в чем?

«Когда-нибудь ты поймёшь: самое совершенное на земле, истинный венец творения, – да, не удивляйся – это женщина... То, что некоторым людям кажется неприличным, на самом деле – красота. А красота, запомни это, не может быть неприличной, не может быть непристойной, красота есть нечто священное. Здесь, конечно, изображена идеальная женщина, было такое время, когда художники изображали идеальных женщин. Но я тебе скажу, что каждая женщина более или менее приближается к этому образцу. Не к этой картине, конечно, ты же понимаешь, что этот бокал, в котором она барахтается, – это шутка... Я говорю вообще».

Анна Яковлевна почесывает гребенкой в затылке.

«Ты можешь мне не верить, но я тоже была когда-то... – она вздыхает, – да, да, – она прикрыла глаза, кивает седой головой, – очень недурна собою!»

Мать застала тебя за рисованием. Ужас! В воде колыхается нечто, плывёт утопленница. Хищные рыбы ринулись за своей добычей. Вдали корабль спешит на помощь. У неё длинные волосы, и тянутся следом на поверхности вод.

«А уроки ты сделал? Я запрещаю тебе ходить к...»

V Визит терапевта сам по себе есть лечебное мероприятие

14 апреля 1937

Доктор Арон Каценеленбоген, медицинское светило Куйбышевского района столицы, могучий, пухлый, с дорогим перстнем на указательном пальце и печаткой на мизинце, с уходящей к затылку сверкающей лысиной, сидел, расставив ноги по обе стороны живота, силится дотянуться губами до массивного носа, шумно втягивал воздух в широкие волосатые ноздри, решительно хлопывал себя по коленям и сдвигал брови, вновь погружаясь в таинственное раздумье.

«Доктор, – простонала больная, – я поправлюсь?»

Доктор Каценеленбоген хранил молчание.

«Я, кажется, вас о чём-то спросила!»

«Возможно».

«Что возможно?»

«Очень может быть».

«Что, что может быть?» – звывала она.

«Очень может быть, что вы поправитесь».

«Доктор, вы невозможны. Почему вы мне ничего не прописали?»

«Нет необходимости».

«Понимаю, – сказала она упавшим голосом. – Вы считаете, что я безнадежна».

«Я этого не говорил».

«Но подумали. Скажите мне правду. Я должна подготовиться, написать завещание... Доктор, с кем я говорю: с вами или со стенкой?»

«В данном случае это одно и то же. Что вы от меня хотите?»

«Почему вы мне ничего не прописываете?»

«Потому что вы и так поправитесь».

«Я считала вас моим старым другом».

«Можете продолжать считать меня вашим другом».

«Сколько лет мы знакомы?»

Доктор Каценеленбоген взвёл глаза к потолку, пожал плечами.

«Я страдаю. Я, может быть, лежу на смертном одре. А вы ничего не предпринимаете».

Доктор поднял густейшие смоляные – явно крашенные – брови и на мгновение вышел из задумчивости. Втянул воздух в ноздри, повернул на пальце кольцо с жёлто-туманным камнем.

«Но я здесь, как видите. Да будет вам известно, что визит врача уже сам по себе является терапевтическим мероприятием. Надеюсь, вы и на этот раз убедитесь в этом... Пейте крепкий чай. Проветривайте комнату, у вас ужасная духота. Половину этого хлама, – он обвёл жильё презрительным взором, – давно пора выкинуть на свалку».

«Доктор, как вы смеете так говорить!»

Ответом был шумный вздох, опасно заскрипел единственный стул. Эскулап заколыхался, оборачиваясь.

«А-а, молодой человек. Сколько лет, сколько зим».

Писатель украдкой показал ему язык.

«Ай-яй-яй!» – сказал доктор.

Доктор медицины Арон Каценеленбоген проживал на Чистопрудном бульваре, в доме с барельефами фантастических зверей и растений в стиле «модерн». Те, у кого ещё есть охота и время пройтись по бульвару, без труда найдут этот замечательный дом. В годы, когда частную практику, разновидность эксплуатации трудящихся, удалось, наконец, пресечь и домашний врач стал такой же архаической фигурой, как извозчик, вывеска с фамилией доктора и часами приёма по-прежнему красовалась у парадного входа, чему отчасти способствовала известность доктора Каценеленбогена, главным же образом то, что его частенько приглашали к влиятельным лицам. Рост и тучность, равно как и высокие гонорары, поддерживали репутацию доктора, который чаще ограничивался терапевтической беседой (обычно сводившейся к нескольким внушительным репликам), высоко ценил свежий воздух и лишь в крайних случаях прописывал пациентам лекарства, бывшие в ходу полвека тому назад.

Доктор Каценеленбоген разделял мнение герцога Ларошфуко о том, что у всех нас находится достаточно сил, чтобы переносить чужие страдания, и что, с другой стороны, мы никогда не бываем настолько несчастливы или настолько счастливы, как мы это воображаем. Он не надеялся на конечное торжество добродетели над пороком и не слишком верил в победу ума над глупостью. Доктор Каценеленбоген не любил рассуждать о вере и религии, справедливо полагая, что нет оснований считать человека образом и подобием Бога, коль скоро у Бога нет никакого физического облика, и втайне считал свою медицину вполне приемлемой заменой церкви; может быть, поэтому в его практике такую важную роль играла ритуальная сторона. И раз уж мы заговорили о вероисповедании, заметим, что та разновидность теизма, которую называют верой в исторический разум, нашему доктору тоже была чужда. К этому вопросу, впрочем, ещё предстоит вернуться.

Что же касается частной, или, по-тогдашнему, личной жизни доктора Каценеленбогена, о ней было известно немного. Доктор был вдов. Хозяйство вели домработницы или, если угодно, экономки; некоторые были его пациентками, другие спаслись от колхозов, сумев при содействии доктора зацепиться в Москве; все эти девушки, сменявшие друг друга, не упускали случая намекнуть в тесном кругу, что они удостоились чести состоять в интимных отношениях с их покровителем, но какова была доля правды в этой похвальбе, сейчас решить невозможно.

«Доктор, я, кажется, не успела рассказать вам, при каких обстоятельствах я простыла...»

«Это хороший признак».

«Я не понимаю!»

«Если вы готовы приступить к рассказу, значит, дела не так уж плохи».

«Но я чувствую, что у меня воспаление лёгких!»

«Будет лучше, — отвечал доктор Каценеленбоген, — если вы предоставите право ставить диагноз более компетентным людям».

Что же это были за обстоятельства?

VI Уступка беллетризму. О чём она собиралась рассказать

8 апреля 1937

Дела давно минувших дней; впрочем, как уже сказано, занимательность важнее истины. Некоторые подробности, принимая во внимание возраст Анны Яковлевны и другие обстоятельства, могут быть оспорены. Но что такое истина?

Спать не на кровати, есть не за столом — мы уже слышали эти слова. Комната Анны Яковлевны демонстрировала главное, может быть, величайшее завоевание

революции, ее важнейший урок, а именно, что без многого можно обойтись. Многое, как выяснилось, было попросту излишним. «Так теперь принято». И в самом деле, стол занял бы слишком много места. Не нужна и кровать, если есть диван. Не говоря уже о том, что оказалось вполне возможным обойтись без Бога, а заодно похерить и государя. Было ли в комнате зеркало, куда можно посмотреться? «Глупая женская причуда, к чему? — говорила Анна Яковлевна. — Я хочу остаться в моей памяти такой, какой я была когда-то. Можешь мне поверить: ко мне летели все сердца». Но зеркало все-таки было.

«Не хочу видеть себя, — сказала она, от ложного, эфемерного образа в поцарапанной амальгаме поворачиваясь к истинному: к фотографии на комод. — Дама не может появиться одна, надеюсь, ты не откажешься меня сопровождать...»

Не удержавшись, она вновь покосилась на тусклое своё отражение.

«Mon Dieu, как я всё-таки постарела. Сколько мне можно дать, как ты думаешь?»

Ты стоял рядом с ней, ты стал выше с тех пор, как её посетил купец Козлов, а она ещё ниже, и теперь вы были одного роста. В остальном мало что изменилось, если не считать перемен в составе атмосферного воздуха. Что-то происходило в мире, правда, никто толком не знал, что именно происходило. Кое-какие новшества не могли остаться незамеченными: булыжник в переулке сменился асфальтом, чухлый скверик рядом с посольством был обнесён забором, там стояла строительная вышка, это была шахта метро. Потом и она исчезла, и появилось рядом с Хоромным тупиком, лицом к Садовому кольцу и народному комиссариату путей сообщения, изумительное сооружение — похожая на вход в туннель станция подземной железной дороги. Что касается воздуха, то, хотя он по-прежнему состоял из азота и кислорода с незначительной примесью инертных газов, но азота стало больше и к нему присоединилось нечто изменившее прозрачность атмосферы. Крупные объекты, как-то: дома и дворы, подъезды и подворотни, по-прежнему были хорошо различимы, но те, кто ещё недавно выходил из подъездов, останавливался перекинуться словечком с соседом, заглядывал в керосиновую лавку, выстраивался в хвост перед продовольственным магазином — короче, вчерашние обитатели дома и переулка — растворились в этом воздухе один за другим. Бог знает, что с ними случилось, пропали или стали невидимы, вчера были, сегодня их нет и даже вроде бы никогда не было. Помутнение атмосферы достигло такой степени, что сейчас уже трудно объяснить, каким образом удалось отыскать извозчика, вернее, как он нашёл дом в Большом Козловском переулке. Но мы забежали вперёд: Анна Яковлевна всё ещё в сборах.

«Теперь ты должен отвернуться. Или, пожалуй, выйди... я позову».

Писатель — незачем напоминать, что он был и певцом, — сидя на сундуке в коридоре, пел гимн метрополитену:

«Где такие залы, подземные вокзалы, подземные порталы блещут, как серебро!»

Наконец, из-за двери послышался голос Анны Яковлевны. Он вошёл.

«Voilà!»

Писатель молчал, лишившись дара речи.

«Où est votre compliment? В таких случаях, да будет тебе известно, полагается сказать даме комплимент. — Дрогнувшим голосом она произнесла: — Ну как?»

Анна Яковлевна ослепительна. Её глаза затуманены. Чёрное, длинное, до полу, шёлковое платье висит на её тощем тельце. Что-то мелко поблескивает на груди, переливается жёлтыми и лиловыми искрами. Некогда мама высказала предположение о припрятанных брильянтах. Брильянты не брильянты, но с ушей свисают мутно-жёлтые стекляшки, и шею обвилось такое же ожерелье. Анна Яковлевна стояла, пошатываясь на высоких туфлях, и как будто не знала, куда деть голые руки в чёрных, длинных, как чулки, перчатках до локтей. Её седые волосы были взбиты и приобрели неожиданный лиловый оттенок.

«Как ты меня находишь? А? – громко дыша от волнения, повторила она. – Я тебе не нравлюсь?»

Писатель по-прежнему безмолвствовал, открыв рот, взирал на неё с испугом и восхищением.

«Духи!» – приказала она, теперь её голос вновь звучал повелительно, как у герцогини. Мальчик подал с комода пустой флакон. Анна Яковлевна потряхивала духами на грудь и плечи, прыскала на ладонь воображаемой жидкостью, провела пальцами за ушами и вдоль шеи. Чудо: слабый, сладко-удушливый запах распространился в комнате.

«*Mon éventail. L'éventail!*» – повторила она нетерпеливо. Мальчик не знал это слово. Он попытался раскрыть эту странную вещь, сандаловый веер, скреплённый нитками, Анна Яковлевна выхватила ветхую принадлежность из его рук. Анна Яковлевна сама повязала ему тщательно отглаженный красный галстук. Наконец, была накинута шуба с воротником, по которому уже прошли когти времени, прогулялась моль. Извозчик ждал у подъезда.

И это дивное путешествие началось, ехали, покачиваясь на рессорах, вдоль слепых домов, мимо тёмных оград по Большому Харитоньевскому, миновали Мыльников, Гусятников, а там Чистые пруды, и в лицо повеял свежий дух весны, и, высекая искры из-под колёс, вдоль бульварной ограды громыхал светлый пустой трамвай. А там Мясницкая, которая теперь называлась улицей Кирова. Было весело, томило нетерпение, цокали копыта, туман окутал висячие фонари, кучер молча восседал впереди, в глубине экипажа под натянутым верхом блестяли глаза Анны Яковлевны. Пусть твоя мама не беспокоится, говорила она, до рассвета успеем вернуться.

«Пожалуй, я расскажу тебе кое-что. Чтобы ты не скучал... Извозчик!» – сказала она громко.

«Да, мадам».

«Я надеюсь, вы не забыли адрес».

«Сорок лет ездим. Уж нам ли не знать».

«Поторопите лошадей. Мы должны к десяти непременно поспеть».

«Слушаю, мадам».

И подковы застучали чаще, карета колыхалась, шуршали резиновые шины.

«Скажу тебе по секрету, – шепнула она. – Может быть, мы увидим государя».

«Кого?»

«Государя императора».

«Николашку?»

«Фу! Стыдись».

«Его пустили в расход», – сказал мальчик.

«Этого не может быть. Этого никогда не было. Ложный провокационный слух».

«Так ему и надо».

«Как ты смеешь так говорить! Ты это всерьёз?.. Извозчик!»

Голос свыше откликнулся:

«Да, мадам».

«Остановите лошадей. Я с ним дальше не поеду».

На короткое время воцарилось напряжённое молчание, оба вслушивались в дробный цокот копыт, экипаж трясся, нёсся; наконец, она проговорила:

«Я понимаю, ему можно было предъявить кое-какие претензии. Да, я это признаю. Говоря откровенно, и, разумеется, *entre nous*, это был никуда не годный монарх. Но расстрелять!.. – Она вздохнула. – Я знаю, что этого не было, уж я-то знаю, поверь мне. Но допустим... допустим, что это случилось. Можешь ли ты мне объяснить: за что?»

«За то, что он был оплотом контрреволюции».

«Тпру!»

Два рысака, с оглоблей посредине на немецкий лад, нервно перебирают точёными ногами перед роскошным подъездом.

«Сперва ты. Подать даме руку».

Подобрав шубу и платье, она собирается вылезти. Писатель выпрыгнул из кареты. Но не успел он выполнить долг мужчины, как перед ними очутился страж порядка.

Mon Dieu, какой порядок они нарушили?

VII Похороны Максима

8 апреля (продолжение)

«Это недоразумение. Вы не смеете. Это неслыханно, – говорила Анна Яковлевна. – Дайте мне руку, я хочу вылезти».

«Здесь останавливаться не положено. – Кучеру: – Проезжай».

«Извозчик! стоять на месте. – Её глаза метали искры из полутьмы. – Это неслыханное самоуправство. Я приглашена... мы оба приглашены. Я требую объяснений. Но дайте же мне, наконец, выйти! Нет, я с подобным поведением ещё не сталкивалась. Требую, чтобы вы извинились».

«Гражданка, – усмехнулся милиционер, – вы, по-моему, перепутали адрес».

«Нет уж, извините. Адрес Благородного собрания мне прекрасно известен».

Он прищурился.

«Какого собрания, чего ты мелешь?»

Анна Яковлевна, путаясь в платье, выбралась из коляски.

«Та-ак», – проговорил милиционер, оглядев её сверху вниз и снизу вверх, и вставил в рот что-то висевшее у него на груди. Пронзительный птичий свист заверещал на всю Дмитровку и пустынный Охотный ряд, и тотчас из-за угла вышагнул второй.

«Товарищ старший лейтенант...»

«В чём дело?»

«Да вот тут...»

Товарищ старший лейтенант спросил документы. Возница неподвижно сидел на козлах, лошади стояли понурившись, было холодно, зябко, туман наплывал на город и оседал мелкими каплями на бывшем меховом воротнике Анны Яковлевны, на милицейских шинелях, на кургузом пальтеце писателя. Она рылась в музейной сумочке. Траурные полотнища подъезда вздрагивали под мозглым дуновением весны, высокие окна Колонного зала отсвечивали темно и мертво, всё кончилось, если вообще когда-либо начиналось. Анна Яковлевна испустила трагический вздох, «слава Богу, – бормотала она, – хоть паспорт вернули... mais c'est incroyable, это уму непостижимо!» Молча ехали по знакомым улицам. Кучер размышлял, сворачивать на бульвар или дальше по улице Кирова, к Красным Воротам; поравнялись с порталом главного почтамта, и тут навстречу пронёсся таинственный ветерок, показались во мгле красные огни – поистине это была ночь сюрпризов. Анна Яковлевна растолкала спящего писателя.

Киров, будь он неладен, едет с Ленинградского вокзала по улице его имени, бывшей Мясницкой, в Колонный зал, и не этим ли объяснялось наглое поведение милиционеров. Но нет, – да и вряд ли составитель этой хроники помнит проводы Кирова. Нет, это не был любимый Сергей Миронович, вождь питерского пролетариата, тёмная личность, герой, предательски застреленный в коридорах власти. Это был, о ужас... vous avez eu raison, прошептала потрясённая Анна Яковлевна, ты был прав.

Заметим, однако, что и тот, кого везли навстречу, в некотором смысле сравнился с казнённым Кировым в силу непостижимой иронии рока. По крайней мере, мог с таким же правом стать героем известной песни *Помер Максим*. Нигде так очевидно не звучит глас народа, как в непристойных куплетах, и ничто с такой очевидностью не выражает величественного равнодушия истории к свершившемуся. *Помер Максим, ну и хрен с ним!* (Или там было употреблено выражение покрепче?)

Экипаж пошатнулся, лошади втащили карету с Анной Яковлевной и писателем на тротуар. Пламя дрожало в стёклах нижних этажей, мелькало в провалах витрин. Анна Яковлевна быстро, нервно перекрестилась. Прошагали факельщики в длинных одеяниях, в шляпах с полями, отогнутыми книзу. Проследовали, кивая султанами, ступая тонкими ногами, две пары вороных лошадей под чёрно-жёлтыми попонами с двуглавой птицей. Проплыл балдахин. Четыре капитана, дворяне древних кровей, стоя по углам катафалка, высоко держали раструбы горящих светильников. Последним шествовал, весь в чёрном, демон в маске, вёл под уздцы верховую лошадь в плаще до копыт.

Нисходит ночь с темнеющих небес. Пустеет улица, и глохнет поскрипыванье колёс роскошного погребального экипажа, ни души в переулках, ни одного нищего на тротуаре, ни единой влюблённой пары в подъездах. Слышно, как вздыхает во сне огромный город. И вот начинает дрожать тёмный пахучий воздух, трепет пронесётся по проводам, запевают лиловые фонари. Голоса вступают один за другим, низко, глухо, с хрипотцой, но всё чище и уверенней. Хорал огней уносится мимо спящих домов, гремит над площадями, и в тон ему пробуждаются куранты древней башни, бьют чугунные колокола, поддакивают колокольчики, и ещё какие-то подголоски доносятся снизу из подземелий, жалобные дисканты, фальцеты. Слышишь? – говорит Анна Яковлевна. Что это, спрашивает мальчик. Слышишь – это ночная музыка города. Не каждый достоин ей внимать. Не каждому удаётся её расслышать.

Въехали в Козловский.

VIII Палеонтология времени (2). Размышления a posteriori. Непредвиденный ход событий

27 ноября 1941

Анна Яковлевна вспомнила, что уже много дней не отрывала листки настенного календаря. Между тем время идёт, события налезают друг на друга, с грохотом, с треском, как льдины на реке во время ледохода. Трещит и крошится эпоха. Самые разные происшествия совершаются одновременно, под общим знаком, в едином ключе, но лишь годы спустя осеняет мысль о тайной перекличке, о взаимозависимости; эта зависимость кажется объективным фактом. Вопрос, не есть ли она умозрительный конструкт. Но ведь именно так пишется летопись времени. Так скрепляются проволокой фрагменты черепных костей, кусочки рёбер и позвонки. Динозавр стоит на шатких фалангах исполинских конечностей. Был ли он таким на самом деле, выглядел ли таким, когда ещё ходил по земле?

Молниеносный польский поход, чуть ли не играючи покорена Франция; артиллерия, ракетные установки нацелены на Британские острова, сухопутные войска готовы к вторжению, но затем планы меняются, и гигантская рать пересекает границу восточного соседа от Балтики до Карпат. Ранние морозы сковали грязь на дорогах, облегчив наступление, но застигли врасплох армию, ведь никто не рассчитывал, что покорение России затянется, потери от обморожений превыси-

ли вдвое потери от ран. Меньше месяца осталось до Рождества, когда, наконец, увидели с холмов Подмосковья, в огромных цейссовских биноклях, звёзды на башнях византийской столицы.

Здесь стоит роковая дата — сколько дней и ночей протекло с тех пор? Век миновал, «наш» век, и, мнится, время собрать камни. Найти общий знаменатель, соединить диагоналями события, как соединяют звёзды линиями на карте неба, чтобы вышло созвездие. Доступно ли это нам, доступно ли тебе, живому свидетелю, недобитой жертве? Скажут, что получается круг, называемый *petitio principii*: вопрошая, каков облик эпохи, мы уже исходим из представления о некоей единой эпохе, а ведь её ещё нет. Ещё предстоит собрать её по кусочкам, и Бог знает, получится ли что-нибудь путное из разрозненных обломков.

Анна Яковлевна сняла со стены календарь и вышла из комнаты умыться. Её наставления, начертанные красивым наклонным почерком по линейкам, висели в коридоре, в уборной, на кухне. Всё функционировало, горели тусклые лампочки, медленно обращалась красная метка диска за стеклом электрического счётчика. Телефон молчал. Двери жильцов заперты, не слышно ни голосов, ни радио. Все уехали.

Анна Яковлевна боялась выходить на улицу, неизвестно было, работают ли магазины и керосиновая лавка. Она варила кашу из запасов крупы на электрической плитке, пренебрегая заветом экономить энергию. По ночам не спала, полуодетая, готовая ко всему, лежала, накрывшись одеялом и пледом, и погружалась в бесконечные воспоминания. Ночью она говорила себе, что настоящее безумно, будущее у неё не было — она и не горевала об этой потере, — важно было лишь прошлое, ибо в нём содержалось и то, что было, и то, что произошло потом; прошлое было не чем иным, как предсказанием и предвестием настоящего, и глядя в прошлое, она различала в нём, как в тусклом зеркале, сполохи сегодняшнего дня. Под утро её одолевал сон. Однажды раздался звонок в коридоре. Анна Яковлевна прислушалась; звонок повторился. Она поднялась со своего ложа, проковыляла, не зажигая свет, по коридору к дверям. Почтальон, в фуражке с загнутой кверху тульей, в шинели с воротником и отворотами из собачьего меха (она подумала, что ввели новую форму), ждал на площадке, сверху из окна между маршами лестницы сочился призрачный свет. Был пасмурный день.

Она спросила: «Телеграмма?» Вместо ответа ей самой был задан вопрос — ошеломлённая, она ничего не понимала и, однако, поняла; почтальон говорил по-немецки. Он осведомился, здесь ли проживает госпожа Тарнкаппе. И она ответила автоматически: *das bin ich* (это я), после чего офицер, коротко сказав: *darf ich?* (разрешите?), вошёл в коридор.

Анна Яковлевна не решалась спросить, что всё это значит, кто он такой. Офицер снял фуражку, щёлкнул каблуками и представился. Прошу, пробормотала она на языке, которым не пользовалась полвека. Вошли в комнату, он окинул стены светлым, льдыстым взглядом, Анна Яковлевна взяла у него фуражку, он сбросил собачью шинель на диван, пригладил светлые волосы. Офицер сидел на низком диване, расставив ноги в узких глянцевых сапогах, на нём был голубовато-серый мундир с красной орденской ленточкой между серебристыми пуговицами, что-то вроде вензеля на узких погонах. Чёрносеребряная нашивка над правым карманом: орёл с геометрическими крыльями и свастика. Она не верила своим глазам, не верила ушам.

Офицер спросил: «Откуда это у вас?» Он смотрел на картину в углу между окном и комодом.

Анна Яковлевна не нашлась, что ответить, и пожалала плечами.

«Оригинал? Вы знаете, что это за художник?»

Она пролепетала что-то.

«Правильно. Лео Пуц. Das Mädchen im Glas⁵. Мюнхенская школа... – Он добавил после некоторого молчания: – Довольно странное соседство, вы не находите?»
Она не поняла.

«Я говорю, странное соседство. – Он показал на икону в другом углу. – Византийская Богоматерь и эта юная дама в бокале».

Анна Яковлевна сжала виски ладонями, ощупала узелок волос на затылке, послушайте, пролепетала она. Офицер взирал на неё несколько иронически.

«Послушайте... Может, это всё-таки ошибка?»

Она чуть не спросила: может быть, вы мне снитесь?

«Вы имеете в виду...?»

«Я ничего не понимаю».

«Включите радио».

Она возразила: радио не работает.

«А вы попробуйте».

Музыка, металлический голос диктора. Гость встал и повернул винт; чёрный рупор умолк. Офицер опустил на диван. Есть ли кто-нибудь ещё в квартире, спросил он. Анна Яковлевна покачала головой. Выходит ли она из дому, известно ли ей, что происходит в городе?

«Немецкий капитан является к вам с визитом, не наводит ли это вас на некоторые, скажем так... догадки? Ну хорошо, – он улыбнулся, – не буду вас мучить. Все плохое уже позади. Операция “Тайфун” успешно завершена. Правда, с опозданием, по причине ужасных дорог. Да и погода не благоприятствовала. Русский климат, ничего не поделаешь!»

Анна Яковлевна молча, с ужасом, зажав рот ладонью, воззрилась на него, капитан закинул ногу на ногу, покачивал носком сапога, постукивал ладонью по колену.

«Военные действия ещё не закончились, но это, я думаю, дело двух-трёх недель, не больше... Три дня назад четвёртая и девятая армии вошли в Москву. Это для сведения».

«Город сдан?»

«Sie sagen es, Frau Baronin»⁶.

«Пожалуйста, не называйте меня так».

«В чём дело? Большевиков уже нет».

«Но мы, кажется, перешли в наступление...»

«Кто это – мы? – сказал он презрительно. – Вы хотите сказать: они. Можете не волноваться. Ложный провокационный слух».

«А как же Сталин?»

«Сталин бежал. Ушёл от ответственности. К сожалению, мы не смогли этому воспрепятствовать. В городе спокойно. Оккупационные власти следят за порядком. Есть кое-какие разрушения, но мы постараемся как можно скорее расчистить завалы, всё будет приведено в порядок. So ist es, Gnädigste⁷».

Молчание.

«Я рад, что вы не забыли родной язык».

«Я бы хотела его забыть», – пробормотала Анна Яковлевна.

«Ну-ну-ну. Не надо так говорить. Разве это такая уж неожиданность для вас? Я имею в виду развитие событий. С первых же дней было ясно, что Красная Армия продержится недолго. Впрочем, мы знали это заранее. Колосс на глиняных ногах. Если бы не погода, я думаю, всё завершилось бы ещё в сентябре».

«Вы сказали, война не кончена...»

⁵ Девушка в бокале (нем.)

⁶ Совершенно верно, баронесса (нем.)

⁷ Вот так, сударыня (нем.)

«Фактически она уже закончена».

Снова пауза, тишина, офицер, это видно по его глазам, по тому, как он постукивает ладонью по обтянутому сероголубой тканью колену, собирается приступить к главной теме.

Как он её разыскал?

«О, это не представляло большого труда. У нас есть списки».

«Позвольте всё-таки... Чему я обязана честью?..»

«Вы хотите сказать, честью моего посещения? Чувствуется прекрасное старое воспитание. Но я полагаю, что вы и сами догадались, с какой целью я разыскал вас».

«Keine Ahnung»⁸.

«Вы последняя оставшаяся в живых наследница старого рода. Ваш муж погиб...»

«Жених...» – пробормотала она.

«Прошу прощения. Ваш жених погиб от рук большевиков».

«Откуда это известно?»

«Нам всё известно. Вы бывшая владелица этого дома».

«Мы здесь не жили...»

«Да, это был доходный дом. Семья жила... позвольте, где же находился особняк родителей? Ах да, вспомнил: на улице Поваров».

«На Поварской. Он сгорел».

«Ваш дом сгорел, имущество разграблено, мужчины расстреляны, вы сами чудом уцелели. И вот на склоне лет, одинокая, бесправная, в вечном страхе за свою жизнь, вы уютитесь в этой комнатухе, в квартире, где некогда жила одна семья, как и в других квартирах, а теперь её заселил всякий сброд... Не достаточно ли всего этого?»

Анна Яковлевна молчала. Умолк и офицер.

Он взглянул на часы, хлопнул себя по колену.

«Всё это теперь миновало, как дурной сон. В ближайшие недели будет заключено перемирие, Россия становится союзником рейха, состав будущего русского правительства уже известен. Но я полагаю, – впрочем, вопрос этот, как вы догадываетесь, уже согласован... – я полагаю, что дожидаться, когда новый порядок будет окончательно установлен, нет необходимости. Я предлагаю вам, баронесса, вернуться в Германию. Я не могу представить себе, что могло бы вас удерживать здесь, в этой злополучной стране, после всех бед, выпавших на вашу долю...»

Анна Яковлевна по-прежнему безмолвствует. Лицо капитана приняло непроницаемо-каменное выражение. Офицер сидит, прямой, неподвижный, с задранной подбородком, хрустальные глаза устремлены на хозяйку, но как будто не видят её.

Это что, приказ, прошептала она.

Он усмехнулся.

«Это не может быть приказом. Это приглашение. Вы немецкая дворянка, немецкая кровь течёт в ваших жилах. Вам будет немедленно предоставлено германское подданство, назначена пенсия».

«А если я откажусь?»

«В самом деле? (Подняв брови). Das ist doch nicht Ihr Ernst»⁹.

«Вы увезёте меня насильно?»

Капитан вздохнул. Сумашедшая, подумал он. Ничего не поделаешь, возраст. Или до такой степени запугана, что...

⁸ Понятия не имею (*нем.*)

⁹ Вы это всерьёз? (*нем.*)

«Конечно, нет. Никто не заставляет вас уезжать против вашей воли. Как я уже сказал, это приглашение. Как немка...»

«Mein Herr, – промолвила Анна Яковлевна, – я русская».

«Вы имеете в виду, – он показал подбородком на икону, – православное вероисповедание? В Германии русская церковь не преследуется, напротив. Мы видим в ней союзницу в борьбе за освобождение России от еврейско-большевистского ига».

«Я русская, я прожила здесь всю жизнь. И здесь умру. Воля ваша, но я никуда не поеду».

Гость склонил голову набок, с любопытством разглядывал Анну Яковлевну; внезапно грохнуло за окном, задребезжали стёкла.

«Виноват, – отрывисто сказал капитан. – Я должен идти».

Он коротко кивнул, надел фуражку. Хлопнула парадная дверь. Анна Яковлевна сидела не двигаясь и ждала следующего взрыва. Немного погодя снова тенькнул коридорный звонок; оккупант возвратился. Или?..

IX Диспут

27 ноября 1941 (продолжение)

«Как! вы в городе?»

«Увы, – отвечал, входя, доктор Каценеленбоген. – Я должен был уехать с внучкой, но мы потеряли друг друга в толпе, вы же знаете, что творилось».

«Я ничего не знаю».

«Ваше счастье. Это был какой-то ужас. Вдруг пронёсся слух, что немцы якобы уже в Химках. На вокзалах столпотворение. Одним словом, мы разминулись, а это был последний поезд».

«А ваша, э...?»

«Домработница? – Доктор пожал плечами. – Сбежала куда-то».

«Значит, вы теперь один».

«Один. Но, слава Богу, отогнали фрицев; я слышал, что из Сибири прибыло подкрепление».

«Из Сибири?»

«Или с Дальнего Востока. Свежие силы. Я думаю, в ближайшие дни наступит перелом».

«Дорогой мой... – сказала Анна Яковлевна, – я должна вас огорчить. У меня другие сведения. Но, ради Бога, раздевайтесь. Садитесь... Сейчас я сделаю чай».

«О! – сказал доктор Каценеленбоген, потирая ладони. – Горячего чайку было бы недурно. А у вас, похоже, вся квартира эвакуировалась?»

Она вернулась из кухни с чайником. Осторожно спросила, не попадался ли ему кто-нибудь навстречу в переулке.

«Город вымер».

«Доктор. К великому сожалению, у меня другие новости. Но я вижу, вы совершенно замёрзли».

«Продрог. Какие же новости?»

«Тут осталось немножко варенья. Ещё чашечку?.. Вы говорите, подкрепление. Друг мой... – Шёпотом, вперившись в доктора глазами, полными слёз: – Они в городе!»

«Кто?»

«Немцы!»

«Как! Что? Кто? Не понимаю».

«Да, – простонала она. – Я только что узнала».

Доктор Каценеленбоген воззрился на неё, подняв густейшие брови. «Да, да», – шептала Анна Яковлевна.

«Дорогая моя, успокойтесь. Всё будет хорошо».

«Доктор... мы погибли. Всё пропало».

Доктор Каценеленбоген вытянул из жилетного кармана крохотный флакон, схватил чашку, накапал. «Вот, – сказал он. – Выпейте... Этого не может быть и никогда не будет, это противоречит здравому смыслу».

«Господи, какой там здравый смысл...»

«Я своими глазами видел, как наши бойцы прошагали по Садовой, как шла кавалерия. Своими глазами».

«Друг мой, вы грезите, мы оба грезим...»

И тут опять, как набат, теньканье в коридоре.

«Это, наверное, он», – прошептала Анна Яковлевна.

«Кто – он?»

Анна Яковлевна, стиснув ладони, обвела глазами комнату, милый, дорогой, бормотала она, вам надо... Длинный раздражённый звонок потряс квартиру, ещё один, и ещё.

«Вам надо спрятаться, идите в уборную, запритесь там... Это немец, он уже был здесь... Кто там?» – спросила она, величественно плывя к парадной двери, послышался чёткий ответ, она вынула из гнезда дверную цепочку и отвернула защёлку английского замка.

Офицер в шинели с собачьим воротником прошагал мимо сундука и вступил в комнату.

Увидев чашки:

«Sie haben Besuch»¹⁰.

«Только что ушли».

«А я решил зайти к вам ещё раз. Может быть, вы передумали».

Он снял фуражку, расстегнул шинель, уселся, не дожидаясь приглашения.

«К сожалению, мне нечем вас угостить. Может быть, чаю?» – сказала она холодно.

«Благодарю. Вы не ответили...»

«Видите ли, mein Herr...» – и осеклась. Оба услышали торжественные шаги – появился, держа на руке щегольское пальто, с величественной миной, доктор Каценеленбоген.

«Доктор, – пролепетала Анна Яковлевна, – позвольте вам представить... э...»

«Капитан Вернике. Я знал, что тут кто-то есть... Herr Doktor spricht deutsch?»

«Да, – сказал врач, – я говорю по-немецки».

«Приятно встретить культурного человека. Где вы научились языку, если позволите спросить?»

«Доктор, присядьте... вот тут можно...»

«Я учился в Гейдельберге. Это было давно».

«Как я понял, вы медик?»

Большой, грузный доктор Каценеленбоген, облачённый в костюм-тройку из английского коверкота, в широком галстуке и с цепочкой от часов на огромном животе, с опаской косился на стул, сопел, мрачно поглядывал из-под бровей.

«Для всех нас это новость... Мир сошёл с ума», – промолвила хозяйка.

«То, что мир сошёл с ума, что время сорвалось с оси, это знал ещё принц Гамлет, – возразил Вернике, – для вас это новость?.. Ах да, вы имеете в виду поражение Советов. Но, по здравом размышлении, это не должно удивлять. А вот вы меня, действительно, удивляете тем, что ни о чём не слыхали. Кстати, Наполеон тоже был в Москве».

¹⁰ У вас гости (нем.)

«Да, но чем это кончилось», – сказал врач.

«Доктор, может быть, всё-таки вы присядете», – сказала Анна Яковлевна.

«Отлично знаем, – сказал Вернике, – как это началось и чем кончилось. Это были другие времена...»

«И другие завоеватели, хотите вы сказать?»

Стул затрещал под доктором, однако уцелел. Наступила пауза, мужчины взгляды-вались друг в друга. Наконец, капитан произнёс:

«Я счастлив, что я увидел столицу царей, наследницу Византии. Эти башни, эти купола древних соборов. Счастлив, что имею возможность побывать в образованном кругу, где можно обменяться мнениями, так сказать, неофициально».

Гость умолк, ожидая ответа, и продолжал:

«Кстати, не лишено некоторой парадоксальности, что представителем русской интеллигенции в данном случае оказался, гм... Вы, если моё предположение правильно, иудей? Впрочем, оставим это. Хочу заметить, что население встречало немецкие войска с энтузиазмом».

«Вы так полагаете?»

«Я этому свидетель».

«С энтузиазмом... – проговорил доктор Каценеленбоген и похлопал себя по коленям. – Надолго ли?»

«Освобождение от тирании большевизма не могло не вызвать сочувствия. Как вы считаете?»

«Я не знаю, уместно ли здесь это слово: освобождение».

«Ага, вы так считаете. С политической точки зрения, кто же будет спорить, большевизм – наш враг. Но, в конце концов, политика – достояние узколобых умов. В некотором более высоком смысле наши цели были одни и те же».

«Какие же?» – поднял брови доктор Каценеленбоген.

Вернике усмехнулся.

«Были – я подчёркиваю. Видимо, для вас это тоже новость, попробую объяснить. Мы, как вам известно, национал-социалисты. Сталин провозгласил социализм в одной стране – национальный социализм, обратите внимание на совпадение терминов. Ленинская мировая революция, разумеется, нонсенс, и можно лишь удивляться тому, что трезвый политик верил в эти фантазии, чисто русская черта, впрочем. Сталин исправил Ленина. Невозможно всколыхнуть сразу всех. История предназначила двум нациям роль зачинателей. Если хотите – поджигателей. Простите, если позволю себе несколько патетический стиль, но ведь иначе об этом не скажешь – только огонь очистит мир. Нужно спалить обветшалый клоповник истории. Взорвать публичный дом западного либерализма... Германия и Россия – вот кому предстояло огнём и мечом проложить путь для других народов».

«Допустим. Но зачем же тогда понадобилось...»

«Минуточку, герр доктор, дайте мне договорить. Великая немецкая национал-социалистическая революция, как и русская революция, была направлена против гнилого упадочного Запада. Мы, немцы, – срединная держава, мы не Запад в том смысле, в котором говорится о Франции или Англии, мы – фаустовская культура, устоявшая против торгашеской цивилизации, но, в отличие от вас, мы сочетаем здоровый почвенный романтизм с железной дисциплиной. Западная демократия изжила себя. Либерализм на данном этапе, быть может, самый страшный враг человечества. Демократия выродилась, продалась капиталу – это не демократия, а плутократия... Вы хотите что-то сказать, возразить?»

Доктор молча смотрел на капитана, как врач оглядывает больного. Кивнул, убедившись, что диагноз подтверждается.

«Но русская национальная революция провалилась, её идеалы извращены. Будем смотреть правде в лицо, я не хочу вас оскорблять, но вы же не станете отрицать, что власть в этой стране захватила еврейско-большевистская клика. Мы

должны были её сокрушить, вернуть России её предназначение. Два цвета нашего времени, нашей великой эпохи – красный и чёрный, цвета борьбы и трагизма. Жертвенная кровь и геройская смерть».

Анна Яковлевна прислушивалась к тишине в квартире и, как ей казалось, во всем городе.

«Вы видите, – Вернике снова нарушил молчание, – я перешёл к главному, хотя в двух словах изложить всё это трудно. К сожалению, у нас мало времени...»

«И в чём же состоит это главное?» – спросил доктор Каценеленбоген.

«Одну минуту. Где у вас телефон? Есть у вас телефон?»

«В коридоре, – сказала Анна Яковлевна. – Но он, кажется, не работает».

«У нас всё работает. Так вот, – сказал Вернике, возвращаясь. – Переживание истории как борьбы высшего начала с низшим и неполноценным, молодости со старостью, идеализма с материализмом – всё это только разные проявления, если хотите, иносказания фундаментального конфликта. Конфликта эстетики с безобразием. Вот разгадка истории! К несчастью, русская нация лишилась инстинкта красоты. Он был присущ ей когда-то, в былые века, иначе откуда бы взяться этим дивным храмам, этим фрескам, возродившим угасшее искусство Византии...»

Капитан Вернике умолк, ответом было молчание.

«Да, лишился этого чувства, этого понимания красоты. Иначе он почувствовал бы, насколько уродлив и антиэстетичен навязанный ему режим. Этот народ нуждается в перевоспитании...»

«По моим воспоминаниям... – промолвил, наконец, доктор Каценеленбоген, стараясь дотянуться до носа верхней губой, – по моим воспоминаниям, Германия – страна прекрасных ухоженных городов, чистых улиц. Это была страна порядочных людей. Но что касается эстетики... Впрочем, я не специалист».

«Вот именно. А я по образованию историк искусств. Вы побывали в рейхе, но, как я понимаю, не застали великие дни. Если бы вы увидели однажды этот марш отборных отрядов, с головы до ног одетых в чёрное, под кровавыми стягами, погрузились в эту стихию мужественности, музыки, молодости... Не думайте, что я вульгарный расист. Для меня понятие расы – это прежде всего духовная категория. Коллективная душа! Вот истинное средоточие исконных расовых начал. Увы! – воскликнул Вернике, вставая с ветхого дивана. – Die Zeit ist um¹¹. Машина ждёт у подъезда. Я, собственно, – отнёсся он к доктору, – пришёл за вами».

Он застегнул собачью шинель, взялся за козырёк фуражки.

«Баронесса, честь имею. Подумайте ещё раз над моим предложением... Вас попрошу следовать за мной».

«Куда?» – спросил доктор Каценеленбоген.

«Как это, куда. Разве вы не видели объявлений в городе? Вы ещё вчера должны были явиться на сборный пункт».

«Господин офицер! – взмолилась Анна Яковлевна. – Господин офицер... Куда, за что? Доктор Каценеленбоген – уважаемое лицо во всей округе...»

«Моё почтение», – сказал капитан холодно.

«Я решительно возражаю! Я бы хотела связаться с вашим начальством».

«Полагаю, в этом нет надобности. Порядок есть порядок. Мы заедем к вам домой, вы заберёте с собой семью».

«У меня никого нет, – сказал доктор. – Дорогая, не волнуйтесь. Я уверен, что всё уладится». Он стоял, огромный, грузный, палка с набалдашником в правой руке, пальто и шляпа в левой. Капитан ждал, пошевеливал бровями.

«М-да, – сказал доктор. – Могу ли я, если позволите... на одну минуту?»

«В уборную?»

«Да. Могу ли я сходить в уборную?»

¹¹ Время истекло (нем.)

Капитан усмехнулся: «Сделайте одолжение».

Доктор Каценеленбоген прошествовал по коридору, капитан маршировал следом за ним и остановился у выхода, перед электрическим счётчиком. Доктор Каценеленбоген вступил в закуток и накиннул дверной крючок на петлю. Прочёл наставление. Взглянул на клозетную библиотеку и шумно втянул воздух в широкие ноздри.

История как борьба эстетики с безобразием. Это уже что-то новое, подумал он (или проговорил), вытянул часы из карманчика брюк, потрогал пульс. После чего, ощупав себя, добыл коробочку в виде крошечного пенала. Некоторое время доктор Каценеленбоген любовался аккуратным гимназическим почерком Анны Яковлевны, покручивал на пальце кольцо с жёлтым камнем, затем дёрнул висячую фаянсовую грушу на цепочке, раздался шум спускаемой воды. Доктор раздавил во рту ампулу и успел почувствовать боль от осколков тонкого стекла, впившихся в дёсны.

Х Побег № 1

1944 год

Существуют города без истории, каменные шатры вчерашних феллахов, там и сям раскиданные на огромных пространствах, существуют города, у которых впереди – солончаки бесплодного будущего, где обрюзгшие женщины выплёскивают помои перед порогом своих жилищ, где грохочет механическая музыка, где коровы жуют газету на пустыре и ветер несёт по ухабистым улицам пыль, сор и беспамятство. Существуют неодушевлённые города и одушевлённые.

И есть душа Города. Нет, это не *genius loci*, дух места, или как там это называется; её, эту душу, создало наше воображение, но незаметно она отделилась от нас, чтобы являться в таинственных снах, манить к себе перезвоном ночных курантов по радио, за тысячу километров. Душа Города бродит по опустевшим улицам, ищет тебя, заглядывает в подворотни, забирается на чердаки. Давно уже прекратились ночные налёты, война ушла на запад, но душа великого города всё ещё озирает горизонт, вперяется в тёмное небо. И ты догадываешься, что это твоя заблудившаяся душа, и тут уже начинается какая-то мистика, ностальгическая одержимость, то самое *Dahin! Dahin!*¹² ах, не будем больше об этом, тем более, что дальнейшее, в перспективе лет, представляется фантазмагорией. Но что было, то было: карабкаясь под вагонами, выпутавшись из паутины рельсовых путей на станции «Москва-Товарная», озираясь и совершив бросок, подросток скрылся за пакгаузами. Оттуда зорко выглядывал, ждал темноты, караулил огни медленно приближающегося товарняка, выбежал, улучив момент, отважно схватился за железный поручень, взобрался на тормозную площадку, ехал, вовремя спрыгнул, и... что же дальше, трудно поверить – он цел и невредим, и никем не сцапан, никому не попался на глаза, он бредёт с тощим рюкзаком за спиной по черным от угольной пыли подъездным путям, по задворкам Ярославского вокзала, и душа Города обнимает его, впускает в себя. Помедлив, была не была, он пересёк площадь вокзалов.

Стемнело, он плетётся в изнеможении, хоть ложись на тротуар, мимо круглой, в виде туннеля, станции метро, сворачивает в переулок, и тут внезапно фиолетовое небо озаряется нездешним свечением, лопаются ракетницы, над крышами расцветают алые, жёлтые, зелёные цветы, рассыпаются искрами, ура! – взят ещё

¹² Туда, туда! (*Géte*)

один город, непрерывная череда побед. Писатель забыл обо всём, задрал голову, открыв рот, стоит перед подъездом. Неужто в последний момент он потерял бдительность?

Он входит. Он подкрался! Пальцем, осторо-о-ожненько – пуговку звонка. В ответ ни звука. Звонки не работает. Он ещё раз, посильней. В коридоре дребезжит колокольчик. Молчание, там никого нет. Сердце грохочет, как сумасшедшее, от ударов подпрыгивает каменный пол, шатается лестница. Блудный сын, паломник с сумой за плечами, не хватает только посоха, в отчаянии снова тянется к звонку. Он не успел нажать, как дверь приоткрылась, натянулась цепочка, тусклый свет брызнул из коридора. Сквозь щель выглянуло перепуганное сморщенное личико. И сейчас же дверь захлопнулась. Он топчется на площадке. Его не впустили. Мёртвое молчание в доме. Его просто не впустили, мало ли кто вломится – война! И вся немислимая авантюра – попробуй-ка в те годы, думал писатель, вернуться в закрытый город без вызова, с подделанной метрикой, – вся долгая дорога, всё напрасно. Он стоит, понурясь, в чужом, холодном подъезде, перед дверью в чужую квартиру, тупо соображает, что же дальше, куда теперь, и так же медленно движется время, на самом деле не прошло и минуты. Звякнула цепочка. Его хватают за руку, тащат по коридору мимо вечного сундука – скорей, чтобы никто не увидел.

Мы сказали, побег; может быть, лучше: *прибег?* Прибежище. Прибегнуть к чему, прибежать куда.

Анна Яковлевна, маленькая, нисколько не изменившаяся, с только что зажженным, тотчас погасшим «Дукатом» в увядших устах, сидит в кресле. Он – на диване. На том же самом диване.

«Ох, ох. Н-да... Ну и вид у тебя».

Нужно отдать ей справедливость, она не задает лишних вопросов. Пусть мальчик говорит сам.

Все же она спросила: а где мама?

Там, сказал он. Его рассказ был сбивчив, лаконичен, а чего рассказывать, в общем-то, бормотал он, то есть, конечно... И, одним словом, оказалось, что он бежал! Да, рванул, бежал из эвакуации, как когда-то гимназисты убежали в Америку, сперва на барже по широкой медлительной реке, потом в товарных поездах, умудрился обойти посты дорожного контроля, военные патрули, милицию.

Он умолчал о том, что в дороге просил милостыню, спасся от странных заигрываний какого-то типа в пенсне и шляпе, о том, как, драпая от контролёров, на ходу спрыгнул на насыпь, чуть не сломал ногу, чуть было не оказался в шайке воров, ночевал в подвалах, лишившись на какое-то время чувств, был подобран, очутился в детприемнике, бежал. Господи, лепечет Анна Яковлевна и крестится, Богородица святая, спасибо! Но как же мама? Оставил письмо на столе, говорит он, я ей отсюда напишу, дурачок, возражает Анна Яковлевна, письмо перехватят, сейчас все письма контролируются, уж не знаю, вздыхает она, как она там будет выпутываться, можно ли туда позвонить? дать телеграмму? Как-нибудь дать понять, что он жив и здоров. Я взял деньги, говорит он, у матери, – то есть украл? – он пожирает плечами, а что тут такого, – как это, что тут такого! – нет, подумать только, – и снова: как же ты добрался? – и в самом деле, много лет спустя эта ночь кажется сказочно неправдоподобной.

«Да что же это я!» – она спохватывается. С погасшей папиросой во рту бежит на кухню. Потом надо будет помыться, все эти лохмотья вон, вон! Я их вынесу на помойку. Как-нибудь устроимся, я схожу в милицию, поговорю с Самсон Самсонычем, приватно, он хороший человек, что-нибудь придумаем, внук приехал, а может, рассказать всё как есть, здесь родился, был прописан с родителями, отец погиб на фронте, мать в эвакуации, комнату заняли, пусть пока поживет у меня, а там посмотрим... о, как всё повторяется, как напоминает двадцатый год. Анна

Яковлевна входит в комнату с чайником и сковородой, но мальчик уже спит на диване, подложив рюкзак под голову, подтянув к животу ноги в опорках.

Он спит крепко, непробудно, как спит солдат в окопе, как спят в отрочестве. В кресле прикорнула Анна Яковлевна. И понемногу, неслышно, крадучись, в комнату входят сны. Сны, о которых он тотчас забудет, стоит ему только открыть глаза, и непостижимым образом вспомнит о них годы спустя.

XI Берлин

16 апреля 1945

1

Все полевые и тыловые госпитали, медленно, от станции к станции продвигающиеся санитарные эшелоны и замаскированные, с погасшими огнями, госпитальные суда были переполнены ранеными, умирающими, изувеченными, неизвестно было в точности, сколько их было, и никто не знал, сколько убитых наповал, засыпанных землёй, задохнувшихся в дыму и задавленных рухнувшими перекрытиями лежало на полях и среди руин. Война достигла крайней точки ожесточения, когда счёт потерь потерял смысл. Те, кто отступал, дали себя убедить, что вместе с крушением государства исчезнет с лица земли вся их страна, и старались уничтожить всё, что оставляли за собой. Те, кто заседал, держались тактики, суть которой выражалась в трёх словах: выжечь всё впереди. Надо было спешить, американцы уже вышли на Эльбу. Успех обещало огромное превосходство сил.

В три часа ночи рванули двадцать тысяч артиллерийских стволов. Несколько сот катюш изрыгнули свою начинку; горячий ураганный ветер пронёсся над всем пространством от низины Одера до Берлина; прах и пепел висели в воздухе, горели леса. Через полчаса всё смолкло, белый луч взлетел к небесам. Вспыхнули слепящие зеркала ста сорока прожекторов противовоздушной обороны. Двадцать армий двинулись вперёд. Но ослепить противника не удалось: дым пожаров застал окрестность. Не учли распутицу, болотную топь, густую сеть обводных каналов на подступах к Зеловским холмам. Во мгле атакующая пехота блуждала, потеряв направление.

С рассветом возросло вражеское сопротивление. Очевидно, там были использованы последние резервы. Прорыв был всего лишь вопросом времени. Но диктатор на подмосковной даче выражал нетерпение. Он приказал наступать конкурирующей армии на юге со стороны Нейссе. Были введены вторые эшелоны стрелковых дивизий, в десять часов снялся с места стоявший наготове танковый корпус. Чем ближе наступающие войска подходили к высотам – последнему плацдарму ближних подступов к цитадели врага, тем упорней было противодействие. Под вечер командующий ввёл в сражение обе танковые армии. В хаосе давили своих. Успех все еще не был достигнут. Двенадцать тысяч немцев и тридцать тысяч русских остались лежать в талой воде среди болот и на крутых склонах. Так, спотыкаясь и отшатываясь, и вновь наседая, и оставляя кровавый след, армии двух соперничающих фронтов, всё ещё называвшихся по старой памяти Первым Белорусским и Первым Украинским, обошли с флангов и взяли в клещи вражескую столицу.

Писатель задал себе вопрос, что ему Гекуба. Зачем ему этот очерк последнего сражения, и не довольно ли уже говорилось об этом, – зачем ему история, если вечной темой литературы может быть только история души. И не мог найти ответ, – разве только тот, что память об этих днях, как пыль и копоть уничтоженных родов, осела на окнах века, так что её не отмоешь; разве только та неотвязная

мысль, что ещё одна такая война, *ещё одна такая победа*, – и наш мир погибнет окончательно.

Он спросил себя, что ему эти вожди, о которых – забыть, забыть, забыть! И не мог найти никакого другого ответа, как только тот, что наша судьба – всю жизнь созерцать эти ублюдочные иконы века.

Изредка, в минуты грозных событий, вершители судеб, те, от которых зависела жизнь миллионов людей, кто отождествил себя с историей и в самом деле олицетворял её слепую волю, испытывали, насколько это было возможно при их ограниченных способностях, что-то вроде смутного прозрения. Не разум, но тягостное чувство говорило им, что гигантские скрежещущие колёса, чей ход, как им казалось, они направляют по своему усмотрению и произволу, увлекают за собой их самих. Как если бы, уцепившись за что попало, они вращались в огромном грохочущем механизме, который сами же запустили. Оба, карлик в Кремле и тот, другой, укрывшийся в катакомбах под парком Новой имперской канцелярии, оба, побеждающий и побеждённый, испытывали одно и то же мистическое чувство зависимости, ненавидели его, но и гордились им, ведь оно подтверждало их уверенность в том, что все самые безумные решения оправданы и одобрены высочайшей инстанцией – тем, что один называл законами истории, а другой Провидением.

2

Теперь от линии фронта до правительственного квартала можно доехать на трамвае – если бы ходили трамваи. День померк. Офицер с чёрной повязкой на глазу, с Рыцарским крестом на шее, выставив трость, выбрался из машины на углу площади императора Вильгельма – от барочного дворца Старой имперской канцелярии остался только фасад. Офицер показал пропуск, молча ответил на приветствие наружной охраны, поскрипывая протезом, пересёк бывший Двор почёта. Прямой и надменный, он прошагал мимо обломков плоского постамента, на котором некогда стоял голый, в два человеческих роста, воин-победитель с мечом, творение ваятеля-лауреата Арно Брекера.

Неожиданная встреча ожидала гостя при входе в сад: рослый худой человек в камуфляжной форме фронтовых СС с кубиками гауптштурмфюрера в левой петлице, что соответствовало капитану, стоял, как памятник, с рукой, простёртой в римско-германском приветствии. В светлых весенних сумерках, как хрусталь, блестя его глаза, и можно было разглядеть губы, соединённые рубцом, результат не вполне удачной операции. В углу рта осталось отверстие для приёма пищи. Приезжий кивнул на ходу, капитан выдавливал из зашитого рта мычащие, бляющие звуки, ничего понять было невозможно, да и незачем. Офицер с Рыцарским крестом маршировал, подпрыгивая на протезе, обходил воронки от снарядов, перебрасывал искусственную ногу через поваленные стволы цветущих деревьев. На газонах белели, розовели левкой. Это было лучшее время года. Он приблизился к невысокой бетонной башне, вновь извлёк из нагрудного кармана свою книжечку.

Постовой внешнего караула, с лицом бульдога, в звании унтерштурмфюрера, держа перед собой, как оружие, карманный прожектор, переводил взгляд с фотографии на командированного, с командированного на фотографию. Щёлкнул каблучками. По узкой, в три марша, лестнице штабной офицер Двенадцатой армии генерала Венка, стоявшей, как считалось, насмерть в семидесяти километрах от Берлина, полковник Карл-Дитмар Вернике, стуча тростью, сошёл в преисподнюю.

3

Бункер представляет собой инженерный шедевр XX века. Под тщательно замаскированными, укрытыми дёрном и травой плитами толщиной в двенадцать, а

“Зарубежные записки” №13/2008 37

где и пятнадцать метров, расположен лабиринт коридоров. Стальные двери, комнаты персонала, кладовые, забитые продовольствием, общая кухня и диетическая кухня вождя, запасные выходы наружу. Далее по главному проходу до винтовой лестницы, спуститься ещё ниже – из предбункера вы попадёте в главное подземелье, называемое бункером фюрера. Встреченный двумя дежурными, посланец с повязкой пирата минует комнату службы безопасности и тамбур газозубежища, хромает по центральному коридору под вереницей ламп в защитных сетках, под рядами электрических и телефонных кабелей на низком потолке, мимо щитов сигнализации, ответвлений, пересекающих коридор, мимо спальни министра пропаганды, спальни рейхсляйтера Бормана, комнаты лейб-профессора медицины Штумпфеггера, комнаты лейб-овчарки Блонди с четырьмя щенками, мимо личных апартаментов фюрера и прибывшей в Берлин три дня тому назад фрейлейн Браун. А там второе газозубежище, секретариат, где стрекочут пишущие машинки, конференц-зал – давно уже ежедневные оперативные заседания перенесены из канцелярии фюрера сюда. Из машинного отделения доносится рокот дизельных агрегатов. Бетонированное сердце империи. Как уже сказано, высшее достижение строительной техники нашего времени.

Сюда не доносились звуки войны, не было слышно взрывов английских авиабомб, и даже грохот крепостных орудий, подтянутых русскими к городским окраинам, лишь слабым сотрясением, далёким мистическим эхом отдавался в ушах; здесь, в мертвенно-белом сиянии голых ламп, вели фантастический потусторонний образ жизни, происходила неустанная деятельность, принимались решения и отдавались распоряжения.

Здесь верили слухам, плели интриги, ждали неслыханных перемен, чудесного избавления, пришествия армии Венка, ударного корпуса Гольсте, раскола между Россией и союзниками; здесь ночь не отличалась от дня, здесь люди-тени отсиживались в своих норах, люди-призраки с незрячими воспалёнными глазами, в фуражках с задранной тульей, в приталенных мундирах и галифе, обтягивающих колени, встречаясь, молча отдавали друг другу ритуальный салют, теснились в зале над столом с картами, подхватывали на лету падающий монокль, чертили стрелы воображаемых контрнаступлений; здесь фюрер, с лупой в мелко дрожащей руке, водил пальцем по карте города и предместий и отдавал приказы несуществующим армиям; здесь пили вино и вперялись стекленеющим взглядом в пространство, в покрытые извёсткой стены и потолки. Здесь доктор Геббельс в спальне вождя читал вслух «Историю Фридриха Великого» Томаса Карлайля, вещие, пророческие страницы о том, как вослед ослепительным победам Семилетней войны наступили тяжкие дни, но в последний момент провидение спасло короля.

Отстегнув протез, полковник укладывается на ночь в предбункере, в спальном помещении для высших офицеров. Слышны детские голоса – за стеной разместились семейство министра пропаганды. Рядом душевые кабины и уборные. Накануне нарушилось водоснабжение, к счастью, ненадолго. Но всё ещё пованивает экскрементами.

ХII Праздник

20 апреля 1945

Длинными извилистыми переходами под землёй предбункер соединён с катакомбами под имперской канцелярией, вдоль всего помпезного фасада, по ходу Фосс-штрассе до пересечения с Герман-Геринг-штрассе. Рейх, оскаленная голова, лишённая туловища, зарылся в землю. На глубине двадцати метров расположены пещеры высших военно-государственных чинов. Здесь обитают начальник

генштаба Кребс, шеф-адъютант фюрера Бургдорф, личный пилот фюрера генерал Баур и другие, далее охрана, телефонная станция, лазарет, то и дело поступают раненые, очередь санитаров с носилками забила проход, мертвенное сияние ламп на потолках, под проволочными колпаками, вздрагивает от далеких взрывов. Раненые лежат вдоль стен на полу, между ними снуют медицинские сёстры и девушки вспомогательной службы, в подземной операционной оберштурмбаннфюрер и профессор Хазе в заляпанном кровью халате, с двумя ассистентами, без усталости тампонирует раны, отсекает омертвевшую плоть, ампутирует конечности. В подвалах корпят над картоном картографы, переминаются с ноги на ногу адъютанты, стрекочут машинки секретарш, постукивают ключи радистов, население прибывает – жёны, дети, – испарения пота, мочи, отчаяния, сырой и душный запах от бетонных стен. А тем временем наверху, в завесах дыма и пыли, над сгоревшими садами Брегерсдорфа и Фогельсдорфа встаёт мутно-жёлтое солнце. Знаменательный день; в программе – парад в саду имперской канцелярии, церемония в зале, поздравления в рабочей комнате вождя, а затем, как всегда, доклад и обсуждение обстановки в конференц-зале бункера: положение в Берлине, положение на западном фронте, положение на аппенинском фронте.

Знаменательный день, на газонах застыли войска: два подразделения бывшей Курляндской армии. В две шеренги выстроились ветераны – всё, что осталось от танковой дивизии СС «Фрундсберг». Промаршировал и подстроился в ряд отряд подростков, истребителей танков. Фотографы и операторы наставили свои камеры перед явлением вождя и его соратников. Под гром барабанов, в низко надвинутых касках, головы налево, выбрасывая ноги в узких глянцевах сапогах, вышагивает подразделение лейб-штандарта «Адольф Гитлер». Два солдата сопроводительной команды ведут низкорослого, растерянного, плохо соображающего, что к чему, солдата в огромной болтающейся каске. Мальчик подбил на Потсдамской площади русский танк. Фюрер ему Железный крест на грудь, фюрер треплет малыша по щеке.

Патетическим жестом – в бой! По бледно-голубому небу проплыли и растаяли нежные рисовые облака. Завыли сирены...

Поздравительный акт в правом, неповрежденном крыле канцелярии. Между высокими четырехугольными колоннами главного портала проходят сероголубые мундиры военных и чёрные мундиры СС, второй портал – для руководителей партии. Стража с автоматами наперевес; в вестибюле проверяют всех, невзирая на чины и награды. Чертог фюрера пуст, исчез гигантский рабочий стол, нет глобуса, нет роскошных кресел, на стенах между окнами следы снятых картин, на потолке там и сям осыпалась штукатурка.

Сенсационная новость – поздравлять придётся заочно. Фюрер улетел на юг. Оттуда, из Альпийской крепости, он возглавит оборону. Новый план, гениальный шахматный ход: если, что весьма вероятно, русские и американцы, наступая навстречу друг другу, рассекут страну пополам, гросс-адмирал Дёниц на севере и фельдмаршал Кессельринг на юге возьмут врага в стратегические клещи. И тогда посмотрим, кто кого.

Толпа заволновалась – тишина – и вот уже все глаза устремлены к высоким дверям. Он здесь, он остался в Берлине! Распахнулись створы. Он явился.

Нет, это ещё не закат: 56 лет – возраст свершений. Правда, он выглядит значительно старше, передвигается, наклонившись вперёд, тащит за собой непослушную ногу, правой рукой удерживает дрожащую левую, голова ушла в плечи, он жёлт и согбен. Всю ночь в подземном кабинете фюрер бодрствовал наедине с самим собой, под портретом остроносого человека в треуголке. Двести лет тому назад, вот так же накануне катастрофы, великий король метался от одной границы к другой, искал выход. Провидение пришло на помощь. В Санкт-Петербурге скончалась царица Элизабет, и новый царь протянул Фридриху руку мира. Вождь сидел

с толстой лупой над гороскопом, вперялся в значки планет и читал лукавые объяснения. Была констатирована растущая акцидентальная немощность Сатурна. Светлый Юпитер издали подмигивал Марсу. Вот оно! Перелом должен произойти в последней трети апреля.

Он обходит широкий полукруг поздравителей, вялым движением отвечает на вскинутые руки, вполуха выслушивает льстивые пожелания. Он остановился посредине, застыл, по обыкновению прикрыв руками детородный член. Но у фюрера нет и не может быть детей. Он отец нации, одновременно её великий сын и состоит с ней в священном инцестуальном браке. Запинаясь и глядя вниз, точно с полу подбирая слова, он заговорил. Пока ещё еле слышно – стоящие на флангах напрягают слух. Медленно возвёл слезящийся взор к потолку. Поднял руки. И произошло то, что бывало с ним в ответственные минуты: фюрер воскрес. Фюрер вновь зарядился от невидимых аккумуляторов. Всё или ничего! Гибель – или победа! Стоя посреди зала, он гремел, рыдал, заклинал, потрясал кулаками и вонзал в пространство указующий перст. И, пожалуй, не так уж было важно, что он выдавливал и выкрикивал, – нечто в звуках его голоса, не подвластное рассудку, было важнее слов.

Как вдруг он успокоился. Он сказал, что этой ночью принял окончательное решение остаться в столице и сам поведёт войска в решительный бой. Капитулировать? – спросил он и впился в лица поздравителей. Никогда!

Это с одной стороны. Но есть и трезвый расчёт. Невозможно, сказал он, сомневаться в том, что именно сейчас, здесь наступил высший и решающий момент. Если, о чём имеются верные сведения, в стане врагов наметился раскол, если в Сан-Франциско между союзниками пролегла глубокая трещина, значит, поворот близок. Раскол неизбежен теперь, когда хищники собираются делить добычу. Поворот наступит, когда здесь, в самом сердце Германии, в центре, я – и он снова взорвался, взвился, вознес слезящиеся глаза к потолку, бил себя в грудь, – нанесу сокрушительный удар большевистско-еврейскому колоссу. Ещё не всё потеряно!

Генерал-полковник Вальтер Венк идёт на выручку, 12-я армия на подходе. Колев и Жуков не сумели сомкнуть кольцо окружения на юго-востоке. Поступили данные о том, что между двумя генералами наметилось соперничество. Не исключено, что они выступят друг против друга. В любом случае между Маловом и Шёнфельдом войска прочно удерживают проход. Каждому – вождь обвёл inferнальным взором застывший полукруг – каждому предоставляется решить, готов ли он сражаться, готов ли пасть в бою на улицах Берлина, в предвидении пробивающих к городу войск, в преддверии победы, – или захочет покинуть столицу. *Um Gottes willen!*¹³ Он никого не держит!

Полковник Вернике вперился единственным глазом в того, о ком только и можно сказать: этот человек – сама судьба. Что такое судьба... слово, исполненное глубокого смысла, или вовсе лишённое всякого смысла? То, о чём догадываются задним числом, не замечая, что на самом деле это наше собственное измышление? Или нечто предписанное, предуказанное, непреложное, неумолимое? *Mein Führer!* Вы сказали: «Венк, я вручаю тебе судьбу Германии». Это было в начале апреля. Но теперь нет никакой армии Венка, нет и не будет. Её попросту не существует.

Я был откомандирован в Берлин, оставил штаб 12-й армии, когда Венк успел пробиться до Потсдама. Дальше – ни на шаг. От двухсот тысяч личного состава осталось 40 тысяч, от дивизий «Клаузевиц», «Шарнгорст», «Потсдам», «Ульрих фон Гуттен» по горстке солдат, а то, что ещё имеется в нашем распоряжении, –

¹³ Ради Бога (*нем.*)

три пехотных дивизии, два артиллерийских дивизиона и противотанковая бригада, – смешно сказать, на 90% укомплектованы из 17–18-летних юнцов. Вот вам и вся Befreiungsarmee¹⁴. Я знал о решении генерала спасти уцелевших. Попросту говоря, совершить измену. Измену – тебе, мой фюрер! И больше никому... Должно быть, остатки 12-й армии уже переправились через Эльбу и сдались американцам.

Вы считаете, что весь немецкий народ ждёт, когда вы лично появитесь во главе войск на поле боя. Что представляет собой это поле боя?.. Мы в разрушенном городе. Мы не стоим лицом к лицу с противником. Мы окружены. Мы держим оборону на одной улице, русские продвигаются по другой. Мы засели на верхних этажах, русские ворвались в подъезд. И, однако, он прав: если наступил конец, надо встретить его достойно. Немецкий народ не сумел выполнить свою миссию – значит, он должен погибнуть. Нам всем крышка, думал Вернике. Слепому ясно, это конец. Семья погибла в Дрездене, он сам калека. Отчего всё так получилось? После триумфального марша по Европе, почти уже увенчавшегося победой русско-го похода. После этого «чуть-чуть». Ещё немного, и война была бы закончена, грузин повис бы на виселице, еврейский Ваал обуглился в собственной печи. – Он слушал и не слушал вождя. – А что, если бы вместо войны с Советами мы повернули оружие против общего врага, растленного Запада?

Вместе с Россией? И потом поделить с ней континент. Чушь, абсурд, какой это союзник – эта нация созрела для завоевания. Сталин разрушил собственную армию, потерпел постыдное поражение от финнов. Русские мужики ненавидели колхозы, комиссаров и жидов, население ждало освободителей. И вот теперь этот народ – чудовищная насмешка истории! – народ, не умеющий работать, не приученный к дисциплине, народ, не способный устроить свою жизнь на огромных территориях, лишённый исторического сознания, чуждый понятию красоты, величия, порядка, – гунны, вандалы! – здесь. Наши прекрасные города в развалинах, цвет нации полёг под Сталинградом, в Греции, в Африке, на дне морей. Вот он, подлинный закат Европы, трагический финал эллинско-арийской, нордической цивилизации.

Слабый шум отвлек внимание, шёпот, возмущённые реплики. Каким-то образом миновал тройную охрану, оказался позади собравшихся исхудалый человек в полевой форме сражающихся СС, мычит зашитым ртом и машет руками.

Глухо, тяжело ухает артиллерия, сыплется штукатурка. Фюрер вернулся в бункер. Марш соратников. Впереди шествует в необъятных галифе с двойными лампасами, в роскошном мундире, в крестах и звёздах, могучий, тучный Геринг. Рейхсмаршал прибыл на рассвете из Карингалла. Фургоны с картинами, вазами, скульптурами, древним оружием и драгоценным мобильяром отправились на юг. Рейхсмаршал собственноручно включил взрыватель, вилла взлетела на воздух. За Герингом поспешает маленький, припадающий на ногу Геббельс, шагает каменный Борман, шагает Гиммлер, у которого за сверкающими стёклышками пенсне никогда не видно глаз, плетётся яйцеголовый Лей, кто там ещё. Шествие хтонических богов. Один за другим, по узкой трёхмаршевой лестнице они возвращаются к себе в подземное царство. Фюрер родился. Пятьдесят шесть лет тому назад, в эти же часы младенец закричал, которому предстояло перевернуть мир. В рабочей комнате накрыт стол. Секретарши ждут, причёсанные и напомаженные, с оголёнными плечами, в праздничных длинных платьях. Из спальни вышла фрейлейн Браун.

На ней был «дирндль», что значит деревенская девчонка, любимый фюрером баварский наряд: белоснежная блузка с короткими рукавами-фонариками, корсаж и просторная юбка из тёмнокрасного муара, клетчатый, болотного цвета шурц-

¹⁴ армия-освободительница (нем.)

передник. Белые чулки и крохотные туфельки. Очередь к имениннику, щёлкают каблук, – фюрер сидя кокался с кланяющимися.

Ева топнула ножкой:

«Я хочу танцевать!»

Зашипел патефон, раздался мяукающий голосок знаменитой эстрадной певицы: то были «Розы, красные, как кровь», шлягер тридцатых годов. О, как защемило сердце, как напомнила эта мелодия о счастливых временах. Вождь встал, церемонно пригласил секретаршу Траудль Юнге. Весёлый, неунывающий группенфюрер Фегелейн – подруга фюрера приходилась ему свояченицей – с бутылкой в руке дирижировал танцем, допив свой бокал, мужественно облапил Еву. Три тура, после чего плавно, полузакрыв глаза, Ева перешла в объятия Вернике. Полковник переставлял поскрипывающую ногу, самоотверженно вёл свою даму; вдруг всё смолкло, все остановились. Пробили часы. Величайший полководец всех времён и народов, подперев рукой подбородок, с плавающим взором внимает грому литавр, могучим всплескам оркестра. Траурный марш из «Гибели богов», ночное факельное шествие с телом коварно убитого Зигфрида.

XIII Всё еще не конец

30 апреля 1945

Вождь сидел, понурившись, на диванчике, там и сям были разбросаны цветы, на стене остались брызги крови, на полу лежал вальтер калибра 7,65 мм, на правом виске у фюрера было круглое отверстие величиной с пятипфенниговую монету, на щеке, протянувшись до шеи, подсыхала змейка крови. Ева, в небесно-голубом платье, примостилась у его ног, с открытыми глазами, с чёрно-лиловым отверстием; её пистолет с неразряжённым магазином лежал на столе. Пахло порохом и миндалём.

Снаружи по-прежнему гремела пальба, дым пожаров застлал небосвод, пепел порхал над садом Имперской канцелярии, комья земли, щебёнка, осколки снарядов сыпались то и дело на башенку бункера. День переломился. Показались, бессильно покачиваясь, лакированные сапоги, брюки, френч и туфлеобразный нос фюрера под лакированным козырьком. Камердинер Линге и шофёр Кемпка опустили труп на траву. Затем выплыли высоко открытые ноги фрау Гитлер в чулках нежно-апельсинового цвета. Бок о бок вождь и его подруга покоились неподалеку от входа в бункер. Поднялся и вышел, в генеральском мундире, слегка располневший личный секретарь Борман, приблизился, натянул покрывало на торчащие из носа усы фюрера и детский лобик Евы. Адьютант Гюнше тряс бензиновыми канистрами, Линге держал наготове толстый бумажный рулон, это были документы государственной важности. Он поднёс зажигалку, швырнул бумажный факел, пламя взвилось над трупами и тотчас погасло. Адьютант выхватил ручную гранату, Линге остановил его; подтащили ещё одну канистру; несколько мгновений, как зачарованные, смотрели на столб огня.

Сумерки спустились.

В нескольких кварталах от сада, там, где красноармейцам удалось пробиться настолько, что теперь их отделяла от противника одна улица и площадь с неизвестным названием, в ночном затишье послышался шорох, хруст стекла. Взвилась и рассыпалась ракета, окатив мертвым сиянием груды кирпича и полуобвалившийся угол аптеки, из-за угла высунулось белое полотнище; вторая ракета взлетела, выкарабкался человек с серебристым орлом на тулье форменной фуражки. Он шёл по пустынной площади, высоко держа над собой на коротком древке белый флаг, достиг тротуара и вошёл в ворота. Во дворе его окружили бойцы; из того,

что он сказал, поняли только, что он имеет пакет для передачи русскому командованию; и парламентёра повели в штаб дивизии.

Штаб находился в Темпельгофе, на кольце Шуленбурга, в старом особняке, вокруг громоздились развалины, могучие деревья, помнившие Старого Фрица¹⁵, обгорели или до половины были снесены снарядами, но дом в югенд-стиле уцелел. Посланец, в чине подполковника, сидел в комнатке с занавешенным окном на втором этаже под охраной усатого старшины, а в зале с резным потолком, с картинами в простенках высоких окон, за большим столом на львиных ногах, командир дивизии связывался по телефону с командиром корпуса. Был первый час ночи.

Бумага, которую комдив извлек из пакета, на двух языках, была скреплена печатью и подписью человека, чьё имя должно было произвести впечатление. Комдиву, однако, оно ничего не говорило. На машинке было отпечатано следующее: *Подполковник такой-то настоящим уполномочен Верховным командованием сухопутных сил вести переговоры с представителями русского командования с целью установления места и времени встречи начальника Генерального штаба сухопутных сил генерала инфантерии Ганса Кребса для передачи русскому командованию особо важного сообщения.*

И ещё что-то там.

Подписал: Секретарь Вождя М а р т и н Б о р м а н.

Угу, пробормотал комдив. Какой такой секретарь? А, чёт с ним.

«Давай сюда этого...»

Парламентёра ввели в зал. По какому вопросу всё-таки, отнёсся комдив к подполковнику. Ответа не было. По какому вопросу ваш генерал собирается вести переговоры, повторил он и снова снял трубку, чтобы связаться с командармом. Мы готовы встретиться, отвечала трубка.

Прошло ещё сколько-то времени, в три часа ночи на участке, где вечером появился парламентёр, смолкли пулемётные очереди, повисла в воздухе осветительная ракета. В укрытиях с обеих сторон следили, как из-за угла бывшей аптеки выбрался и не спеша пересёк линию фронта обещанный генерал. За ним шагали два офицера и рядовой с винтовкой через плечо, на штыке трепыхался белый флажок.

Делегация была препровождена в штаб дивизии, Кребс очутился в занавешенной прихожей, где до него сидел парламентёр; снял шинель и фуражку, повесил на вешалку, с кожаной папкой у бедра поскрипывал узкими сапогами из угла в угол. Кребс был худощав, строен, перетянут широким поясным ремнём с маленьким пистолетом в кобуре. И отец, и дед его были военными. В начале тридцатых годов Кребс был помощником военного атташе в Москве. В зале, стоя за столом, генерала ожидал командующий 4-й армией генерал-полковник Чуйков. Справа и слева сидели другие. Чуйков был сыном крестьянина-туляка и сам походил на умного и недоверчивого крестьянина. Лицо Чуйкова изображало недобрую торжественность. Минуло полтора года, как он сидел со своим штабом в землянке на правом берегу Волги, в почти не существующем Сталинграде, на крошечном участке земли, который удерживали остатки 62-й армии, а наверху, на площади Героев, в подвале универмага сидел со своим штабом генерал-фельдмаршал Паулюс.

Войдя, немец остановился и коротко кивнул. Чуйков оглядел его из-под косматых бровей, молча указал пальцем на стул. Он попытался заговорить по-английски, но плохо знал язык, и немец его не понял. Зато оказалось, что Кребс говорит по-русски. Произошло некоторое замешательство, после чего каждый перешёл на родной язык; переводчик, выпускник военно-разведывательного института иностранных языков, торопливо переводил.

¹⁵ Фридриха Великого.

Кребс сказал: «Господин маршал!»

Он думал, что имеет дело с самим главнокомандующим.

«Здесь, – продолжал он, расстёгивая молнию на папке, – изложены мои полномочия».

Дождаясь, пока бумага будет прочитана и переведена, он держал наготове второй документ, вероятно, тоже имевший историческое значение, но приводить его было бы излишне, достаточно сказать, что по прочтении разговор с немцем был прекращен; тут же, не отпуская генерала, Чуйков вёл переговоры с резиденцией главнокомандующего в Штраусберге, оттуда телефонный сигнал достиг кунцевской крепости под Москвой, и диктатор повторил в трубку то, что давно уже было решено и подписано. Сопровождающие дожидались генерала, и Кребс воротился не солоно хлебавши в бункер. Начинался рассвет.

Гигантским клином наступление нацелилось на излучину Шпрее, почему-то русские придавали особое значение руине рейхстага. Внимание было отвлечено от бункера. Это давало шанс выбраться.

XIV Принудительная память. Исход

30 апреля 1945

1

Нечего и говорить о том, что ничего этого ты не видел, жил себе за шестьсот километров от Берлина в тридевятом царстве, в Козловском переулке, с мамой, которая к тому времени тоже вернулась, с Анной Яковлевной, которая никуда не уезжала; добил, дотерпел с грехом пополам школу и, должно быть, имел самое фантастическое представление о том, что творилось в мире. Ты и не помышлял о том, что тебя ждёт. Или всё-таки догадывался?

Спрашивается, можешь ли ты, имеешь ли право описывать войну, не быв на войне. Но сможет ли рассказать о войне – об *этой* войне – тот, кто на ней побывал? Захочет ли он вновь увидеть эту действительность? Как глаз слепнет от слишком яркого света, так ослеплена его память. О, ночь забвения, летейская прохлада! Можно усмотреть в этом естественный защитный рефлекс. И, однако, война поселяется навсегда в душе и памяти каждого, кто жил в этом веке. Ибо кроме произвольной памяти Пруста, единственно достойной художника, кроме произвольной памяти, как бы ни оценивать ее права, – есть память принудительная. Писателю предстояло увериться в том, что от такой памяти ускользнуть невозможно. От неё нет спасения.

Какой это был восторг, какое счастье увидеть в кино марширующие войска, офицеров с шашками наголо и маршала, гарцующего на белом коне! Что здесь было на самом деле, что предписал диктатор и создал торопливый гений режиссёра и оператора – не всё ли равно. Грохочут трубы и барабаны, блестит от летнего дождя мостовая, солдаты победы швыряют к подножью Кремля трофейные вражеские знамёна. Но вдруг пустеет площадь, столько повидавшая за полтысячи лет. – Но такого она ещё не видела. – Продолжается парад. – Отдыхает оркестр. – В тишине, со стороны Исторического музея, обогнув угловую Арсенальную башню, вышагивает колонна солдат, чётко, по-военному выбрасывает вперёд костыли. На одной ноге топ, топ – единым махом – шире шаг! Ведомые собакой-поводырём, плетутся, подняв к небесам пустые глазницы, шеренги слепых. Маршируют сгоревшие в танках, с красным месивом вместо лиц. Визжат колёсики, катятся на самодельных тележках, соблюдая ранжир, безногие. Едут в корытах «самовары», обречённые жить после ампутации обеих ног и обеих рук.

2

Едва лишь трупы фюрера и подруги успели обуглиться, первая группа беглецов двинулась из бункера по направлению к Герман-Геринг-штрассе; за ней, с небольшими перерывами, шли другие. Вёл Гюнше. Со стороны Потсдамской площади поднимались густые темные клубы дыма. Ворвался рокот моторов, появились низко летящие русские самолеты. Все бросились в подъезд. Здесь уже теснились люди – раненые солдаты в касках, женщины с детьми. Короткими перебежками удалось добраться до заваленного обломками входа в метро Кайзергоф. Шли по шпалам, светя карманными фонариками, натываясь на мёртвых и раненых, свернули в другой туннель под Шпрее. Где-то близко должна была находиться станция Штеттинский вокзал, там можно выйти на Фридрихштрассе, по другую сторону фронта, за спиной у всё ещё не сдающихся отрядов. Оттуда пробиваться к американцам. Главное – не попасть в лапы к русским. Но никакого просвета, ничего похожего на приближение к станции – пути разветвились, кучки людей разбрелись в разные стороны. Это было начало блужданий. Кое-где под ногами хлюпала вода, спотыкались, цеплялись за кабельную проводку, брели вдоль отсыревших стен, ничего не видя, кроме тускло поблескивающих, теряющихся за поворотами, уходящих во тьму рельс, сталкивались и снова теряли из виду друг друга.

Что-то почудилось впереди. Выступило из мрака выпуклое лобовое стекло, мертвые чаши фар. Локфюрер¹⁶ спал, опустив голову в форменном картузе. Нет, это был сам фюрер. Вождь и спаситель вёл свой локомотив вперёд, к окончательной победе. Поезд мертвцов остановился навсегда. Они были видны там, за разбитыми стеклами. Для них не существовало поражения.

Кряхтя, цепляясь за что попало, пробирались вдоль вагонов, мимо сомкнутых дверей. Наконец, появился полуразрушенный перрон. Сверху сочился свет. Эскалатор завален щебнем. Вылезли кое-как. Вечерело. Невозможно было узнать улицу. Свист и гром доносились издалека, словно война пронеслась мимо. Вошли в подъезд и опустились, упали на ступеньки.

Их теперь было только двое: коренастый, приземистый, с каменным четырехугольным лицом, в фуражке с черепом и сером от пыли мундире генерала СС, и другой, на протезе, полуживой, с чёрной повязкой на глазу.

Им казалось, что в доме не осталось живой души. Бывший секретарь фюрера взошёл на бельэтаж. Звонок неожиданно отозвался в недрах квартиры: здесь функционировало электричество. Генерал нажимал на кнопку снова и снова, повернулся с намерением спуститься в подвал, в эту минуту дверь приоткрылась, выглянула женщина. Она не могла знать, как выглядит Мартин Борман, но, увидев фуражку, застыла от страха. Держа под руку товарища, Борман поднялся с ним в квартиру. Хозяйка или, скорее, экономка – это была квартира сбежавшего адвоката – плелась впереди. Оказалось, что они находятся на Шоссейной, в самом деле недалеко от Штеттинского вокзала, хватит ли сил добраться? Где русские? Где идут бои? Старуха не могла ответить.

3

К полудню передовые подразделения выдвинулись на Фосс-штрассе. Имперскую канцелярию оборонял отряд СС, слишком немногочисленный для обширного здания. В залах и коридорах рвались гранаты, сопротивление было подавлено за полчаса. Из пролома в стене выставился в сторону сада ствол «сорокапятки», прямой наводкой – по башенке бункера. Ответного выстрела не последовало. Когда с автоматами наперевес спустились в предбункер, пробрались, дивясь и остерегаясь, по длинному коридору, сошли по винтовой лестнице ещё ниже и

¹ Машинист (нем. Lokführer)

рванули бронированную дверь бывшей комнаты службы безопасности, то увидели карточный стол, заставленный бутылками, залитый вином. За столом сидели двое. Кребс упал лицом на стол. Шеф-адъютант фюрера Бургдорф повесил голову, устался в пол стеклянными глазами.

Война была окончена и всё ещё продолжалась. Всё еще маячил за развалинами огромный тяжеловесный дворец с изрытыми огнем минометов колоннами портала, с каменными фигурами на крыльях, по-прежнему полоскалась свастика на кровавом полотнище над фронтоном, в лучах прожекторов. Две ночных атаки захлебнулись под огнем отчаянно оборонявшегося батальона СС и отряда юнцов с ручными миномётами, но вот, наконец, разлетелся от взрыва правый боковой вход. Красноармейцы уже бежали по коридорам. Русский танк приблизился к пролому, пушка медленно поворачивалась, словно вынюхивала последних защитников Рейхстага. Минуту спустя танк горел внутри, подожженный фауст-патроном подростка, слышались крики, наконец, откинулась крышка люка, люди выкарабкивались из пекла, скатывались на землю, последним выпрыгнул из люка командир. Он был прошит тремя автоматными очередями – за час до капитуляции.

Война была окончена и, однако, продолжалась. Мертвец в расколотом шлеме, с пустыми глазницами, национал-социалистическая Германия, шатаясь, ещё размахивал зазубренным мечом. Но уже круглощёкая, ясноглазая, крутобёдрая деваха, Ника XX века в берете с красной звездой, в туго перетянутой гимнастёрке, с карабином за спиной, в форменной юбке до коленок и солдатских сапогах, машет флажками, правит движением на скрещении Унтер ден Линден и улицы кайзера Вильгельма, посреди погибшего города, в виду Бранденбургских ворот.

XV И выйдет обольщать народы

1 мая 1945

Полковник Вернике поправил на лбу чёрную повязку, протёр здоровый глаз, различил в темноте тиснёные корешки книг за стёклами, он лежал на диване в библиотеке. Кто-то зашевелился в углу перед задёрнутыми шторами. «Вы?» – спросил Вернике. Вспыхнула настольная лампа. Секретарь фюрера в расстёгнутом мундире, с серо-каменным лицом, сидел в кресле, прикрыв пледом ноги в тесных, некогда глянцевых сапогах. Фуражка с кокардой в виде черепа лежала на столе.

«Вам удалось поспать, рейхсляйтер?»

«Не знаю, – сказал Борман. – Возможно».

«Будем двигаться дальше?»

Борман медленно покачал головой.

«Лишено смысла».

«Но ведь мы, я полагаю, уже по ту сторону фронта».

«Фронта, – усмехнулся Борман. – Какого фронта?»

Он перевёл взгляд на отстёгнутый протез, стоявший возле дивана. Полковник Вернике лежал, смежив свой зрячий глаз. Секретарь фюрера привстал, заглянул за край оконного занавеса. Там была серая тьма, город исчез. Ни грома орудий, ни автоматных очередей, ни голосов. Борман упал в кресло.

«Странная тишина. Может быть, заключено перемирие?» – заметил, по-прежнему не поднимая век, Вернике.

Помолчали.

«Могли ли вы себе когда-нибудь представить, рейхсляйтер, – заговорил Вернике, – что всё так кончится? Я, по крайней мере, этого не ожидал».

Мартин Борман скосил глаза, ничего не ответил.

«Даже когда большевистские армии подошли к столице, я всё ещё не верил, что конец так близок».

«Ты считаешь, что это конец?» – спросил Борман, неожиданно перейдя на «ты».

«Сомневаться невозможно. Конец – трагический и полный величия. Таково велеие судьбы».

«Н-да, – отозвался Борман, – величие. Какое уж там величие».

Снова тишина.

«Я не люблю риторики. Вам угодно, – снова на «вы» – выразаться поэтически».

«Какая уж там поэзия», – возразил Вернике в тон секретарю.

«Позволю себе, однако, не согласиться», – заметил Борман.

«С чем?»

«Для нас с тобой, может быть, и конец. Назовём вещи своими именами. Фюрер бросил отечество на произвол судьбы. Не пал в сражении, как обещал, а дезертировал из жизни. Помнится, он говорил, и я этому свидетель, что немецкий народ окажется не достоин своего фюрера, если мы проиграем. Уместно задать вопрос, оказался ли фюрер достоин своего народа. Ты молчишь?»

«Я слушаю, рейхсляйтер».

«Но так или иначе, война давно уже была проиграна. Это было ясно по крайней мере с тех пор, как мы оказались перед фактом наличия в Европе трёх фронтов... Разумеется, русские и американцы рассорятся, как только начнут делить добычу».

Он сбросил плед, подвигал носками сапог, потянулся всем телом. Встал и подошёл к дивану. Борман был лысоват, без шеи, с выпирающим животом. Ведь ему еще нет пятидесяти, подумал Вернике.

«Они уже ссорятся», – заметил он.

«Возможно. Не о том речь. Ты говоришь, судьба. Да, это так, наша судьба – исчезнуть. Рейх погибнет в огне. Собственно, уже погиб. В лучшем случае Германия превратится в скопище мелких захолустных полугосударств. В то, чем она была когда-то».

Он прохаживался по комнате, посвистывал. Остановился и вдруг спросил:

«Ты любишь Малера?»

«Малера?»

«Да. Густава Малера».

«Богемский еврей, – сказал Вернике. – И вдобавок давно забыт».

«Поделом ему. Пятая симфония, первая часть... собственно, там две первых части. Там всё предсказано. Всё, что с нами произошло... Может быть, так было нужно. Германия должна была принести себя в жертву. Может быть, жидовско-христианская идея искупления обернулась на самом деле нашей идеей. Эта идея бессмертна, вот в чём дело, полковник. Национал-социализм – это феникс, сегодня он стал кучей золы. А завтра...»

Борман сделал несколько шагов и снова остановился, глядя в угол, где пряталось будущее.

«Придёт день, – сказал он, – наша идея покорит весь мир».

Приоткрыв занавес, он уставился в пустоту.

«Могу вам открыть один секрет, рейхсляйтер, – проговорил Вернике после некоторого молчания. – Я знал о Двадцатом июля».

«О заговоре? – усмехнулся чёрный мундир. – Вот как. Впрочем, и я о нём знал».

«Вы? Знали заранее?»

Борман небрежно кивнул.

«И... ничего не предприняли?»

Секретарь вождя навис над ложем, вперился мёртвым взглядом в лежащего. Редкие, гладко зачесанные волосы, лицо без лица. Упырь, подумал Вернике.

«Не время обсуждать», – отрезал Борман, отвернулся и, заложив руки за спину, зашагал снова.

Но остановился.

«Заговор был обречён. Штауфенберг был, безусловно, отважным человеком. Человеком идеи, надо отдать ему должное. Но заговор был обречён».

«Даже если бы...?»

«Да, – жёстко сказал Борман. – Даже если бы фюрер погиб. Заговор был обречён, потому что его возглавили слабые люди, интеллигенты, христиане. Этими людьми руководили моральные соображения. Мораль мертва, полковник! Надо, чтобы во главе заговора стоял простой народный генерал, не скованный предрассудками, солдафон с низким лбом. Любимец армии. Может быть, Роммель...»

«И тогда?» – осторожно спросил Вернике.

«Что тогда?»

«Родина была бы спасена?»

Человек в чёрном усмехнулся. «Лежи», – сказал он презрительно, потушил лампу и раздвинул шторы. Наступило утро.

«Лежи, нам некуда торопиться. Ни у тебя, ни у меня нет больше шансов. Ни у кого из нас не осталось шансов... Но история на нашей стороне. Я не люблю риторики. Но иначе не скажешь. Германия принесла себя в жертву, да, взошла на костёр – во имя обновления мира. Никто из нашего поколения до этого не доживёт, но то, что великий проект национал-социализма победит, не подлежит ни малейшему сомнению. Мир идёт к этому. К несчастью, мы не успели окончательно истребить еврейство. Оно окопалось в Америке. Но с Европой, и с Азией впридачу, янки не смогут бороться. Цивилизация зашла в тупик. В этот тупик её загнала коррупция, власть золота, тот самый дракон Фафнер».

«Но Зигфрид убит», – возразил Вернике.

Борман усмехнулся.

«Вагнер больше не актуален. – Он подошёл к лежащему. – Ты когда-нибудь удосужился прочесть Коммунистический манифест?»

Полковник вопросительно воззрился на секретаря.

«Да, тот самый Коммунистический манифест, написанный немцем Энгельсом под диктовку еврея Маркса. Не удосужился. Напрасно! Много потерял. И Ленина ты, конечно, никогда не раскрывал, тоже напрасно. Нашёл бы у него несколько полезных мыслей».

«Например?»

«Эти люди, надо признать, не были лишены прозорливости. Уж они-то прекрасно понимали, что цивилизация денег, мир безудержной погони за наживой, гибельного либерализма, политической анархии, весь этот Вавилон – рухнет рано или поздно. Но что они предлагали? Марксистский проект пролетарской революции выглядит комической утопией. От него разит чесноком. Он насквозь пропитан ветхозаветной идеей царства Божьего на земле. Под которым, конечно же, подразумевается власть Иеговы. Что такое на самом деле диктатура пролетариата?» – говорил, устремив глаза в пространство, взад-вперёд поскрипывая сапогами, Борман.

«Вы хотите сказать, рейхсляйтер, что... Я тоже так думал...»

«Я больше не рейхсляйтер. Нет больше рейха. И меня не интересует, что вы думали».

Сумасшедший, подумал Вернике. То «ты», то «вы». Или пьян?

Тут он заметил, что под столом стоит плоская фляга из-под коньяка, пустая.

Вернике привстал, потянулся за протезом.

«Стоп. Лежать! Я ещё не договорил».

«Нам пора, рейхсляйтер...»

Борман метался по комнате.

«Идея абсолютной власти, воплощённая в личности вождя, – вот чего им не хватало. Дисциплина, самоотверженность и восторг. Ледяной восторг, полковник!»

Вот что понял Ленин и... в какой-то мере, конечно, но осуществил Сталин. Мы недооценили этого кавказца. Вероятно, он добился бы многого, преуспел бы в мировом масштабе, если бы родился в другой стране. Он считал, что миром будет править славянство, роковая ошибка. Эта победа их погубит. Они потеряли так много людей, что даже для России это обернется катастрофой. Не такой, как наша, более медленной. Но надолго их не хватит. Мы не зря боролись с коммунизмом. Это был больше чем враг, это был конкурент. Сегодня он победитель. А на самом деле мы его сокрушили. Это было смертельное объятие...»

«А всё-таки, – пробормотал невпопад Вернике, – всё-таки... где мы?»

Борман остановился, тупо взглянул на него.

«Ты думаешь, на том свете? – сказал он. – Берлин – это и есть тот свет».

«Где мы, – повторил Вернике, – у наших? у русских?»

XVI И возрыдают пред ним все племена земные

3 мая 1945

Плакаты на рекламной тумбе, на стенах домов с выбоинами от осколков.

WEHR DICH ODER STIRB

NUR DAS VOLK IST VERLOREN, DAS SICH SELBST AUFGIBT¹⁷

Русский правитель, без лба, с длинным нависшим носом, бровищами и усищами, с ножом в зубах:

DIESE BESTIE MUSS VERNICHTET WERDEN¹⁸

Где я? – бормотал, не замечая, что говорит сам с собой, человек с повязкой на вытекшем глазу, с непокрытой головой, в изодранном мундире с грязным подворотничком и чёрно-серебряным прусским крестом между углами воротника. Где русские? Смолкла канонада. Выглянуть из душного подzemелья. Идёт дождь. Запах сирени плывёт из-за решётки сада.

Он увидел очередь перед мясной лавкой. Удивительно, что ещё что-то осталось, что не разнесли лавку. Стать в хвост. Но зачем? Дождь всё сильнее. Кто-то уверенно говорит о близком спасении. Вы что, не слышали? Венк со своей армией идёт на выручку.

А, пусть думают что хотят.

Барышня читает вслух экстренное сообщение, замызганный листок. Фюрер, до последнего дыхания сражаясь во главе армии, пал на поле боя.

Фюрер... до последнего дыхания... Личный шофёр с камердинером выволокли обоих, Гюнше облил бензином. Столб огня. Пал, сражаясь, на поле боя. Пусть, пусть думают что хотят. Но любопытно: потрясающая новость – и никакой реакции в очереди.

Говорят, они уже в Цоссене. Кто? Этого не может быть. Откуда это известно? Всякий, кто распространяет провокационные слухи, подлежит расстрелу на месте. Ах, оставьте вы все это. Сейчас самое главное не попасть в лапы к азиатам.

Кто-то нацарапал мелом во всю стену: Si fractus illabatur orbis, impavide ferient ruinae¹⁹.

Нам только латыни и не хватало. Скоро появятся русские надписи.

¹⁷ Защищайся или умри.

Лишь тот народ погиб, кто сдается (нем.)

¹⁸ Этого зверюгу надо уничтожить (нем.)

¹⁹ Если, расколовшись, обрушатся небеса, неустрашимо вознесутся руины. (Гораций).

Вы бы лучше, господин полковник, сменили вот это... Что сменить? Показывает на мундир и Ritterkreuz²⁰: мало ли что... на всякий случай.

На искусственной ноге вверх по лестнице, вдова аптекаря предложила у неё переночевать.

Нестарая женщина, пожалуй, меньше сорока, стройные ноги. С верхней площадки смотрит на карабкающегося офицера.

Ветер треплет штору из плотной бумаги, затемнение – кому оно теперь нужно? Просторная квартира. Отсидеться, отлежаться. Он представил себе широкую супружескую кровать. Прошу вас, г-н полковник. И... и тут опять вой сирен, срочно вниз. Неважно куда, в подвал, так в подвал. На лиловом небе самолёты, совсем низко, как шмели. Со стороны Рангсдорфа равномерные залпы флаков²¹. Значит, на юге всё ещё держатся.

Тяжёлая герметическая дверь, бомбоубежище какого-то учреждения, чиновники, разумеется, сбежали. Потолок подпёрт свежеекорёнными бревнами. Люди сидят, согнувшись, вдоль стен. Рты и носы обвязаны платками. Якобы предохраняет от разрыва лёгких взрывной волной.

Если, расколовшись, обрушатся небеса.

Господин офицер, вам бы лучше... Кивает на мундир и орден. Сами понимаете. Русские уже в...

Всякий, кто распространяет провокационные...

Рёв, свист – все ближе. Грохот разрыва сотрясает потолок и стены подвала. Большевистский бог войны. Еврейский бог мести. Если вспомнить, что мы там, у них, натворили, что ж. Неудивительно.

Майский день померк. Парк изрыт воронками, в кустах кучка женщин. Похороны девушки-санитарки. Остановившись, он тупо смотрел, как заворачивают в какую-то скатерть несчастное безногое тело и опускают в яму.

Теперь куда?

Опять эта женщина. От дома ничего не осталось. Осталась одна жена аптекаря.

В погребке или где там. В жилище лемуру. Стропила намазаны фосфором, чтобы не расшибить лоб. Глаза привыкают к темноте. Последняя новость: «ами» и «томми» рассорились с русскими и перешли на нашу сторону. Пожалуйста, не наступайте на ноги. Куда ещё – здесь и так повернуться негде. Господин офицер, вам бы всё-таки... Нет, вы только подумайте: удалось дозвониться по телефону. Сестра говорит: «Wir sind schon Russen»²².

Этого не может быть. Связь прервана. А я говорю вам... Вы уверены, что это она? Гд она живёт, ваша сестра? В Веддинге. Тогда всё понятно. Вражеская пропаганда, Веддинг всегда был коммунистическим районом. Вот так и распространяются провокационные слухи.

А что, они ведь тоже люди. Подруга рассказывала: подъезжает танк, оттуда вылезает Иван, лицо в копоти, рот до ушей, женщины бегут навстречу.

Ложь. Они всех женщин. Старух, маленьких девочек, всех подряд. Хоть кричи, хоть не кричи. Сперва это самое, потом стреляют. Вот так – в упор: встанут, подтянут штаны, и – в лоб, в грудь, в живот, всех подряд. Вы это ещё увидите.

Да что там говорить. На нее посмотрите. Беженка из Восточной Пруссии. Что-то ещё бормочет на диалекте. Явно не в своём уме.

Всё-таки, знаете: у них ведь тоже есть и матери, и сёстры.

Чуть было не сказал – я сам был на Восточном фронте. Уже, можно сказать, в самой Москве. Проклятое, обманчивое «чуть-чуть».

²⁰ Рыцарский крест (нем.)

²¹ Зенитные орудия

²² Мы уже русские (нем.)

Они всех без разбору. Лишь бы было что между ногами. А я вам говорю, я точно знаю, переговоры уже начались. Ами и томми не допустят, чтобы Берлин стал русским. Еще немного потерпеть... Венк на подходе. Что Венк? Где Венк? Нам всем крышка. Они всех... Мужчин сходу, а женщин потом.

Чего ж вы хотите. Женщины всегда были добычей победителя.

И маленькие девочки, и старухи – да? Вы это хотите сказать?

А что мы у них там творили, тебе это известно? Мне племянник рассказывал. Не хочу слушать, *schert euch alle zum Teufel*²³.

Подъехали к одной деревне, а там будто бы ночевали партизаны.

Ну, партизаны, это совсем другое дело, это же звери.

Наши тоже хороши...

Кто подъехал-то?

Да не слушайте вы его. Разве вы не видите, что это за фрукт.

*Sonderkommando*²⁴, вот кто. И видят: навстречу идёт священник. В чёрной рясе, седая борода, и держит перед собой золотой крест. Это он вышел просить, чтобы пощадили деревню. А его попросту скосили автоматной очередью. Потом сожгли всю деревню из огнёмётов, детей, старух – всех.

Да не слушайте вы его. Немецкий солдат детей не убивает. Это чёрная рать. Слушай, ты, если ты не замолчишь... И вы тоже, не знаю, в каком вы чине. Или вы стащите с себя к чёртовой матери этот мундир, или...

Или что?

Или катитесь отсюда. Сейчас Иван придет. Нас всех расстреляют вместе с вами.

«Прежде я тебя пристрелю», – холодно говорит Вернике и вынимает пистолет.

Свист, грохот, рушится потолок. Ничего, мы ещё живы. Лицо в потёках крови, но, кажется, цел. В горле сухо от известковой пыли. Звуки доносятся как сквозь вату, по-видимому, оглох. А кстати, какое сегодня число? Довольно *валяться*. Вдруг наступило лето. Осколки жаркого солнца хрустят под сапогами. Вперёд – во что бы то ни стало. За углом полуразрушенного дома – табличка с названием улицы, этого не может быть, вот так сюрприз, мы в двух шагах от Шпрее, ну-ка живей, перебраться через мост Кронпринца, если мост цел. Улица перегорожена баррикадой, ребячьи голоса, патруль подростков. Вскакивают и отдают приветствие. Командир, старик с фельдфебельскими погонами, вышел навстречу. Здесь бои начались три дня назад. Здесь было 5000 мальчишек. Осталось 50. Затем все как-то странно меняется.

Русский танк «ИС» впереди, в просвете улицы. Пушка опущена низко к мостовой, кумулятивная граната прожгла броню. Экипаж погиб. Нет, они здесь. Или другие; какая разница? Высунулись круглые шлемы, автоматчики поднимаются из-за руин. Один забросил оружие за плечо, вытянул из травянистых галифе портсигар, сворачивает самокрутку. Наконец-то. Словно к дорогим долгожданным друзьям, выходит навстречу, припадая на ногу, оборванный, в серой щетине человек с почернелым лицом, и как будто видит себя со стороны: всё как в замедленной съёмке. Беззвучно опускаются брызги земли, оседает пыль и известка, полковник Вернике медленно поднёс руку к лицу, стащил грязную повязку с мёртвого глаза на виду у вскинувших было и тотчас опустивших свое оружие солдат, стоит посреди улицы, – вместо левой ноги протез, вместо меча восьмизарядный вальтер Р-38, – и не спеша приставляет дуло к виску.

Продолжение следует

²³ Катитесь вы все к черту (*нем.*)

²⁴ Спецподразделение СС (*нем.*)

АЛЕКСАНДР МИЛЬШТЕЙН – БОРИС ХАЗАНОВ: ЧАС У КОРОЛЯ

(Беседа Александра Мильштейна с Борисом Хазановым, опубликованная в февральском номере Санкт-Петербургского еженедельника «Дело» за 2007 год)

Недавно один русский писатель пришел в гости к другому русскому писателю. Дело было в городе Мюнхене. Хозяин выставил бутылку грузинского вина, гость включил диктофон. И они поговорили. О том о сем, о разных вещах. Ничего такого особенного.

Однако же опубликовать запись этого разговора посчитал бы за честь для себя любой печатный орган в Европе.

Потому что один из собеседников был Борис Хазанов – живой, слава Богу, классик, автор бессмертной повести «Час короля». Книжки, которая, как я полагаю, только по недоразумению не вошла до сих пор в обязательную школьную программу. Мало на свете литературных произведений, которые с такой отчетливостью исследуют, как участвует в поведении человека странное чувство, большинству знакомое лишь понаслышке: чувство личного достоинства.

Не каждому дано написать такую вещь. Невозмутимая, невеселая мудрость, слышная в каждом слове, оплачена опытом фантазмагорическим... Но Борис Хазанов о себе говорит неохотно, мемуарных интервью не раздает. Однако же и на ветер слов не роняет, – так что спасибо Александру Мильштейну и его диктофону.

Самуил Лурье

Случилось так, что я впервые попал в гости к Борису Хазанову, предварительно зная только то, что это – какой-то писатель. Что-то где-то слышал и, кажется, интервью видел в «Литературной газете». Ни одной книги этого писателя я до того момента не читал, чего и не скрывал от гостеприимного хозяина, и не замечал при этом, чтобы его как-то огорчало это обстоятельство.

Дом, хозяин и его жена, атмосфера, которая там царила, – все это было настолько притягательным, что я, унося с собой маленькую книгу в черном глянцево переплете, немного волновался. Есть писатели, которые больше своих книг. Что, если это как раз такой случай?

Какова же была моя радость, когда, прочитав несколько страниц, я понял, что, если меня еще раз пригласят в этот дом, мне не придется, отдавая книгу, отводить глаза, лукавить, говорить какие-то общие фразы, предназначенные опять же для отвода глаз... Я понял, что открыл для себя не просто настоящего писателя, но очень большого писателя. Пожалуй, такое ощущение было у меня до тех пор только однажды – когда я впервые прочел Набокова.

Александр Мильштейн

Александр Мильштейн Геннадий Моисеевич, когда вы поставили на стол бутылку грузинского вина с портретом Уса, как вы его называете, я почувствовал, что мы с вами вступаем в область прозаическую, – у меня на этот счёт определённая интуиция.

То есть иногда я чувствую, что вот об этом буду писать, имея в виду, конечно, прозу; опыт журналиста у меня, как вы знаете, отсутствует. Когда мне предложили записать для газеты какую-нибудь из наших с вами бесед, первой моей реакцией было сомнение: я подумал, что согласившись, уподоблюсь персонажу из анекдота. На вопрос, умеет ли он играть на рояле, он отвечает: не знаю, не пробовал. Но в данном случае пианистом будете вы, а я, с вашего позволения, буду перелистывать ноты. На таких условиях я готов попробовать. Итак, если вы тоже согласны, первый вопрос. Что вы испытываете, когда здесь, в городе Мюнхене, пьёте купленное в местном русском магазине грузинское вино с Иосифом Сталиным на этикетке?

Борис Хазанов На мой вкус и нюх – неплохой букет. Но вас, конечно, интересует другое. Невозможно представить себе, чтобы здесь у нас какой-нибудь виноторговец выставил в витрине бутылки с физиономией Адольфа. Можно удивляться, что кому-то пришло в голову экспортировать вино с Усом. Кстати, так его называл не я один. Я помню, как в мартовские дни 1953 года я однажды оказался на станции нашей лагерной железной дороги, подошёл состав с уголовной шпаной, в узком зарешечённом окошке под крышей вагона показалось лицо подростка, и гнусавый аденоидный голос заорал: «Ус подох!»

Вообще же я был поражён, когда, выйдя на волю, узнал, что смерть вождя народов была встречена не всенародным ликованием, а рыданиями. Мне казалось это невероятным. Это было давно. Теперь я не удивляюсь.

Александр Мильштейн Вы имеете в виду направление умов в сегодняшней России. Вероятно, любому, кто знаком с вашей биографией, хочется спросить, что вы вообще думаете о современной России? От себя я добавил бы, что было бы интересно услышать от вас, чего, по вашему мнению, сейчас больше в России: Европы или Азии? Скажу вам о двух-трёх своих ассоциациях, возможно, породивших этот вопрос. Лет восемь тому назад – Герхард Шрёдер только что впервые стал канцлером Германии – я летел в Москву и в самолёте читал «Sueddeutsche Zeitung». Мне запомнилась одна статья: автор пытался предсказывать, что принесёт стране и миру правление Шрёдера. В конце статьи журналист спрашивал: с чем новый канцлер войдёт – или хотя бы захочет войти – в историю? И отвечал: Шрёдер попытается стать канцлером, который привёл Россию в Европу. Что из этого вышло, нам известно. Прогноз журналиста выглядит сейчас несколько комично, напоминает историю с мужиком, который, оказавшись в медвежьих объятиях, кричал: «Я его поймал!» Но вот что будет с нашим отечеством, вряд ли кто-нибудь решится предсказать. Никто, мне кажется, не понимает сейчас, что происходит. Стала ли для вас Россия за последние пятнадцать лет частью Европы?

Борис Хазанов Россия всегда была частью Европы – даже во времена самой злокачественной изоляции. Кое-что, однако, зависит от того, откуда смотреть. Для живущих там – страна вестернизировалась очень заметно. Открылись границы, перестали быть чем-то необыкновенным технические новинки, нет больше очередей, не пахнет мочой в подъездах. Но при взгляде отсюда сближение скорее поверхностное. Новые богачи, которые во множестве наезжают к нам и которых легко узнать по вульгарным интонациям и плохому русскому языку, – это, конечно, мнимая Европа, а подлинные русские европейцы слишком бедны, чтобы позволить себе путешествовать.

Александр Мильштейн Я, наверное, неточно сформулировал вопрос, но не знаю, стоит ли к нему возвращаться. Или, может быть, вопрос был не по адресу? С одной стороны, взгляд извне иногда бывает пронизательней, вы сами, кажется, об этом проговорились. А с другой... Но я в самом деле не уверен, что вы хотите говорить именно о Европе и России. Переменим тему. Позвольте спросить: что вы сейчас читаете? Что пишете? Я знаю только название вашего нового романа – «Вчерашняя вечность». Мысль о том, что вечность тоже может состариться, насколько я помню, посещает персонажа главного героя романа Пелевина «Поколение П» в тот момент, когда он созерцает в витрине вышедшие из моды туфли. Мне кажется, – повторяю, я ещё не читал ваш роман, вы говорили, что он не совсем закончен, – мне кажется, что вы подчеркнули бы в этом словосочетании слово «вечность», тогда как Виктор Олегович выпятил бы слово «вчерашняя». Я не прав? Или мой вопрос опять не по адресу?

Борис Хазанов Нет, отчего же. Я читаю биографию Андре Жида и перечитываю «Дневник «Фальшивомонетчиков»», тоненькую книжечку, которую автор выпустил вдогонку своему роману. Это имеет отношение к моей собственной работе. Кроме того, просматриваю разную справочную литературу. Чем больше даёшь волю фантазии, тем строже должны быть выверены факты, не так ли?

Что касается писания, вы отчасти ответили сами. Это роман, который называется «Вчерашняя вечность». Я приторочил к нему несколько экзотический эпиграф – цитату из «Исповеди» Блаженного Августина, XI книга, глава 14, по-русски она звучит так: *Настоящее, если бы оно всегда оставалось настоящим и никогда не переходило в прошлое, было бы не временем, а вечностью.* Пелевин тут ни при чём. Применительно к моему произведению (оно, кстати, имеет подзаголовок: «Фрагменты XX века») я эту фразу толкую двояко. Воспоминания о прошлом, будь то история или твоя собственная жизнь, – это квази-вечность. Вчерашний день оказывается непреходящим, когда пытаешься в нём разобраться.

Александр Мильштейн У вас большой опыт непосредственного общения с читателями. Я имею в виду ваши литературные вечера, авторские чтения, которые сопровождали выход каждого вашего романа в Германии. Не могли бы вы немного рассказать об этом опыте и, быть может, сравнить своего немецкого читателя с французским? Недавно, в связи с выходом французского

перевода «Часа короля», вы выступали с чтениями, организованными издательством Viviane Namy в ряде городов Франции. Как вас там принимали? Подтвердили эти встречи, что «Час короля» — это то, что называется *zeitlos*. Написав это немецкое слово, задумался, как лучше его перевести, и... чуть было не перескочил к следующему вопросу, о другом вашем романе. Но не стоит всё смешивать, всему своё «антивремя»... А сейчас хотелось бы услышать, насколько универсален, по-вашему, этот самый «Час короля»? И не пора ли, наконец, в России по-настоящему познакомиться с этой книгой?

Борис Хазанов Выступление перед публикой обыкновенно льстит самолюбию писателя, но подчас разочаровывает публику. Авторские вечера и чтения приняты называть общением с читателями, но я думаю, что подлинный контакт, независимо от того, как воспринимаются ваши вещи, может быть только индивидуальным. Вообще же говоря, читатель, если слегка переиначить выражение покойного Иосифа Бродского, — это всегда гипотеза. Или, как сказал Тютчев, «нам не дано предугадать, как наше слово отзовется». Отзовется ли вообще?

Сравнить немецкую публику, к которой я всё-таки больше привык, с французской мне было бы трудно. Если я скажу, что французы ведут себя более непосредственно, чем сдержанные и несколько скованные немцы, это не будет новостью. Кроме того, Франция, и это тоже не новость, — более литературная страна, чем Германия, где скорее доминирует музыка. Выступления мои во Франции можно считать удачными. Я не решался, с моим скверным произношением, сам читать свою прозу. В книжном магазине одного южного городка моя повесть «Час короля» была исполнена даже «на голоса», двумя женщинами. С некоторым удивлением я узнал, что вечеру, посвящённому моей персоне, придавали политическое значение — как удару по влиятельной в этом городе правой партии.

«Час короля» был написан давно, ещё в Москве, и циркулировал в самиздате. Когда эта повесть была напечатана в Израиле (и найдена у меня при обыске), я был вызван для «беседы»: не я ли её автор. Я ответил, что я эту повесть — антифашистское произведение — читал, но написал её не я, а Борис Хазанов. На что человек, не назвавший себя, резонно возразил, что, во-первых, «нам» хорошо известно, кто такой Борис Хазанов, а во-вторых, ясно, какое государство имел в виду автор.

Вы спросили, насколько «универсально» это сочинение. Думаю, что ответить невозможно. Повесть интерпретировали по-разному, и это меня утешает. Произведение, не допускающее многих и разных толкований, обыкновенно бывает недолговечным. Что касается Вашего недоумения, не пора ли, дескать, сделать её известной у нас на родине, — после крушения советской власти «Час короля» был опубликован несколько раз и в разных изданиях.

Александр Мильштейн Значит, я был не в курсе. Я читал «Час короля» в книге, которую взял у вас лет восемь назад, вы говорили, что книга издана небольшим тиражом. Все эти годы я часто слышал сетования от знакомых, что достать эту книгу практически невозможно, а о том, что она переиздавалась, я не знал, простите мою неосведомлённость...

Борис Хазанов Все мои сочинения, если и выходят, то очень маленькими тиражами, так как представляются коммерчески неперспективными. Поэтому они сразу становятся раритетами.

Александр Мильштейн Так вот, об этой книге: «Час короля» там соседствовал с «дважды написанным» романом «Антивремя». Переиздавался ли этот роман, как и «Час короля», или это было единственное русское издание? Во время моей последней поездки в Харьков мои тамошние друзья, преподаватели гимназии, познакомили меня со своей любимой ученицей, по их словам, «гениальной читательницей». Девочке четырнадцать лет, она называет вас своим любимым русским писателем, а любимым произведением — роман «Антивремя». Которое она сравнивала с самой известной повестью Сэлинджера. Вам не кажется странным такое сравнение? Приходилось ли вам слышать или читать нечто подобное в статьях или в немецких книгах, посвящённых прозе Б. Х.?

Борис Хазанов «Антивремя» выпустил в Нью-Йорке (ещё раньше, в 1985 году) Виктор Пельман, в этом томе было тоже два произведения: кроме «Антивремени», ещё один небольшой роман «Я Воскресение и Жизнь».

Я, конечно, польщён тем, что четырнадцатилетняя читательница находит для себя интересными мои вещи. Мысль о том, что «Антивремя» может напомнить замечательную повесть Сэлинджера, мне не приходила в голову. Но у девочки, вероятно, были основания для сравнения.

А вот теперь, раз уж зашёл разговор об этих книжках, позвольте задать вам, Алик, встречный вопрос. Повесть «Час короля» написана слегка стилизованным языком, пародирующим слог учёного историка или хрониста. Язык других моих сочинений тоже кажется старомодным; меня упрекали в излишней литературности; старый товарищ называл меня, не без укоризны, пишущим по-русски западным писателем. Что вы скажете о языке современной русской литературы в метрополии? О языке ваших собственных сочинений? Должны ли мы ориентироваться на сегодняшнюю живую русскую речь? Не грозит ли нам участь писателя, сказавшего о себе, что его язык и стиль – замороженная клубника?

Александр Мильштейн По-моему – «земляника», что не суть важно, хотя... корень слова – «земля»... Впрочем, вспоминаю, что мы с вами об этом говорили и вы настаивали на том, что в оригинале именно «клубника», а у вас память лучше моей. Вот, если коротко и по порядку, то примерно вот так получится: некоторые виньетки во вступлениях к рассказам могут показаться старомодными, да... Но это дело вкуса, знаете, каждому не угодишь, некоторые обороты речи – ну, может быть... Но в основе своей – в функции Вашей речи, если хотите, в её аргументах, временная переменная *t* эксплицитно не присутствует. Простите за этот математический жаргон; проще говоря, я не думаю, что ваш язык выглядит устаревшим. Я думаю, что дело не в языке, а в каком-то строе мыслей, который кому-то кажется устаревшим, но мы знаем, что завтра тем же самым людям может показаться устаревшей вообще мысль как таковая, и будут они говорить толь-в-толь как один из персонажей того же Набокова: «Не думаю, значит существую». Это не такая смешная гипотеза в отношении к прозе, а если провести аналогию с музыкой – что вы любите делать – и взглянуть туда, куда вы не любите смотреть, – на ситуацию в современной музыке, видно будет, что там этот процесс уже дошёл до своего логического конца... Но я не хочу в это углубляться, чтобы не увести разговор в сторону. Совсем коротко: язык метрополии кажется мне разнообразным и всё ещё довольно-таки могучим. Язык моих собственных сочинений я не могу отрефлексировать, это – как собственный голос в магнитофонной записи, когда он кажется чужим. Скажу только, что у меня в этом смысле нет никаких табу – с одной стороны. С другой – я не пытаюсь быть новатором, меня вполне устраивает и язык XIX века, я не помню случая, когда бы я упирался в границы этого языка... Опять же – очень может быть, что это только мне так кажется. Ориентироваться на какую бы то ни было чужую речь мне кажется трудным, это такое интимное дело – речь, переход внутреннего бормотания на бумагу... Как здесь можно на что-то ориентироваться? Не каждый «пишет, как он дышит», есть писатели, которые искусно владеют самыми разными стилями, умеют петь чужими голосами, это действительно бывает здорово, увлекательно, но я чужой на этом празднике, независимо от того, где я в это момент нахожусь географически... Ключевыми в этом вопросе могут быть слова: «Моё безумие говорит по-русски». Слова, сказанные когда-то Борисом Хазановым, точнее, написанные – не напомните ли, где?

Борис Хазанов Была такая рукопись, нигде не напечатанная, род автобиографии под названием «Дебет-скребет». Попытка подвести плачевный итог. Дело было давно, в России; фраза, написанная в отчаянии. А вот вы мне лучше скажите: есть ли в современной русской литературе, включая, разумеется, и ту её часть, которая существует в России, – есть ли писатель, чей язык вы могли бы назвать эталонным, по-настоящему современным, кому мы с вами могли бы позавидовать? Кто вообще Ваши любимые писатели среди ныне живущих, в том числе живущих в России?

Если вы почему-либо затрудняетесь ответить, поговорим о чём-нибудь другом: о Шиллере, о славе, о любви.

Александр Мильштейн Затрудняюсь в том смысле, что пишущим эталонным языком я не завидую. Завидую скорее тем, кто пишет таким языком, который эталонным никак не назовёшь. Может быть, вы в этом смысле исключение. Наш разговор задумывался изначально не как диалог, а как попытка услышать от Вас – «побывавшего там, где мы не бывали, повидавшего то, что мы не видали» – ответы на самые разные вопросы. А получилось, как в фильме Микеланжело Антониони «Профессия: репортёр». Шаман, у которого герой фильма берёт интервью, вдруг

поворачивает камеру на 180 градусов и говорит, что вопросы теперь будет задавать он. Вы, наверно, видели этот фильм?

Вернусь к вашему вопросу. Мне в современной литературе на самом деле нравится очень многое... В том числе писатели, чей язык вполне можно назвать эталонным, например, Михаил Шишкин — за исключением «Венериного волоса»: язык и здесь неплохой, но роман мне понравился меньше, чем «Взятие Измаила» или рассказы... Язык Андрея Левкина вряд ли можно назвать эталонным. Но и Левкин мне очень по душе — этот «сдвинутый» левкинский язык; не уверен, правда, что он так уж современен. Первая книга Олега Зайончковского, «Сергеев и городок», мне понравилась, вторая — «Петрович» — меньше, третью, недавно вышедшую, я ещё не читал. Пожалуй, хватит, список длинный, я назвал первое, что пришло в голову, есть и другие, не менее любимые. При том, что читаю я не так уж много, часто бросаю на половине, и не столько из-за лени, а просто пропадает интерес. Если же учесть, что большая часть прочитанных мною книг — немецкие и английские, то получится, что на ваш вопрос я и не очень-то способен ответить — слишком много я просто не знаю. Остаётся добавить, что, читая ваши книги, я наслаждаюсь именно эталонным языком, который в то же время является «хазановским»: его ни с кем не спутаешь.

Теперь хочу сам спросить. По вашему совету я прочёл статью Натальи Ивановой в одиннадцатом номере «Знамени», где она говорит о фантастике. Вспомнил, что когда-то самым интересным журналом среди любителей фантастики считался журнал «Химия и жизнь», вы там долгое время работали, как раз в том отделе, где печаталась фантастика, правда? Так вот, если бы вам сейчас предложили составить, по примеру Борхеса, антологию фантастической литературы», вошли бы в неё авторы, которых вы печатали когда-то в «Химии и жизни»? Станислав Лем не в счёт, я уверен, что его бы Вы уж точно включили.

Борис Хазанов Вы, Алик, во-первых, нарушили правило: о присутствующих не говорят. А во-вторых, посрамили меня, я куда хуже знаком с сегодняшней русской литературой — отчасти оттого, что у нас с вами разные вкусы. Закон возраста: слишком многое становится скучным. Болезнью наших с вами собратьев по перу я бы назвал многословие. Писатели как будто забывают о том, что у современного читателя гораздо меньше времени для чтения, чем у писателя — для писания. Как бы то ни было, мне интересно слушать вас.

Вы упомянули статью Натальи Ивановой в «Знамени», некоторым образом программную, — она открывает журнал. Дельная, добросовестная статья, свидетельствующая о пристальном внимании к современной русской литературе. Говорится, уже не впервые, что ни о каком конце литературы не может быть речи. Литература вновь окрепла и заговорила полным голосом. При этом новая надежда этой литературы — фантастика. Речь идёт, если я правильно понял, не о научно-фантастической литературе, жанре, который ещё доживал свои дни в «Химии и жизни». Критик имеет в виду внедрение фантастики в реалистическую словесность. Приводится перечень писателей и книг с фантастическим сюжетом или, по крайней мере, с элементами фантастики. Книги разные и, как я догадываюсь, по большей части скучные. Но не в этом дело. Станным кажется это изобретение велосипеда. Вдобавок автору статьи как будто невдомёк, что речь идёт или должна идти о чём-то более основательном: о меняющейся концепции действительности в литературе. О том, что действительность, какой она предстаёт обыденному сознанию, отвергнута сознанием художника, которое создаёт свой, достаточно причудливый проект действительности, а значит, и о фантазии приходится говорить совершенно по-новому.

Не кажется ли вам, дорогой Алик, что мы здесь дышим как-то вольготнее?

Что же касается антологии фантастической литературы, я не стал бы её составлять.

Юрий КОЛКЕР

ПИСАТЕЛЬ ЗЕМЛИ РУССКОЙ

Кто, если не он?

Не то чтоб вокруг «немотствующая пустыня» была. Пишут многие. Иные неплохо пишут, хорошо, замечательно; но так, как он, — никто. Не то чтоб — повторимся интонационно — другие были по-

хожи. В культуре близнецов не бывает, родство не ценится (о чем нам велеречиво, но не совсем верно напоминает всеми забытый Евгений Замятин). А всё же я (не более чем я) с моей кочки (болотной и субъективной) вижу современный русский ландшафт таким: с одной стороны – прозаики (неплохие, хорошие, замечательные; прочие не в счет), а с другой – Борис Хазанов. Они – и он. Оппозиция. Два съезда, две партии. Он другой. Оттого и не понят.

«Один не услышит, другой не поймёт»

– так некогда Надсон сказал, а современный поэт повторил, хоть и в неведении, что повторяет. Очень верно сказано.

Когда в 1993 году вышла небольшая книжка под неудобным названием *Нагльфар в океане времен*, мне (с моей кочки) показалось, что мир ахнет. Время еще было подходящее; еще ждали и надеялись. Эмигрантов на руках носили, ковровую дорожку им стелили. Странно вспомнить, но было: на минуту там, в России, людям почудилось, что вот сейчас они, эмигранты, вернутся из своего потустороннего мира и будут править – не страной, так культурой. Почти как после 1956 года, когда из лагерей начали возвращаться (и Фадеев с испугу застрелился).

Но мир не ахнул. Заглянули, да не поняли, а затем всё разом изменилось, люди занялись делом. Обычная история. Мир велик, а жизнь коротка. Вот я и думаю: не заглянуть ли еще раз – теперь, когда мы опять на обочине? Может, всё-таки поймем что-нибудь? Сейчас – самое время: Хазанову исполняется 80 лет.

Гендерные аллеи

«О чем бренчит?» О чем пишет настоящий писатель, тот, кто нашу душу исследует? Всегда об одном: о гендерных делах. Есть такое препротивное новорусское словечко. О взаимодействии прекрасного пола с менее прекрасным. Попутно там и многие другие вопросы возникают: о войне и мире (мире), о преступлении и наказании; о лагерях, если говорить о Хазанове, который сидел при Сталине. Иной раз эти вопросы и на авансцену выступают, но нас не проведешь: главное – в другом. Господь бог, которого нет, так устроил этот мир. Поработил нас, сделал рабами пола. Исходил из римского правила: разделяй и властвуй. Разделил человека на две половины. Раньше миром еще голод правил, а сейчас мы сыты (все или почти все; исключение – русская глубинка, с которой Москва обходится, как Спарта с илотами). По части любви – тоже; так сыты, как наши предки никогда не бывали. Любовь подешевела. Женщины теперь мужественны, мужчины – женственны. Неустанная работа в пользу стирания различий между сильным и менее сильным полом – такая благородная и справедливая, начатая британскими суфражистками (из-за грамматической особенности английского языка, в котором нет пола), – снижает разность потенциалов. Божий замысел сходит на нет, а с ним – и Бог. Бога становится всё меньше в нашем мире, он мельчает – и вот-вот уйдет в геометрическую точку, когда в мире останутся одни женщины (потому что биологическое место мужчины – подсобное, вторичное, праздное; без него можно обойтись). Бог – это пол. Через что еще он заявляет о себе так явственно?

Эти непосильные соображения тут к слову пришлишь; к Хазанову они прямого отношения не имеют. У него противостояние полов – классическое. Это тем интереснее, что сам он – не классичен, пространство и время у него не ньютоновы, а эйнштейновы; корпускула смысла проникает в два отверстия сразу, как в квантовой механике.

Две темы и ещё третья

Две темы первым делом бросаются у него в глаза, разворачиваются на фоне прошлого небывалой, притягивающей и отталкивающей страны. Одна, можно допустить, не без хомо Фабера возникла: инцест. Библейское, безотчетное, но небезответное, влечение отца к дочери, брата к сестре. Тут – Эдип; острое человеческой трагедии. Трагедия ведь там, где боги подстраивают человеку ловушку – и безвинно казнят его, когда он попадает. Если человек сам виноват, трагедии нет. В настоящей трагедии нет виноватых, тем она и страшна; и выхода из нее нет. И хомо Фабер тут, пожалуй, ни при чем; он к слову пришелся. Тему не придумаешь; она должна жить в тебе, иначе она – не тема. Их, тем в литературе (в мире человеческом), незамутненных тем, всего семь: по числу дней недели, по числу главных светил у халдеев и священных городов в Месопотамии; по числу нот в нотной грамоте и струн у кифары (опошлившейся до гитары). Простое число; проще – только троица. Остальное – вариации. Занятно, что с усложнением

жизни число тем не возрастает, а убывает. Карло Гоцци их 35 насчитывал; Шиллер не мог набрать тридцати, а теперь уж вот ученые мужи и жены сошлись на семи. Кстати, кто это сказал, что жизнь усложняется? Она дробится. Человек-то – уж тут невозможно сомневаться – мельчает (по мере мельчания Бога); древние были крупнее нас – и содержали нас в себе. В Аврааме – и Моисей уже заложен, и Иисус (наполовину; по материнской линии), и Маркс, и Фрейд, и Эйнштейн. Презанятная, кстати, линия получается, приводящая к мысли об относительности всякой истины.

Вторая главная тема Хазанова – совсем рискованная; тут он по острию ножа ходит. Лирический герой – герой литературного произведения или вообще любого рассказа, хоть автобиографического (а в честной биографии, говорит Орвелл, должно быть что-то постыдное), – не может совсем перестать быть героем, не должен быть лишен хоть какой-то доблести. Это – закон жанра. Берем Монтеня: уж как он себя принижает, но не до конца, с оговорочкой. Отметил это первым Руссо – и сам туда же. Я ничтожество, я последний из людей, слуга, вор, Альфонс, однако вот взгляните... Работает западная двойственность; принцип «да, но...». Это у тех, кто о себе писал. Романист же еще больше связан. Роман должен быть занимателен, персонаж – замечателен. Флобер хотел сломать этот закон, да сам сломался. Джойс... но этот, не к столу будь помянут, уже не для читателя писал и не для Бога, а для литературоведов. Вот и не сходит с экранов Джеймс Бонд (срисованный с лица вполне исторического: с Сиднея Рейли, он же – украинец Шломо Розенблюм). Другой полюс – мыльная опера, *real life*. А художнику куда деваться?

Хазанов выводит простых людей (на автора словно бы и не похожих; важный принцип: отрешиться от автобиографичности). *Час короля* – не исключение; там король – тоже простой человек, хирург, да еще к тому же и уролог; опять гендерные дела, в связи с которыми там и Гитлер появляется. Как сделать простых людей интересными? Поместить их в необычные условия. Это мы проходили: Лем, Брэдбери, Азимов, Стругацкие. И до них было. Гулливер уж куда как прост, но он становится совершенно необычен в стране великанов и в стране лилипутов. То же и с Робинзоном на острове. Хазанов выходит из положения методом квантово-механическим: у него событие одновременно происходит и не происходит; и – релятивистским: искривляет пространство, смещает время. Конечно, это уже было под солнцем, но вспомним: сюжетов – всего семь (стало быть, все они заимствованные; у Пушкина, например, нет ни одного не заимствованного), а приемов – мы не знаем, сколько, но можно поручиться, что их, агрегированных, тоже считаное число окажется; считаное и простое. Талант отвечает на вопрос: *как?*, а не на вопрос: *что?*.

А вот то, чего не было под солнцем – или было, да не совсем так. Как ни прост герой, в любом романе наступает момент, когда ему нужно соединиться с героиней, и – будь он хоть последний мерзавец или обыватель – тут мы с ним (или с нею) всей душой, потому что нас вплотную к Богу подводят, к биологическому заданию. Тут зов предков. Тут, хотим мы этого или нет, мы сопереживаем, перевоплощаемся в героя (на чем и держится искусство). Тут-то у Хазанова и происходит полное, последнее развенчание героя-мужчины, чего самые смелые себе не позволяли: герой оказывается несостоятелен. «Ее пальцы в отчаянии схватили его липкую, беспомощную плоть, так что он взвыл от боли. Никогда в жизни он не чувствовал себя до такой степени опозоренным...» Пример выхвачен наудачу. Не все герои Хазанова таковы, но мотив повторяется – и остается в памяти как один из главных. Еще важнее другое: тот же герой – и в той же самой ситуации, не в похожей, а именно в этой, единственной (частица входит в два отверстия сразу) – оказывается таким, как все; но ведь мы никогда не знаем, что на самом деле произошло (особенно между ним и ею), а слова – сказаны и сделали свое дело. Нормальное развитие событий сливается с ненормальным; запоминается – ненормальное. Разве захочется такое перечитывать? Разве мы полюбим такого писателя, поймем его? Он *слишком* смел.

Что до третьей темы (третьей вариации), то она – тоже гендерная, но уже в самом широком смысле: это – ужасы двадцатого века, самого жестокого в истории человечества. Тут у Хазанова опять неудобство. Зачем писатель возвращает нас к лагерям и газовым камерам? Надоело. Мы больше не хотим. Мы хотим радоваться жизни, которая (черным по красному) удалась. Но ведь палачи тоже именно этого хотели – и они никуда не делись, они и сейчас хотят, только палачествуют по-новому...

В аллеях темно

Хазанов темен, как Достоевский. Точнее, как Тинторетто: тот ведь совсем не темен, если приглядеться и вспомнить. Так и тут. Светлая, спору нет, вещь *Час короля*, хоть это и схема с

трагическим задником; но она ранняя, а остальные — темноваты. В компанию к его героям — не тянет. Зачем он выбирает такие краски? Почему не хочет порадовать нас-болезных?

Потому что мы не заслужили радости. Покая тоже не заслуживаем. Это одно. А второе и главное вот что: искусство ведь не о радости трактует, а о наслаждении, и по этой части в темных аллеях всё в порядке. Когда свыкаешься с освещением, от картин Хазанова не оторваться, они возвращаются и остаются. Десять раз произнесенный в его адрес упрек несправедлив: он — не мыслитель в своей прозе, он художник. Говорят: в его аллеях темно, потому что они перегружены мыслью. Верно; но эта мысль совершенно так же не вычленяется из Хазанова, как из Толстого. Она еще меньше вычленяется: она — парадоксальна, провокативна; не к евангельской жизни приглашает, а к наслаждению текстом — только и всего. Вот мы на днях еще немножко повзрослеем и поймем: нельзя изображать, не размышляя.

«Если в кране нет воды...»

Еще говорят: Хазанов засовывает нас в чулан. Вместо раздольной русской жизни с ее матушкой-Волгой (великой татарской рекой), вместо пресловутой всемирной отзывчивости — русский писатель всё сползает на еврейскую тему. С чего бы это? Берем его *Антивремя*: уж тут-то, думаешь, обойдется, ан нет: под конец прорывается. И как! Но об этом рассуждать не будем; это нужно перечитать, пережить. Нельзя пересказать писателя. Мир созерцает художник — и судит, и дерзкою волей, / Демонской волей творца — свой созидает, иной. Писателя, художника только коснуться можно, прокомментировать по касательной. Человек равновелик вселенной; частица его внутреннего мира, вынесенная в текст, — тоже.

Отчетливо помню это чувство: меня засовывают в чулан. Но оно прошло. Оно было искривлением пространства, очень советским искривлением. Советский мир был заповедником XIX века в двадцатом. В культуре мерещился пантеон; писатели казались властителями дум. (Это ж нужно было такую формулу придумать: *писатель земли русской!* Отчего мы никогда не слышали о *писателях земли* английской, французской?) Народничали. Священнодействовали до самого начала 1990-х. Великая русская литература — и вдруг евреи. Нельзя ли без них?

Нельзя. Так уж случилось исторически. С другими народами тоже случалось. Сегодня в каждом втором испанце течет этакая маленькая примесь еврейской крови. Евреи — коренные жители Испании; они там до испанцев появились. В Россию они тоже не приходили: Россия пришла к ним. И вышло, что нельзя написать честную прозу о России XX века, обойдя стороной еврейский вопрос. Деревенская проза (как и научная фантастика) была эскапизмом не только от советской власти: еще и от евреев. Мол, там, в глубинке, где еще история не началась, уж там-то их нет. Напрасный труд! Они есть и были всегда. Достаточно вспомнить, что такое жидовище, как Троцкий, — выходец не из мещан черты оседлости, а *из русских крестьян*. Сам Хазанов работал врачом в сельской больнице. А ссыльные в Сибири? Но это долгий разговор. Проза — не для крестьян пишется, не для русских крестьян. Они если и жнут, то не разумное-доброе-вечное. А городская русская жизнь без евреев — такая же схема, как производственный роман. Не хотите — не ешьте. Истина нелицеприятна. Кажется, это Лютер сказал, но мы и без него знаем.

Еврейский вопрос — вопрос на засыпку. Пробный камень, если угодно; камень преткновения, на котором новгородец Васыка Буслаев шею сломал. В страшную глухую пору, когда дышать было нечем, когда буддийская Москва подавила всё живое, честь России спас один харьковчанин с татарской фамилией:

Благодарствую, други мои,
за правдивые лица.
Пусть, светла от взаимной любви,
наша подлинность длится.

Будьте вечно такие, как есть,—
не борцы, не пророки,
просто люди, за совесть и честь
отсидевшие сроки...

Одного я всем сердцем боюсь,
как пугаются дети,

что одно скажет правнукам Русь:
как не надо на свете.

Видно, вправду такие чаи,
уголовное время,
что все близкие люди мои —
поголовно евреи...

Борис Чичибабин, если не вспомнили. Написано в 1978 году.

И еврейский ответ не обойдешь. Испания, выбросив евреев, за сто лет съехала на положение второстепенной державы — а ведь над нею солнце не заходило. Еще один долгий разговор. Оборвем на полуслове.

С Хазановым же так вышло, что чулан оказался тоннелем, в конце которого — свет. Выходом в широкий мир, к той самой всемирной отзывчивости, которая на поверку не вовсе русской оказалась. Здесь он тоже смел до дерзости. Он говорит нам: можно быть евреем и русским. Одновременно. Русским писателем (писателем земли русской, в эмиграции, без всякой земли, потому что любая земля — жулел) и евреем. Евреем — и русским националистом: потому что кто же такой националист, как не служитель национальной культуры (а ведь Хазанов по-русски пишет)? Этот тип обозначился в России после 1990-го: честный русский националист из евреев, еврейства не прячущий. Хазанов опередил типаж на десятилетия. Он всё это понимал уже тогда, когда слово *еврей* стало открытым ругательством, преспокойно заменив запретное (и совершенно безобидное) слово *жид*. О расистах не говорим; смешно говорить. Генетический великоросс — выдумка и суеврие. Никогда, ни на одном этапе своей истории русские не были племенем: всегда — связкой племен; всегда — государственной и культурной общностью. Нужно ли напоминать, что сегодня вторая религия в России — ислам? И что первый — самый первый — документ древнего Киева написан на иврите?

«Пастернак да сельдерей»

В 1980-е годы в одной ближневосточной стране, на четверть русскоязычной и сегодня уже не столь отдаленной (а в ту пору словно на Марсе находившейся,) группа молодых — точнее, еще нестарых — людей (находившихся в плену прежней, из XIX века вынесенной, утопии, мечты о великой русской литературе, о великом и могучем языке) задалась престранной мыслью: выявить среди современников абсолютного стилиста (естественно, пишущего по-русски). Долго ломали копыя — и к единому мнению не пришли. Где два еврея, там три мнения. У меня есть на этот счет мнение, но я с ним не согласен. Обычная история. Солженицына («с чисто семитской жестокостью») отвергли сразу. Иные готовы были признать, что он писатель земли русской, все признавали его вклад в борьбу с подлым и бездарным режимом, но за стилиста его не держал никто. Было ясно: человек лишен всякого языкового чутья; не владеет нормативным языком, оттого и юродствует в слове (и еще оттого, что юродивый на Руси всегда найдет сочувствующих).

Запутались в определениях. Брать ли в расчет публицистов и эссеистов, или только прямых прозаиков? Запутались в именах. И, вот беда, почему-то выходило, что все кандидаты — евреи, а этого участникам спора совсем не хотелось. Не сразу догадались, в чем дело, хотя вопрос был проще пареной репы: стилист — в первую очередь хранитель; страж культуры; а у национальных алтарей, куда взгляд ни кинь, всегда кордегардия из нацменов...

В итоге затею эту бросили; но Хазанов в споре был назван, и отстаивали его с большой, чисто русской литературной горячностью. Не как абсолютного стилиста, таковых нет, а как лучшего стилиста современности.

Пройдет ли он в короткий список сейчас, когда многие пишут хорошо, иные и замечательно (а большой литературы нет)? У Хазанова (прости, Флобер!) встречаются однокоренные слова на одной странице, даже в одной фразе. Его книги обставлены эпиграфами из красного дерева на гнутых ножках, совершенно лишними и неуместными. Названия — почти все неудачны, вызывают ненужные, неверные ассоциации. *Антивремя. Московский роман...* Один подзаголовок чего стоит! Что делать читателю, а таковых немало, который по-настоящему, в сердцах, не любит эту новую Ниневию, город кровей, бессовестный, паразитический город, чуждый и враждебный России?

Есть, есть что поругать у Хазанова. Кто без греха? Но одно придется признать: текстов более густых, более ассоциативных и более выверенных сейчас не найдешь. Он — уж это точно —

самый образованный писатель современности (и чуть-чуть излишне щеголяет своей эрудицией; как Борхес). Густота ткани превращает его короткие вещи в длинные. Он пишет медленно – и читать его квантово-механическую прозу приходится медленно, по-старинке.

Расстрел без права переписки

«... из нынешних жителей Косова...», пишет он. Слава богу! Многие ли сейчас понимают, что только так и правильно? Флексии уходят из языка; с ними уйдет и язык, а с языком – последняя память о русском народе, не теперешнем, он стоит недорого, а о том, которого больше нет: который создал великую литературу, литературу милосердия и сострадания. Авторы мультфильма *Трое из Простоквашино* – изменники родины; по ним 58 статья сталинской конституции плачет (по которой сидел Хазанов). В сознании миллионов детей застряло на всю жизнь, что названия типа Косово, Пулково, Шереметьево, Переделкино, Иваново не склоняются: Сказать «трое из Простоквашино» – дикое уродство; то же, что сказать «трое из Москва». Но так и будет. Так – с немецким акцентом – будут говорить в самом непосредственном будущем. В современной Москве уже говорят не по-русски, да заметно это только со стороны.

Кощеево царство

«Вот экспозиция: похожая на реку из грязи дорога и кузов застрявшего грузовика. Кругом поле, заросшее диким бурьяном... Вылезшему из кабины горожанину кажется, что он попал на край света. Из-за горбатого косогора, на который так и не удалось взобраться, выглядывает деревня, полтора десятка прохудившихся и кое-как залатанных крыш. На плешивом лугу, точно павший конь князя Олега, разлагается какой-то землеобрабатывающий механизм. И всё это кощеево царство затянато паутиной дождя...»

Однажды, бродя по полям, заезжий гость, ибо кому же еще могут прийти в голову подобные мысли, спускается в ложину, по упавшему дереву храбро перебирается через тихую речку и попадает в другой век. Два ряда древних полузасохших лип, аллея, заросшая травой, и вдалеке белеет дом с колоннами. Этот дом пуст. Колонны осыпались, обнажился кирпич. За домом, призвав на помощь воображение, можно обнаружить остатки дворянского парка, где гуляет привидение – барышня в соломенной шляпе, в белом платье, с книжкой в руках. Перед вами памятник погибшей цивилизации. Здесь обитало исчезнувшее племя – в этих поместьях, близ этих рек...»

Это из публицистики Хазанова. Было время, когда в Хазанове ценили не столько писателя, сколько публициста. Тут стилистический его блеск на виду, и многие отмечали это, а мешало многим (большинству) – то же, что в прозе мешает: мысль. Большинство ствертенеет, когда кажется на непривычное, неудобное. Большинству кажется, что оскорбляют святыню. И большинство право: мысль – кощунственна по самой своей природе. Разве не богохульствовали Коперник, Джордано Бруно, Галилей, Эйнштейн?

Хазанов сказал страшные вещи. Например, что Россия, которую мы так страстно и безнадежно любили под серпом и молотом, – миф. Сказал, когда путинская Россия и на горизонте не маячила. Разве это не пророчество? Сказал, что русский народ – выдумка русской литературы. Народа, о котором грезили Толстой и Достоевский (а с их подачи Европа), никогда не существовало; существовал в эмбрионе, в крепостничестве, в доисторической дремоте – сегодняшний русский народ, с гусеницами, боеголовками и полонием. В 1917 году он покончил с другим русским народом, верхним, совестливым, тем, который создал культуру и мечту о всемирной отзывчивости; вытеснил этот народ – и Россия словно маску сбросила; на месте христианского милосердия изумленному миру предстала злоба, замешанная на зависти, и неслыханная жестокость... Отчетливо помню, как страшно, как горько было читать об этом тогда, когда с Россией еще связывали какие-то надежды.

Первый ли Хазанов произнес эти страшные вещи? Какое! Сюжетов – всего семь... Разве не Георгий Иванов сказал (ямбом): «России – не было»? За полвека до Хазанова сказал. Разве Владимир Вейдле, православный мыслитель и страстный патриот, не сказал: «Россия – не удалась, исторически не состоялась»? И другие догадывались. Но был запрет, внутренний, нравственный запрет, подсказанный любовью, – и Хазанов, тоже движимый любовью, нарушил его в самое неподходящее время: в 1970-80. Одни не услышали, другие не поняли. Не хотелось

такое слушать. Был же у европейских интеллектуалов запрет на ГУЛАГ. Лучшие умы отвергали это как бред и кощунство. Люди предпочитают верить, а не думать.

Мечта о добром самаритянине

Есть еще одна тема, одна вариация. Хазанов сполна отдал дань мечте о России. Так любил ее, так мечтал о ней, как немногие. Резал по живому, уезжая (уезжал же в ту пору, когда уезжали навсегда). Сотни, тысячи эмигрантов 1970-80-х пережили свой единственный приступ ностальгии еще до отъезда: принимая решение уехать (а уехав, так и не узнали ностальгии классической, которую Цветаева называет «давно разоблаченной морокой»).

Одно из преломлений этой любви у Хазанова – мечта о русском человеке. В *Чудотворце* христианский священник гибнет от нацистской пули, пытаясь остановить отправку евреев в Освенцим. В *Антивремени* перед юношей сталинской поры (за день до его ареста) открывается возможность эмигрировать, ему сулят человеческое достоинство, общество без лжи и жестокости, Кембриджи и Сорбонны, а он твердо отвечает: «Нет», и это при том, что в семье – голод, да и неродной он в этой семье, а приемный (очень, очень важная символика). Конечно, не только о русском человеке мечтает ранний Хазанов, а о человеке вообще. *Час короля*, где герой – скандинав или немец – апофеоз этой мечты. Но в первую очередь – о русском.

Была у Хазанова, может, и по сей день не умолкла, вера в то, что великий для России девятнадцатый век не вовсе умер, что остался в этой стране тончайший, но плодоносный слой тех особенных людей, которые так много дали миру. И к христианству Хазанов был близок. Горько и больно видеть, чем это обернулось. На мечту о добром самаритянине (не одного Хазанова, другие тоже мечтали) Россия ответила беспримерным в истории образом: убийством Александра Меня. О сегодняшней России и не говорим. Тоже ответец хоть куда. В семидесятые и восьмидесятые годы в самиздате ходила вещь Хазанова *Новая Россия*, проникнутая любовью и верой. Зарубленному топором священнику в одном повезло: новой России он не увидел.

«Я продолжаю читать Бориса Хазанова, иногда с интересом...»

– пишет московский эссеист, старший соратник Хазанова по «застойной поре», несколько злоупотребляющий местоимением первого лица единственного числа. Он остался, не эмигрировал – и продолжает спорить с Хазановым по этому ностальгическому пункту:

«...ни одна вещь, написанная в Мюнхене, не брала меня за горло так, как “Час короля”, “Запах звезд”, “Взгляни в глаза мои суровые”. Только возвращение к памяти детства, начатое еще в Москве (“Я воскресение и жизнь”), сохраняло свою теплоту...»

Старая песня, не правда ли? Почвенническая. В человеке мыслящем – странная. Цветаевой «разоблаченная морока» не помешала; десяткам наших современников – тоже. Отчего бы, произнося такие оценки, не брать в расчет разрешающую способность прибора? Наши душевные диоптрии изнашиваются; и, кроме того, мы частенько надеваем на них идеологические фильтры. Мы не свободны от этой потребности (очень гендерной): всё примерять на себя, самоутверждаться за счет других. Не растерял Хазанов теплоту (и не теплота у него главное), а «за горло» – или, скорее, за душу – бог весть кого он еще возьмет; иные еще и не родились. Проза ведь – не эссеистика, она живет долго.

Кто, если не он?

В связи с Бродским был некогда задан умилительный вопрос: достойны ли мы быть его (Бродского) современниками. Спрашивавшая была современницей Колмогорова, Шостаковича, Gell-Manna'a – и застала Гитлера, Сталина. Будь она поумнее и покультурнее, она бы спросила: доросли ли мы до Бродского? Именно это она хотела спросить, да не смогла. До Бродского мы доросли – потому что оценили его при жизни; не без помощи шведской академии, но всё же. С Бродским шведские академики (случайно) не промахнулись, спасибо им, хотя вообще история Нобелевской премии интересна именно их ошибками. Они проглядели Георгия Гамова, физика, которому полагались две премии по физике и одна – по биологии... за двойную спираль Вотсона

и Крика. Из русских писателей *ни один не получил* эту премию только за свой талант, без учета политической конъюнктуры. Эстетическая конъюнктура тоже важна: вспомним Грэма Грина. Вообще в Стекольне держат нос по ветру, черную Африку не забывают (по разнарядке и в угоду политической корректности), на восток же поворачиваются нехотя, и тут они правы: это обочина, если не интеллектуальная, то уж языковая – точно. Чернокожие поэты Анголы, пишущие по-португальски, ближе Европе, чем те, кто пребывает в кириллице.

Доросли ли мы до Хазанова? Непохоже. Шведские академики – и того меньше; и тут их не упрекнешь: им трудно. Сидит человек в Мюнхене, пишет кириллицей про евреев (на самом деле – про русских, но один не услышит, другой не поймет), партией на щит не поднят, шороха знамен за его спиной не слышно. Родись он и вырасти в одном из нормальных западных языков, хоть в том же португальском, все было бы в порядке: был бы услышан многими и сразу, а не по очереди; в свои 62-65 лет, как положено, получил бы Нобелевскую премию, то есть на минуту был бы выхвачен лучом юпитера и тотчас забыт (как Айзек Башевис Зингер, сказавший о себе: «Вчера – еврейский писатель, сегодня – нобелевский лауреат, завтра – еврейский писатель...»). Нобелевская премия ведь только в России кажется помазанием на царство, а здесь... – здесь Грэм Грин и не заметил ее отсутствия, у него была премия поважнее.

На Хазанове гимнастерка не пуста, несколько московских регалий (еще честных, не теперешних) позвякивают на ней. Не знаю, к лицу ли они ему. Не знаю, пошла ли бы ему и нобелевская побрякушка. Ну, выдвинут его. Ну, задумаются в Стекольне; люди они умные и честные (не в пример москвичам), хоть и трудно им. Ну, получит он ее. Что толку? Где «великая русская литература»? Про сегодняшнюю только одно можно сказать: она то потухнет, то погаснет. Нет, по мне – пусть уж лучше Хазанов останется в одной компании с Толстым, которому шведы – «Запад есть Запад, Восток есть Восток» – Киплинга предпочли.

ПРИВЕТСТВИЯ И ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогой Геннадий Моисеевич,

от имени самой себя и по поручению нашего общего возраста я поздравляю Вас со вступлением в молодежную секцию тех долгожителей, о которых поэт когда-то неосторожно выразился: «лет до ста расти/ нам без старости». Сам он, впрочем, от светлого будущего уклонился. Зато коллегам – прозаикам (которых скорее хочется назвать «survivors», чем «долгожителями») приходится в поте лица отрабатывать и следующую замысловатую рифму: «год от года расти/ нашей бодрости».

Поэтому я от души благодарна Вам уже за одно то, что Вы есть. Еще более за то, что Вы не устаете покрывать «кириллицыным знаком» бумагу, экран компьютера – любую поверхность, которую технический прогресс предоставляет для радостей писания со времен Гильгамеша. Слово «графоман» подхихикивает; на самом деле свойство это завидно. Разве без страсти к писанию могли бы появиться Шекспир, Диккенс, Бальзак, Толстой или Достоевский?

Не говоря о Вас. Я благодарна Вам за то, что каждая Ваша фраза, помимо прочего, проникнута радостью самого писания, поиска и составления слов.

Если что и может спасти литературу перед лицом наступающей аудиовизуальной эры, то скорее всего любовь писателей к процессу писания; графомания. Меж тем как живопись придется скоро занести в Красную книгу...

Дорогой Геннадий Моисеевич,

отдельно и особо я благодарна Вам за краткую, но универсальную теорию литературы в эмиграции. За все ее «pro» и «contra» (помните словцо «диалектика»?).

Вы – «изгнанник», и это звучит гордо, я отношусь к сомнительному племени эмигрантов, но, черт побери, «не есть ли эмиграция идеальная модель творчества»? Тут каждый по праву русскоязычный, ибо отечество изгнанника – его язык; но он же – и тут Вы снова правы – есть и его тюрьма. Какое-никакое чтение текста чужой жизни – увы – не включает ее контекста. Зато у вечно бездомного искусства есть для ночлега подземелья памяти.

«Если – Вы не опустили и такой нюанс – есть на что жить».

Тогда пишущий одинок и свободен. Наконец.

Свободен – тут я продолжу – от чего?

Он свободен от вмешательств цензуры (впрочем, радикально упраздненной); еще больше – от гнета общественного мнения; от диктата текущей моды и местных предрассудков. Но свободен и от читателя, от «своей» публики.

Он свободен от повседневной суеты сует публичной жизни; от соблазна приемов и презентаций; от цеховых и политических интриг. Но – и от общественного признания.

Он свободен от какофонии современной полупени; от сокрушительных грамматических нонсенов; от назойливой обценности текущей речи. Но – и от шума и ярости живого, меняющегося слова.

Он одинок среди себе подобных – бесчисленных изгнанников и эмигрантов, пишущих на том же языке, но остающихся несообщающимися сосудами. Он предоставлен себе, и это – я возвращаюсь к Вашей мысли – в некотором смысле и есть идеальная модель творчества.

Если ему есть на что жить и о чем писать.

...Вы пишете и, надеюсь, будете писать еще долго...

Майя Туровская

Мы познакомились с Геней Файбусовичем на тусовке отказников. Кажется, это было зимой 80-81 гг. Меня пригласили прочесть доклад о Достоевском. Достоевского публика не очень хорошо знала, но люди годами сидели без работы и без дела, а я готов был поговорить о том, что мне самому было интересно.

После доклада один из слушателей сказал, что восхваление антисемита Достоевского – пример отсутствия национального чувства самосохранения, от чего евреи уже не раз погибали. На лице Файбусовича я заметил ироническую улыбку, и мы обменялись с ним несколькими замечаниями вполголоса. Гена был не совсем похож на образ, возникший при чтении «Часа короля», я ожидал нечто более патетическое, но человек мне понравился, и мы обменялись адресами. Еженедельные встречи сразу же стали нашей традицией.

Изо всего, о чём мы философствовали, я почему-то запомнил гротескную идею: о вирусе интеллектуальной жизни, создающем монопараметрические теории. Попадая в логическую машину нашего мозга, он превращался в базис, а всё остальное определял как надстройки: развитие производительных сил, половое влечение и т. п.

После отъезда Гены и укоренения его в Мюнхене интеллектуальные игры продолжались письменно. Опять-таки всего не упомяну. Чётко осталось предложение Гены собраться на пустынном острове тысячу интеллигентов, обеспечить их библиотекой и всем остальным необходимым и продолжать русскую культуру без помех со стороны русской политики. Я отвечал, что «Преступление и наказание» было бы невозможно без петербургских трупов, пьяного Мармеладова, раздавленного лошадыми, и Катерины Ивановны с её платком, захарканном кровью. Кажется, в «Страну и мир» эта дискуссия не попала. Помнится, я там препирался с Львом Николаевичем Гумилёвым, а Гена присылал мне свои повести и рассказы. Осталась в памяти история, развивавшаяся сразу в трёх срезах времени, временами забавно встречавшихся друг с другом. Но на сердце лёг скорее простой рассказ об отрочестве в эвакуации, в каком-то глухом углу, незадолго до конца войны. Тёмная баня, в которой что-то делали женщины, не стеснявшиеся мальчика, разговор с раненым солдатом... Что-то от действительности, в которую меня самого втянул век, что-то от моих собственных отроческих проблем и впечатлений...

Переписка длилась очень долго. В неё попали тревоги, вызванные вызовом на Лубянку и «предупреждением о применении ст. 90», о котором я сообщил в Мюнхен и получил в ответ предложение помочь мне переехать в страну с более мягким климатом. Кстати, хочется объяснить, почему я упорно оставался в России. Тут очень многое сошлось, отчасти связанное с Зинаидой Миркиной, вся аудитория которой в России, и с отпечатком войны в моём характере, с известной даже любовью к риску, который многих отталкивает. Во всяком случае, я считал и считаю отъезд глубоко личным делом – и каждый из нас выбрал то, что ему больше по душе. А теперь мы уже вросли в свою судьбу – и я в канун моего 90-летнего юбилея могу только пожелать молодому 80-летнему юбиляру больше сил в борьбе с тревогами нашего почтенного возраста и выдержки в борьбе с физическим упадком, которого нельзя избежать, но можно уравновесить силою духа. И я надеюсь, что у Гены этой силы хватит. Я часто его вспоминаю в последнее время и разделяю его тревоги.

Дай Бог здоровья и сил, насколько это возможно!

Григорий Померанц

Мог ли подумать шесть десятков лет тому назад славный наш юбиляр, что худо-бедно, но доканает он до этих дней, да еще не с Альцхаймером, Фейхтвангером и Оппенгеймером в обнимку, а, как говорится, рука об руку с подругой жизни Лорой, без которой, точно так же, как и я без своей любимой Иры, давно бы уже погиб смертью храбрых под одним из отечественных наших заборов? Разумеется, подумать об этом было невозможно.

Ведь подсел он, кажется, на восемь лет по 58-ой, то есть, если выразаться точно и в стиле тех лет, подсел ни за хер. И стукнуло ему тогда лет двадцать, и сам он был не чумоватым матросом вроде меня, тоже огрѣбшим четыре года за угон «эмки» секретаря крайкома и драку с патрулями, а был он уже эрудитом выше крыши, студентом МГУ, изучавшим западную филологию, молодым интеллигентом, успевшим прочитывать горы книг, что-то самостоятельно кропавшим, знавшим языки, великую музыку, пикивавшим то ли на скрипке, то ли на арфе, то ли на органе и т. д. и т. п...

И вдруг – это он-то, Геня Файбусович, собственно, ни в чем не повинный юноша, всегда чуждавшийся дворовых игр и делишек, еще не дошедший до утверждения физическим трудом мускулов телесных и испытавший всенародную беду недоедания лишь во время войны, – вдруг оказался Геня в гестапо родного Отечества, в ежовых рукавицах Органов.

Потом, как и все сотни тысяч совершенно невинных граждан самой – с понтом – демократической страны в мире, прошёл он через такие муки допросов, через такое безумие непонимания происходящих вокруг ужасов унижения и оскорбления человека и человечности, через холодрюгу, голодуху, беспредел ВОХРы и урок, через жестокость, уродующую самые святые основания идеи Труда, которые вообразить бы был не в силах ни известный зек Аввакум, ни герои Кафки, ни борцы за народное дело – узники Петропавловки, Бутырок и прочих вполне цивилизованных казематов Отечества, истекавшего, как учили нас в школе, слезами и кровью под игом чудовищного самодержавия.

Я уверен, что у многих счастливых, отволокнувших в те годы срока, выживших и вышедших на свободу, неизмеримо возмужало в душе чувство человеческого достоинства, сполна оплаченное всеми страданиями, унижениями и оскорблениями, которым человеческое достоинство подвергалось палачами, до сих пор остающимися исторически безнаказанными в слепых умах отечественных коммунак.

Словом, как бы то ни было, сегодняшний юбиляр не только выжил в застенках и лагерях, но вышел на свободу с аттестатом, верней, с дипломом такой интеллектуальной и душевной зрелости, какой не дали бы никакие иные школы и вузы.

Уверен также, что все испытания не могли не сделать юбиляра истинно замечательным писателем, прозаиком, эссеистом, мыслителем, хотя на свободе – поначалу поднадзорной – был и отличным врачом, кандидатом, между прочим-то, наук, затем одним из самых опытных редакторов журнала, весьма заслуженно популярного в годы застоя. Затем... стоп...

Увлечись биографией юбиляра, я как-то позабыл, что её, биографию одного из лучших русскоязычных писателей нашего времени, непременно когда-нибудь напишут, если, разумеется, будет кому писать, – раз; если не деградирует наш родной, великий и могучий, а с ним и отечественная словесность, – два; если благородный дух великой русской литературы сохранит свое классическое достоинство, не то что бы противоборствуя со СМИ, с ТВ, с кино, с поповым шоу-бизнесом и, бог весть, с еще какими-то делами, – но всегда будет оставаться тем, чем всегда он был для личности и культуры народа даже в самые страшные для страны и всего мира исторические времена: могущественной поддержкой Человека в Божественном Деле преобразования его из животного, зверя в высокоподобное Существо, представить которое, к сожалению, невозможно, – это три.

Биография – биографией, а все написанное Геннадием Моисеевичем Файбусовичем, он же Борис Хазанов, тянет на весах Добра и Зла так, что Злу не найти противовеса ни художественным образам юбиляра, ни занятости его всегда высоконравственных и в высшей же степени эстетичных романтических миров, ни обаятельным новеллам, ни многочисленным эссе – поверьте, всех литзаслуг писателя тут не перечислишь.

Ну а о том, что он, наш юбиляр, за человек, — и говорить не стоит, потому что жене его Лоре, а также моей жене Ире, мне, всем друзьям Гени — совершенно ясно, что где-где, а на Страшном суде у него, у юбиляра, всё уже в полном порядке, не то что шесть десятков лет назад на Лубянке...

Господи, годы эти так быстро промелькнули, что хочется напомнить юбиляру, если он позабыл, лагерную мудрость, незнакомую, полагаю, самому Эйнштейну: день тянется долго, червонец — еще медленней, а четвертак проходит мгновенно.

Вот и замечательно, дорогой друг, что дожил ты до восьми червонцев, что вот-вот разменяешь девятый, что пашешь с утра до вечера на многотерпеливой ниве литературы. Поздравляем тебя и Музу твою — подругу всей твоей жизни Лору, сына и мать ваших внуков да и их самих.

Спасибо тебе за многолетнюю дружбу.

ЦЮИ, что означает на птичьем клекоте певчих наших горлышек: ЦЕЛУЕМ ЮЗ ИРА.

Юз Алешковский, 28.08.07

Сегодня мы с Ирой получили от нашего давнего друга скорбнейшую весть: Лора умерла.

В этих, во всего лишь двух словах, в бывшем Подлежащем и в вечном Сказуемом, заключена совместная жизнь Юбиляра с покойной женой и другом, больше полувека полная счастья и прекрасной дружбы.

Царство Небесное тебе, Лора.

Увы, теперь уже пожелаем тебе, дорогой наш друг Геня, не только здоровья да веселья духа и расположения Музы, но и редчайшего из всех видов земного мужества — мужества не унывать, но держаться, жить, жить и жить, сколько суждено, ради Лоры, душа которой наблюдает за тобой, — я абсолютно в этом уверен — на этом, до известного срока, свете, а потом и с того света.

Так что разлуки больше не будет — впереди встреча на, действительно, высшем уровне.

Твои друзья Ира и Юз

Бенедикт САРНОВ

МУЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Русский писатель Борис Хазанов живет в ФРГ, в Мюнхене. Чтобы объяснить, почему так случилось, пришлось бы рассказать всю его жизнь. Поэтому ограничусь тем, что скажу коротко: очутился он там не по своей воле.

Хотя — что греха таить! — мысль об отъезде возникала.

Впервые она возникла у него лет тридцать тому назад:

До сих пор мы жили в сознании нерушимой отъединенности от мира. Мы выросли с этим знанием. Оно было для нас так же естественно, как знание о том, что невозможно летать. Мы знали, что Россия — наше отечество; но мы знали также, что кроме отечества не существует никакой другой земли. Мы повторяли себе и другим, что если бы нам предоставлен был выбор, мы все равно не уехали бы. За всем этим, однако, подразумевалось, что уехать нельзя. Не говоря о том, что даже мимолетная мысль о бегстве была политическим преступлением, за которое полагалось сидеть в лагере, — эта мысль считалась нравственным преступлением. Приученные с детства считать привязанность к земле отцов похвальным чувством, зазубрив любовь к родине наизусть, мы как будто не догадывались, каким оскорблением для этой любви является ее на-ли-сь-тен-ность.

И вот что-то произошло, и точно приоткрылась узкая щель на горизонте. На наших глазах происходит небывалое: то тут, то там соотечественники отбывают за границу. Просто так, законным путем, как «порядочные», точно свободные люди, со скарбом и семьями пересекают ту самую границу, которая пятьдесят лет была на замке, проволочный круг, на котором, кажется, и сегодня еще висят клочья мяса пытавшихся подлезть под него.

Непостижимо!

И, как пёс, проскуливший всю жизнь на цепи, вдруг увидел конец цепочки, просто так лежащий на земле, перевел глаза на ворота и – колеблется: вдруг ворота захлопнутся и защемят его? – так и мы боимся сдвинуться с места, переминаемся с ноги на ногу и ловим новые слухи. Слухи подтверждаются один за другим. Уехать – можно.

Соблазн воспользоваться этой внезапно открывшейся возможностью был велик. И он не скрывал этого:

Эх-ма, кто из нас не мечтал о свободе!

Жить по-человечески. Жить, не боясь за будущее детей. Не ожидая, что подкрадутся сзади и скрутят руки. Жить просторно, не давясь в тесноте, не воюя ежедневно с бедностью и непролазным бытом. Заниматься любимым трудом. «По прихоти своей скитаться здесь и там».

Не скрывал он и того, что многое – да, собственно, почти всё! – в окружающей его реальности ему ненавистно до отвращения. Об этом каждой своей строкой вопили все 50 страниц той машинописной исповеди, которую я здесь цитирую.

А в заключение следовал вывод, потрясавший своей неожиданностью:

Ответ, который я даю, покажется нелогичным. Я остаюсь.

Мне было бы трудно дать исчерпывающее, а главное, вразумительное объяснение – почему...

Было бы лицемерием говорить о любви к родине. Та Россия, которую я люблю, в природе не существует. Её нет – и, может быть, никогда не было.

Но есть последняя драгоценность, которая у меня еще остается, – русский язык. Я не в силах вообразить себя в среде, где не звучит русская речь. Русский язык – это и есть для меня мое единственное отечество. Только на нем я могу объясняться с миром. Только в этом невидимом граде я могу обитать.

Новейшая психиатрическая доктрина учит, что бред умалишенного не отгораживает его от мира. Напротив: это его способ искать связь с миром. Безумие мое бредит по-русски...

Пока меня не прогнали – я остаюсь.

А там – будь что будет.

И вот – его прогнали. Вернее, – выпихнули.

Случилось это в 1982 году.

Как я уже говорил, насильственному его отъезду из Советского Союза предшествовало множество драматических событий, рассказать о которых тут даже вкратце не представляется возможным. Но об одном из них – том, что стало «последней каплей», – все-таки расскажу.

В один прекрасный день, точнее, в одно совсем не прекрасное утро в его квартиру вломались (это не метафора – именно вломались) шестеро молодых людей, оказавшихся следователями Московской прокуратуры. Предъявив ордер на обыск и изъятие «материалов, порочащих советский общественный и государственный строй», они унесли с собой рукопись романа, над которым писатель в то время работал. Рукопись была изъята вся, целиком, до последней страницы. И рукописный оригинал, и машинописная копия (автор только что начал перебелять свой труд и успел перепечатать от силы пятую его часть).

Над романом, который у него отобрали и который ему так и не вернули, он работал три с половиной года. Работал самозабвенно, урывая для этого главного дела своей жизни каждую свободную минутку. Урывать же приходилось, поскольку писательство было для него не профессией, а призванием: по профессии он врач и много лет трудился в этом качестве, а позже, оставив медицину, работал редактором в журнале «Химия и жизнь». Кстати, не исключено, что налёт на квартиру, обыск и изъятие рукописи были санкционированы (после ареста романа Василия Гроссмана наша литература других таких случаев как будто не знала) еще и потому, что в глазах тех, кто отдал этот чудовищный приказ, Геннадий Файбусович (таково его настоящее имя, «Борис Хазанов» – это псевдоним) вовсе даже и не был писателем. Ведь слово «писатель» у нас в те времена обозначало не призвание и не профессию даже, а **социальное положение**.

Как бы то ни было, обыск был произведен и роман – вместе с другими рукописями – арестован.

Событие это, и само по себе впечатляющее, на Геннадия Файбусовича произвело особенно сильное впечатление, поскольку оно напомнило ему другие события его жизни, случившиеся за

четверть века до вышеописанного: в 1947 году, не успев закончить последний курс филологического факультета МГУ, он был арестован и 8 лет провел в лагере.

Самое паразитичное во всей этой истории было то, что изъятый при обыске роман даже по понятиям и критериям того времени никаких устоев не подрывал и никакой общественный и государственный строй не порочил. В кругу интересов автора романа (а круг этот, надо сказать, весьма широк: он – автор художественной биографии Ньютона и книг по истории медицины, переводчик философских писем Лейбница, блестящий знаток античности и средневековой теологии, эссеист и критик) – так вот, в кругу его интересов политика всегда занимала едва ли не последнее место.

В чем же дело? Чем **по существу** был вызван этот внезапный налёт следователей Московской прокуратуры на его квартиру?

Подлинной причиной этой акции было то, что в 1975 году Геннадий Файбусович под псевдонимом Борис Хазанов (именно тогда и возник этот псевдоним) опубликовал повесть «Час короля», которая сразу обратила на себя внимание всех, кому дорога и интересна русская литература. Эта повесть, рассказывающая о звездном часе короля, надевшего на себя желтую звезду, чтобы разделить гибельную участь горстки своих подданных, к несчастью автора, была опубликована в журнале, выходившем за рубежом. Хуже того! В журнале, который издавался тогда (о, ужас!) в Израиле.

Те, кто задумал и осуществил налёт на квартиру писателя, вероятно, не сомневались, что факт публикации повести в таком неподобающем месте – более чем достаточное основание не только для обыска, но, может быть, даже и для чего-нибудь похуже. А между тем не мешало бы им задать себе простой вопрос: как и почему вышло, что писатель, живущий в Москве, столице государства, разгромившего нацистскую Германию, написав антифашистскую, антигитлеровскую повесть, вынужден был опубликовать ее не у себя на родине, а в Иерусалиме. Да еще под псевдонимом!

За восемнадцать лет эмиграции Борис Хазанов написал и опубликовал немало новых произведений. Как и прежде, щедрую дань отдавал он в эти годы и эссеистике.

Многие его очерки и статьи сегодняшнему россиянину, наверно, покажутся злыми, резкими, написанными человеком раздраженным, пожалуй, даже уязвленным. Кому-то многое в ней покажется несправедливым. А кое-кому наверняка даже захочется заклеить жизненную позицию автора сакраментальным словечком «русофобия».

В этой связи я хотел бы привести несколько строк из стихотворения Владислава Ходасевича, которое он посвятил выросвшей его кормилице – тульской крестьянке Елене Кузиной:

И вот, Россия, «громкая держава»,
Её сосцы губами теребя,
Я высосал мучительное право
Тебя любить и проклинать тебя.

Борис Хазанов, как и многие другие наши соотечественники (русский Андрей Синявский, еврей Александр Галич, кореец Юлий Ким, украинец Петр Григоренко), всем опытом своей нелегкой жизни выстрадал вот это «мучительное право» **по-своему**, а не так, как это предписано начальством или доброхотами-патриотами, любить Россию. И не вчуже, а по-сыновьи проклинать ее. И этого своего горького права он не отдаст никому.

Москва, 1988

Марк ХАРИТОНОВ

ПРОДОЛЖАЮЩИЙСЯ РАЗГОВОР

Наше недолгое московское знакомство с Геннадием Файбусовичем было прервано в августе 1982 г. его вынужденным отъездом в эмиграцию.

Я уже однажды писал, что в ту пору такой отъезд представлялся чем-то окончательным, непоправимым, слово Запад обретало тот же смысл, что для библейского Иосифа: это был Египет,

то есть царство мертвых, куда уходили безвозвратно. Надежды увидеться снова почти не было. Даже писать за границу надо было с опаской — письма просматривались, зачастую просто не доходили, тем более к человеку, отмеченному особым вниманием органов. Время спустя я все-таки стал отправлять Файбусовичу в Мюнхен письма на имя его жены, доходили и его письма. Все равно требовалось, конечно, умалчивать о многом, чего-то не называть своими словами, довольствоваться непрямими намеками — это было тогда особое искусство.

Времена, однако, менялись. В мае 1988 года я был впервые приглашен за границу, на литературную конференцию в небольшой западногерманский городок Бад-Мюнстерайфель. На второй день конференции, поглянувшему во время прений, я увидел входившего в зал Файбусовича. Он тоже увидел меня, помчал рукой и сел на заднюю скамейку. Уже совсем седой, волосы как-то смешно всклокочены. Мы обнялись, расцеловались, потом до полуночи просидели с ним за бутылкой вина — и бесконечными, как в Москве, разговорами обо всем на свете, главным образом о том, что происходило у нас в стране. Встреча продолжилась потом через несколько дней в Мюнхене. А на другой год Файбусович выхлопотал мне стипендию одного частного литературного фонда в городке Линдау на берегу Боденского озера. Две недели мы провели вместе с ним и его женой Лорой, утром работали, после обеда гуляли по окрестностям. В разговорах Гена (так я к тому времени стал его звать) то и дело возвращался к теме эмиграции.

— У меня все время такое чувство, — сказал он однажды, — что я вырвался из отравленной страны. Я хожу по улице, вижу полицейского — и мне на него плевать. Я знаю, что ему до меня нет никакого дела. Тогда как в Москве я должен был бояться каждого.

«О чём я до сих пор жалею, — написал он позднее в письме, — так это о моих московских книгах. О пропавших книгах вспоминаешь, как об умерших друзьях. Почти всё осталось там, разошлось по рукам или попросту погибло. Считалось, что «старые книги» (изданные больше пяти лет назад) брать с собой не разрешается. Нельзя было иметь при себе какие бы то ни было документы, кроме выездной визы — клочка бумаги, имевшего вид филькиной грамоты. В аэропорту Шереметьево-2 раздевали догола. Мой сын, ему не было восемнадцати лет, растерялся и поднял руки. Человек, производивший обыск, усмехнулся и сказал: ты что думаешь, здесь гестапо? Из чего, видимо, следует, что сам он именно так и думал. Женщин подвергали гинекологическому осмотру. Нравы и обычаи этой страны были неотличимы от преступлений. Закон представлял собой свод инструкций, по которым надлежит творить беззаконие. Права сведены к формуле: положено — не положено».

Я видел, как время от времени он поглядывал на меня с сомнением: что меня удерживает в стране, тогда еще СССР, над которой все явственней нависала угроза катастрофы — если я имею теперь возможность перебраться в другой, нормальный мир? Раз-другой действительно прорывался вопрос: «А ты не жалеешь, что не уехал?» Я отвечал, что разговоры в такой плоскости не для нас: прав ли он, что уехал, прав ли я, что остался. Все очень конкретно, очень индивидуально.

На одну из таких тем у нас возник неожиданно горячий спор, и Лора сказала мужу:

— Что ты хочешь, человек приехал из Союза, ему трудно отказаться от стула, на котором он сидит.

Меня это немного задело. На каком это стуле я сижу? Может, правильной говорить о топоре, который висит над головой; от него я очень даже готов отказаться. Лора стала в ответ рассказывать, как к ним пришли с обыском восемь человек вместо обычных шести, в дом, где никакой политики не могло быть.

— Я все последние годы работала на полторы ставки, приходила из больницы и думала только о том, чтобы пожрать и заснуть. Я им сказала: вы что, работу себе ищите? Если там столько народа, они должны иметь какую-то работу, оправдывать свое существование.

— Если бы я не уехал, я бы погиб, — сказал Гена. — Я видел документы, в которых значился вторым номером на арест. Второго лагеря я бы не выдержал... И даже если допустить, что я вернулся, что смог бы получить здесь квартиру, средства к существованию — я бы не смог здесь писать. Мне нужна дистанция. Как Гоголю нужно было жить в Италии, чтобы написать «Мертвые души». Как Тургеневу надо было уехать из России, а Джойсу из Ирландии.

«Литература питается не настоящим, а пережитым», — утверждал он в эссе «Ветер изгнания». Раз-другой мы с ним вели на эту тему дискуссии на радио «Свобода» и на «Немецкой волне». Я был против таких обобщений. Пушкин никуда не уезжал, Гоголь написал «Ревизора» в России. Возможно, и я при нужде смог бы в Германии работать. Не так просто было сформулировать чувство, чего мне там все же не хватает.

Странное сцепление мыслей вернуло меня к этим разговорам однажды в Москве, когда я увидел на улице испуганную сучку: прижав зад к земле, она отлаивалась от трех кобельков, которые подступали обнюхать ее с разных сторон. И вдруг понял, как надо уточнить эпизод рассказа, над которым тогда работал. «Литература питается не настоящим», — вспомнилось мне. Для кого как. Для такого писателя, как я, важно ощущать некий трепет воздуха, шум повседневной жизни — это стимулирует мысль; возникают царапины, ниточки, на которых кристаллизуются внезапные идеи, образы.

Была еще другая сторона проблемы, которую Хазанов ощущал болезненней, чем я: основной читатель у него, как и у меня, оставался в России. В своих письмах он не раз повторял, что не представляет себе, для кого пишет, не понимает, в чем внешний смысл его работы, — просто не может не писать.

Мы продолжали обсуждать эту тему среди многих других в нашей переписке, которая стала особенно интенсивной с появлением электронной почты. Как-то Файбусович прислал мне номера только что начавшего выходить в Германии журнала «Зарубежные записки». Публиковавшиеся здесь авторы жили в разных странах, в том числе и в России. Читая их, я чувствовал, как изменилась ситуация со времени наших дискуссий с Хазановым на «Немецкой волне» и «Свободе». Эмигранты уже не были политическими беженцами, они могли свободно приезжать в Россию, как приезжал теперь сам Файбусович, и при желании уезжать — или оставаться, как делали некоторые. «Я бы не стал говорить, как ты, что продолжают все-таки существовать две русских литературы, в метрополии и за рубежом, не вижу между текстами существенной разницы», — написал я ему (1.9.05).

Файбусович ответил мне в тот же день. «Вопрос (если он вообще существует) о двух потоках русской литературы или даже двух литературах всё же заслуживает обсуждения; мне кажется, в этом тезисе что-то есть. И связано это, в частности, с неоднородным жизненным опытом пишущих. Общее российское прошлое разошлось по двум руслам. Качество и букет вина зависит от сорта лозы, но в ещё большей степени от местного климата, солнечного режима и почвы. В литературе «почва» — это жизненный и культурный опыт писателя. На русское детство и юность накладывается — как бы ни сопротивлялись ему — совершенно новый и неслыханный опыт. Это опыт эмиграции. Я говорю именно об эмиграции, которая и сейчас представляет собой нечто отличное от поездок, от пребывания за границей в качестве участника фестивалей и симпозиумов, лектора в заграничных университетах, от туризма и гощения у живущих на Западе родственников и т. п. Психология экспатрианта — дело совершенно особое и даст себя знать у одних раньше, у других позже. Разница между реальной жизнью в Западной Европе и в России — когда оказываешься «в чреве китовом», внутри этой жизни, — всё же таки достаточно велика, и это, конечно, отдалённость взаимная.

Само собой, в таких рассуждениях невозможно не оглядываться на самого себя, даже принимать себя — невольно — за правило, и всё же мне кажется, что тут есть и что-то общее, присущее многим. Мы с тобой слишком хорошо знаем, что главный поставщик сырья для литературного творчества — память. Всё остальное — фантазии, книги, свежие впечатления, актуальные события — лишь вспомогательный материал, не так ли? Но (как сказано в Талмуде), быть может, справедливо и обратное: писатель впитывает и перерабатывает впечатления несущейся жизни, память о прошлом играет подсобную роль.

Можно сказать иначе, разделив роли. Автор, живущий в своём отечестве, — по крайней мере, русский автор, традиционно не затворяющийся в своём кабинете, — питается реальной действительностью. Эмигрант черпает материал из закромов памяти. Оба утверждения (вполне тривиальных) не так уж противоречат друг другу, у них есть общий знаменатель — жизненный опыт писателя, опыт, в котором все времена сплавлены.

Можно прожить за границей пять, десять или двадцать лет, приехать погостить на родину и убедиться, что при всех огромных переменах мало что по существу изменилось: старые друзья остались друзьями, переулки детства всё те же, хоть и с другими вывесками; те же липы, те же дворы, те же лица, и все кругом говорят по-русски, смеются по-русски, толкаются по-русски. Тот же мат, древний, как сама Россия. Всё твердит о прошлом, воскрешает детство, юность; выхватываешь из увиденного то, что носишь в себе; и кажется, что бродишь среди видений прошлого.

Но, как ландшафт меняется, стоит только солнцу скрыться за тучей, отечество меняет свой облик, как только гость погружается в эту жизнь, ходит и ездит, и встречается с разными людьми. Он начинает понимать, что он не свой, но именно гость, и относится к нему как к гостю; про-

изошла смена местоимений; когда ему говорят: мы, у нас, то все понимают, что он исключён из этого «мы», он принадлежит «им», а не «нам». Оказалось, что за эти годы, сам того не сознавая, он превратился из иностранного русского в русского иностранца. Как у Ахматовой:

...Бежим туда, но (как во сне бывает)
Там всё другое: люди, вещи, стены,
И нас никто не знает – мы чужие.
Мы не туда попали...

В чём дело? А дело в том, что его житейский и жизненный опыт более не совпадает с жизненным опытом соотечественников. Хуже того: он противоречит их опыту. Ты сбежал, тебя не было с нами, когда у нас происходило то-то, совершались великие события, – вот что хотят ему сказать. Вас не было там, где я был, вы понятия не имеете о мире, где я живу, даже если вы и катались туристами по европам, – думает он. Мы умчались вперёд, а ты опоздал на поезд и остался стоять на платформе. Твои часы показывают прошлый век. Нет, – хочет он возразить, – это мой экспресс уже давно в пути, это вы топчетесь на платформе. Обе стороны правы».

«Мое суждение о количестве русских литератур, – отвечал я ему на другой день, – основывалось на текстах из присланных тобой журналов. Можешь ты по ним различить, где какая? Другим может быть материал, тема, и то не всегда, да и что это значит? Хемингуэй только начинал в Америке, потом всю жизнь писал об Италии, Франции, Испании, Кубе, Африке, становился все больше европейцем, оставаясь американским писателем. Как-то в Дюссельдорфе я беседовал с немецким писателем (забыл имя, ты тоже был на этой конференции), который живет во Франции, немецких газет даже не читает, его от них тошнит, как от всего немецкого, – но пишет по-немецки и издается в Германии. То, о чем ты пишешь, имеет отношение к тебе (и не только к тебе), к стране, но не к литературе. Внутри самой страны можно подразделить литературу по идеологическому (как любили говорить раньше, партийному, классовому), эстетическому принципу – от иных моих компатриотов я отличаюсь не меньше, чем ты. Принадлежим ли мы к разным литературам? Некоторые, может, вообще ни к какой».

Письма Хазанова-Файбусовича – эссеистика высокого европейского уровня. Свои электронные послания ко мне он с некоторых пор стал нумеровать, их количество уже исчисляется сотнями. «Я не вёл дневников, мои письма – аналог дневника», – написал он в присланном мне эссе «Родники одиночества». Для меня же продолжающийся разговор с ним – существенная часть моей жизни.

Поздравляя своего прекрасного друга с впечатляющим юбилеем, я могу лишь слегка перефразировать слова Гете, которые любил цитировать Томас Манн: нужно мужество, чтобы так долго продержаться. Особенно, добавлю, в наше время – и в такой творческой форме.

Редакция «Зарубежных записок» тоже поздравляет с юбилеем прекрасного писателя и нашего постоянного автора Бориса Хазанова. Благодарим за сотрудничество с журналом. Желаем ему здоровья, благополучия, человеческого и творческого долголетия.

ЛИРИКА

Дождь

Скользкий шелест. На траве улитка
рогатая, и смотрит, как живая;
и нежно улыбается поэту,
который растворяется в тумане.
Овал оврага. Дождь в кустах зелёных
так горько плачет...

Что за туманом? – Башенные шеи,
встревоженные голоса и всхлипы
вдоль раковин морских ушей, а также
пылящиеся гипсовые руки,
усеявшие побережье... Выше –
лицо луны – сквозь пелену и пену –
скривилось над большими валунами
холодных волн...
Прозрачный воздух льётся
на лоб скалы.
Пан в лиственном дурмане
следит за нимфой; мощные колени
дрожат от напряжения...
– Что дальше?
– Тростник развязки в нимбе серых капель.

Скользкий шелест. Заспанные нивы
лежат, прогнувшись, словно половицы,
под влажными подошвами... В тумане
петух и ангел падают с насеста.

Брюзжит и брезжит.

Лирика

Дальше больше, но больше не надо.
На ладони кристаллики яда.
И деревья вдоль белых террас
имитируют призрачность сада.
Балалайка в траве, как баллада.
Это раз.

18 лесных великанов
пьют вино из гранёных стаканов.
Девятнадцатый спит, как сова.
На лужайке, у самой дороги
он забыл свои синие ноги.
Это два.

Миссис Лирика штопает фразы.
У луны нехорошие фазы.
Вид снаружи и вид изнутри
одинаковы, если взглядеться –
потому тебе некуда деться.
Это три.

На высоких мостах

1

на высоких мостах
в заснеженных парках
среди изваяний...
да, среди изваяний
в заснеженных парках одной
безымянной любви
двух существ неизвестного вида
и неясного пола
на северном полюсе сна...

2

на высоких мостах
разводимых по числам нечётным
меж огромных сосулук
свисающих с белых небес
двое странных существ
оплетают друг друга хвостами
и не могут расстаться
о господи, я никогда
горше сцены не видел!
зачем эта снежная мука
этот лепет бессвязный
среди изваяний из льда?

Процессия

вот люди во фригийских колпаках
с огромными гитарами в руках
с нафабрёнными чёрными усами
куда они идут – спросите сами

а вот вожак означенных субъектов
верхом на псе неотразимый Некто

он режиссёр несочинённой драмы
его зрачки подобны пентаграммам

а вот и я, наполовину Голем
луна хохочет – до того приколен
в карманах осень, в сердце бестиарий
под мышкой тексты, а во рту динарий

* * *

Вечерело. На огненной джонке
погружалось светило во тьму.
День спускался к Источникам Жёлтым –
только это осталось ему.

Распечатывал ветер сердито
бандероль золотого дождя.
Красный феникс, дракон из нефрита
вышивались на платье вождя.

И какие-то смуглые тени
пробегали по мёртвым листьям,
приобщались к лирической теме,
уходили в слепящий астрал.

Расставались, клубились, кидались
за облитую светом черту.
И сурового вида китаец
измерял их по сторону ту.

Борису Поплавскому

«За стеною жизни...» – никогда не
говори о том, что за стеною.
По бульварам листья раскидали –
золотые с алою каймою.
Видишь лица тёмные пустые?
В изголовье осени – рябины...
Над водой качаются мосты и
статуи в помёте голубином
по аллеям ходят, по аллеям.
На колени падают и плачут.
Выезжают духи из молелен,
призраки на бирюзовых клячах.
Дворники костры разводят, видишь?
Говорят на варварской латыни.
И дрейфует в небе то ли Китеж,
то ли я не знаю, да и ты не...
Жёлтый, а потом ещё багряный.
Витражи из музыки и боли.
Это цепенеют тополя на
старой фотографии в альбоме.
Ну, не старой. Года три тому как...

На скамейке скалится мужчина.
Точно ангел выстрелил из лука
и стрела от сердца отскочила.
Точно параллельно, параллельно
всё тебе и, криво улыбаясь,
подаёшь растяпе парабеллум
или что там, я не разбираюсь.

* * *

Может быть, ты еще жив... Но это уже не важно.
Многие здесь не любят тебя – это их дело.
Смотри, как бушует снег, как медленно и вальяжно
в серебряном кресле бурь, не имея предела,
откидывается день... Какие, к дьяволу, бури?
Не знаю. Спроси у тех, кто стоит за порогом
на хрустальных ногах, или у той бабули,
вяжущей свитера хмурым единорогам.
Смотри, как падает луч в обморок. И оттуда,
где расставляют сеть снежному человеку,
движется караван из одного верблюда,
вмёрзшего в реку.

НЕВСКИЙ СПЛИН

РАССКАЗ

Насте

J. P. Chenet... Виноградники южной Франции... Год сбора урожая – 2002-й... Вкус?... Хм... Генка сказал бы: так себе... А мне кажется – вполне прилично... И бутылка забавная – снизу пузатая, а горловина, посмотри-ка, вытянута, да еще и с элегантно кривизной: словно гарантия легкого опьянения...

Жаль, ты ничего не понимаешь в красном вине. Я тоже, признаться, мало толку в нем знаю. Вот Генка – он знает. Или умеет делать вид... Я тебе рассказывал, как мы с ним ходили в итальянский ресторан? Это когда он в командировке здесь был. Пригласил меня поужинать – да не в рядовой ресторанчик, какие на каждом шагу в Мюнхене, а в небольшое заведение, о котором он в путеводителе вычитал – «с особенно изысканным выбором вин и блюд итальянской кухни».

Видела бы ты, как он просматривал карту вин. Словно держал в руках забытую записную книжку с именами любимых женщин: улыбался, головой кивал, языком тихонько цокал, один раз застонал и только дважды вопросительно передернул плечами. Наконец, заказал бутылку – евро за пятьдесят-шестьдесят, а то и дороже. Представляешь? Деньги девать некуда или апломб дороже денег... И вот ее принесли. И тут началось.

«Синьор...» – официант показывает бутылку.

Генка неторопливо читает с этикетки вслух, в каком году изготовлено вино, затем делает одобрительный жест.

«Синьор...» – по выражению лица и интонации заметно, что официант рад видеть перед собой тонкого ценителя.

«Запомни этот год, – наставляет меня Генка. – За последнее пятилетие он был самым удачным для виноделия».

«Синьор...» – официант протягивает чуть наполненный бокал.

Геннадий Витальевич (Генкой его в этот момент называть уже не решаюсь) медленно отводит руку в сторону, бокал чуть наклонен, он держит его за длинную ножку, не касаясь пальцами дна, – любитесь цветовой гаммой, потом слегка взбалтывает содержимое и приближает бокал к губам, это обратное движение он совершает чуть быстрее, словно пытаясь всколыхнуть застоявшийся вокруг воздух, чтобы в его освеженном потоке еще до глотка втянуть в себя легкий аромат вина...

«Синьор...» – официант почтительно прижимает правую руку с накрахмаленной салфеткой к груди.

Даже мне становится не по себе, и я замороженно смотрю, как Геннадий Витальевич делает, наконец, глоток, выдерживает маленькую задумчивую паузу – не больше и не меньше необходимого. Легкий выдох... Я машинально сглатываю слюну. Одобрительный кивок... Я спохватываюсь, что сию секунду спущу плечи. Бокал медленно опускается на стол...

«Синьоры...» – официант наполняет наши бокалы: чуть меньше половины – и с достоинством удаляется. У них в заведении редко встречаются случайные посетители...

Ритуал... За пятьдесят-шестьдесят евро... На эти деньги ящик *J. P. Chenet* можно купить! Представляешь? Минимум двадцать бутылок!.. Ах, тебе все равно, ты ведь не пьешь... Только снисходительно смотришь, слушаешь, иногда дремлешь под мою болтовню – я ведь вижу... Ах ты милая моя... единственная... Сейчас мы музыку включим – негромко...

Хорошее, кстати, оказалось вино. И цена не кусается. Сделано из двух сортов винограда: *Cabernet* и *Syrah*. Видишь, что тут написано: рекомендуется к жареному мясу или сыру, температура при сервировке 15 – 16 градусов. Что еще нужно?

Да будь у меня лишние деньги, все равно не стал бы следовать Генкиному правилу: ниже двенадцати евро за бутылку ни в коем случае не опускаться. Ну... у него высокооплачиваемая работа, бизнес какой-то, заграничные командировки... Да и позерства новорусского, с которым теперь многие на Запад приезжают, ему не занимать: требуют всего самого дорогого и расплачиваться любят крупными купюрами... А когда он студентом был, «Совиньоном» советского пошиба за рубль двенадцать копеек с приятелями обходился.

Впрочем, не знаю. Он ведь в Москве учился, я в Ленинграде, мы с ним позже познакомились. Теперь он уже давно живет в Петербурге и разъезжает по всему миру. И ниже двенадцати евро не опускается.

А я на отметочке в две с половиной европейских монеты балансирую, хотя тоже, кстати, в бурге живу, да не в псевдоевропейском, а в настоящем – в самом предгорье Альп, в старинном Бурге Неизвестного Монаха.

Что ты так на меня посмотрела? Не знаешь разве, что обитали тут на берегу Изара божьи люди, а рядом с ними городишко приютился – *при монахах*, так и получилось на их немецком: Мюнхен. И никакого тебе окна в Европу, потому как Европа – и слева, и справа, и сзади, и наискосок, и по ту сторону тоже Европа. И никакой сверхгосударственной идеи и принуждения... А всего лишь соляной перекресток и товарообменное дружелюбие: одним соль альпийская – “gerne”, другим хлеба с плодородных полей – “danke schön”¹, ну и вино, конечно, – это итальянцы первыми подсуетились. Рынок, одним словом, а вокруг домики, как грибочки, стали расти. Монахи на заезжих виноторговцев посматривают и посмеиваются, у них свое сусло в подвалах бродит, солодовое. Попивают себе пивко – и в окошко городком растущим любуются. Знают – не нужно местному человеку завозного вина, коли пивное дело у них так славно налажено...

А я человек не местный, заезжий, и хоть от пива не отказываюсь, но предпочитаю вино. Пива хорошо выпить не больше стакана, иначе мозги ватными становятся, ленивыми. В больших количествах оно подходит для веселья, для шумной компании. И только «под винцо» можно провести спокойный вечер. Знаешь, как две стареющие подружки – посидят, поплачутся под рюмочку друг другу на судьбу-злодейку и на прощание скажут: «душевно посидели», а то и «душевненько»... М-да... смешно и грустно... У нас с тобой это все-таки иначе – с таким, я бы позволил себе выразиться, интеллектуально-философским оттенком... неправда? Ладно, не смотри на меня так – знаешь же, что люблю порой состояние духа высоким слогом обозначить. Ну и что, если иногда и напиваюсь... Не каждый же раз... И потом... это не так легко... В этом деле, понимаешь, пограничная полосочка есть – такая узенькая, незаметная: чуть забудешься, увлечешься, и вот ты уже в других координатах, и назад пути не найти. А там тоже интересно, потому что все смещается – белое начинает буреть, грустное вызывать смех, случайное будить скорбь или разжигать глубокую обиду, там даже буквы меняются местами, и

¹ Соотв.: охотно, с удовольствием и большое спасибо (нем.) – Ред.

латинская *v*, стоящая почти в конце алфавита, уступает место находящейся далеко впереди буквы *f*. И тогда вместо *in vino veritas* к концу второй бутылки мы получаем *in vino feritas*²...

Ах, не пьянством и велеречием грешен, а склонностью к раздумьям... Вино и вправду помогает собраться с мыслями. И скажу тебе по секрету: качество его не так уж и важно. Совсем дрянь пить, конечно, не буду – потом только изжога замучит, но недорогие вина массового производства, поверь мне, вполне пригодны. Ведь не от вкуса удовольствие получаем, а от *ри-ту-ала*. Для Генки это – ресторанная атмосфера, а для меня... Ах, мне просто нравится сидеть в этом кресле перед журнальным столиком при мягком свете торшера... Там, в полумраке – книжные полки, и негромко звучит музыка... Бокал? Предпочитаю круглый из прозрачного стекла, и чтобы ножка длинная... Некоторые, конечно, из стаканов пьют – и ничего им, но это все фармазоны... Как – кто такие? Страшные люди! *Он фармазон; он пьет одно стаканом красное вино...* И представь себе: *Он дамам к ручке не подходит...* А мы не будем обижать дам и останемся верны элегантному фужеру. Добавим к этому тарелку с ломтиками сыра, салфетку... Что еще?.. Ну и, конечно, – рядом должна быть ты... Иногда мы отключаем телефон, чтобы никто нас не беспокоил. Я ведь не всегда столь болтлив – правда? И тогда весь вечер у нас звучит только музыка. Все должно быть сбалансировано: настроение, вино, атмосфера... А если одна из составляющих выпадает, то и вечер проходит по-другому – с книгой, прогулкой или, на худой конец, у телевизора.

А они, мои новые соотечественники, пусть себе сидят по кнайпам и биргартенам³, пьют пиво литровыми кружками – одну за другой, и расппевают свои любимые куплеты:

В Мюн-хене стоит Хоф-брой-хаус –
Раз, два, вы-пил!
Там льет-ся из бочо-он-ков –
Раз, два, вы-пил!⁴

А мы тут, под торшером, тихо... под классическую музыку...

Я пью небольшими глотками. Когда подношу бокал к губам, вижу на поверхности вина отражения – вот мелькнул краешек торшерного абажура, скользнул луч от лампы... при желании можно увидеть свое лицо. В вино вообще нужно смотреться, как в зеркало – время от времени... Это важно, поверь... В пиве себя можно только утопить. Что может там отразиться поверх пены?

Тут и в Изаре ничего не отражается. И знаешь, почему? Потому что река протекает, как поросшая кустами по берегам канава, – сама по себе, и к городу никакого отношения не имеет. Это там, в Питере, река и город слились в неделимое... И все, что происходит в том городе, отражается в полноводной, разветвленной в своей дельте на множество рукавов реке. Зеркала в гранитном обрамлении... *Невы державное течение*... Ты не поверишь, но ширина реки напротив Зимнего дворца намного превышает километр. Это тебе не Изар... Иностранец, попадавший еще во времена Пушкина на берег Невы и на соразмерные ей петербургские площади, сразу понимал, что за этим городом лежат огромные пространства империи.

Ах, разве мог бы Растрелли построить на берегу Изара такой императорский дворец, как на Неве? А что делал бы в городке неизвестного монаха бедный Рос-

² Созвучные латинские пословицы: «Истина в вине» и «В вине дикость» – Ред.

³ Kneipe, Biergarten – соотв.: пивная, пивной ресторан под открытым небом (нем.) – Ред.

⁴ Из известной застольной песни: «In Mün-chen steht ein Hof-bräu-haus, eins, zwei, g'ssuf-fa. Da läuft so man-cher Fäss-chen aus, eins, zwei, g'ssuf-fa...» (нем., баварский) – Ред.

си, которому сама идея простора и соразмерности частей во многом подсказана Невой – ее размахом, игрой света, игрой отражений. Когда мюнхенский Кленце в расцвете своей славы был приглашен в Петербург, ему ничего не оставалось, как на задворках одного из российских ансамблей пристроить здание Нового Эрмитажа. И если бы не украшающие подъезд огромные фигуры атлантов, это здание никто бы и не замечал. Так-то.

Я, конечно, не без улыбки вспоминаю поэта Батюшкова, который под впечатлением победы над Наполеоном писал о том, что «цену Петербурга» можно понять тогда, когда увидишь «ветхий Париж и закопченный Лондон». Но полностью разделяю и принимаю его восторженное восклицание: «Единственный город!..» Строившийся изначально как великое подражание, сотканный из множества привнесённых элементов, Питер, несмотря ни на что, оказался не слепком, а уникальным творением... И обрати внимание: все это только благодаря чухонке Неве. Властная дама... с норовом... Все себе подчинила. Сыграла, как это смешно говорится в ученых книжках, *градообразующую* роль. Петр задумывал столицу на море, а получил город на Неве. И что ты думаешь? За целых три столетия там так и не смогли построить ни одной морской набережной. На Васильевском давным-давно начали что-то ковырять, но и до сих пор разве только собак там выгуливать можно...

Собаки пусть не обижаются, но этот бокал я поднимаю за Ее Величество Неву...

А Есенин взял и плюнул в ту реку. Остановился на Симеоновском мосту, посмотрел вниз на Фонтанку и плюнул – не стесняясь окружающих. Собой ли остался недоволен, или открылось ему что-то тягостное... Я очень даже верю, что там, в воде, как в живом зеркале, можно многое увидеть... Как в вине...

Что? Откуда я это знаю – про Есенина? Вычитал где-то, или Анечка рассказывала. До знакомства с ней город представлялся мне не более как чередой тянувшихся в разные концы улиц, известным набором исторических зданий, ну и – сеть трамвайных линий, веток метро... Немного истории, немного литературы, но все это было мало привязано к улицам, домам... Двигаешься, словно по карте маршрутов общественного транспорта. А с Анечкой... как бы тебе сказать... город стал иначе раскрываться, у него появилось другое измерение... Ну вот, послушай, например... У того же Симеоновского моста со стороны цирка ныряешь на набережной под широкую листву – справа дома в воде плывут: портики с надтреснутыми краями, колонны с размытыми очертаниями... И вдруг слева чуть впереди – пушечный выстрел, негромкий; вахта Михайловского замка салютует императору... Он уже давно мертв, задушен, забит в собственных покоях... А пушка салютует... Может быть, его тени... *Пустынный памятник тирана, забвенью брошенный дворец...* И Достоевский, совсем еще молодой, словно Гамлет в известной сцене, стоит в одном из сумеречных замковых переходов. «Россию любить надобно, – говорит ему Павел. – Матушка ее не любила. Из чванства правила. Петр ее любил». – «Человека любить надо», – осмеливается ответить Достоевский. «На каторгу пойдешь, – тихо продолжает царь. – Страдание тебе познать нужно...» И снова салютует вахта, и в смене декораций мелькают пушкинские кудри. Там, напротив, в доме, отражение которого колыхается в воде, словно привязанная к набережной лодка, он чувствует себя задетым, уязвленным покровительственным тоном *старших*. «Лицейский птенец», – представляет его очередному гостю хозяин дома Николай Тургенев. И вот уже жирный господин, вытирающий платком испарину, спешит облагодетельствовать: «Наслышан, наслышан... Подаете надежды... в дядюшкостихотворца, Бог-то даст...» И только Жуковский в углу чуть заметно ухмыляется... «А на каторгу непременно?» – глядя в пустоту, бормочет на другом берегу реки Достоевский...

Старенький автобус кряхтит, переваливается через Фонтанку по Пантелеймоновскому мосту. Анечка в длинном зеленоватом плаще, перехваченном пояском

на тонкой талии, чуть покачиваясь на острых каблучках, с микрофоном в руке стоит в проходе. Мы с Генкой сидим в третьем ряду. Кажется, он равнодушно смотрит по сторонам и совсем не интересуется Анечкой. Она – дочь знакомых его родителей, которые и наказали ему побывать на ее экскурсии: «Девочка умная, дочь Эдуарда Николаевича и Маргариты Павловны, из хорошей семьи». Сами они считались важными людьми в Москве, а Анечкины родители принадлежали к тому же партийно-научному клану в Ленинграде. Генке тогда на все это было наплевать. А может, и знал уже, что карьера и жена «из хорошей семьи» ему обеспечены – семейными традициями и домашними же связями, и пока просто гулял, неторопливо собирал материалы для диссертации, внушал родителям, что просиживает вечера в Ленинке, а сам...

Неплохое все-таки вино... Только когда слишком увлекаешься разговором, перестаешь замечать вкус... Нужно делать паузы. Я всего лишь дилетант в этом деле, но пытаюсь, хотя бы до половины бутылки, не опускать, как говорится, искусства до ремесла. Знаешь, тут все важно: глаза должны видеть цвет напитка, рука ощущать форму бокала, обоняние... С заложенным носом пить вино вообще не рекомендую... *Cabernet-Syrah*... Виноградная лоза с капельками росы... В прошлый раз я пил *Merlot*. Цвет у него был, пожалуй, более насыщенный, тоже рубиновый... Терпкость другая... И ни в коем случае нельзя сразу есть сыр. С началом глотка лучше чуть прикрыть веки, попытаться отрешиться от окружающих предметов, расслабиться... Маленькая медитация с мотивом виноградной лозы. Ну а потом уже можно потянуться за ломтиком сыра. И не торопясь снова вернуться к размышлениям или прерванной беседе.

Где мы оставили Генку? В Ленинке? Ха! Чаще его можно было застать вечерами на койке в одном из женских строительных общежитий. Кажется, ее звали Валентиной. «Представляешь, что будет, если мать проведает, – без особых, впрочем, эмоций сетовал он. – С лимитчицей связался! Аспирант из хорошей семьи!»

И в Питере на Анечкину экскурсию поплелся он без интереса, только чтобы родители отвязались. И меня для компании прихватил. И тут...

«Осторожно, листопад!»

Ты не знаешь, кому предназначались те предупреждения на перекрестках – трамваям или пешеходам? Ах, откуда тебе знать! Вывешивались они осенью в темно-зеленых будках, там внутри сидели скучающие женщины и время от времени кнопками переключали трамвайные стрелки, а если кнопочки не срабатывали, они выскакивали из будок с ломиками в руках и переводили рельсы вручную. А за стеклом в будках таблички висели: «Осторожно, листопад!» Может, они автомобилистов предупреждали, чтобы заранее притормаживали перед трамвайной остановкой? Трогательно, правда?..

Сейчас мне кажется, что в тот год их специально для меня повсюду развесили: позади осталось суетливое, но, в общем-то, пустое лето (рутинное хождение на работу, по выходным шашлыки на дачах у друзей, два-три случайных поцелуя), уже появлялось тоскливое предчувствие долгой зимней спячки, и тут вдруг – *унылая пора, очей очарованье*... Пик золотой осени и последняя надежда: что-то еще может сдвинуться с мертвой точки, вокруг которой кольцом сжалось мое одиночество. Опасное время... Может ведь сдвинуться так, что и сам рад не будешь...

Сдвинулось. Я влюбился – сразу и по уши. Безответно и навсегда.

Все! Пауза. Медитация... Виноградная лоза, искрящаяся капельками росы...

Итак, автобус переваливается через Фонтанку по Пантелеймоновскому мосту. Анечка, чуть покачиваясь на острых каблучках, с микрофоном в руке стоит в проходе. Генка смотрит куда-то в сторону, я слушаю Анечкин рассказ и вслед за движением

ем ее руки оборачиваюсь к Летнему саду. В памяти всплывает затерявшееся: *пышное природы увяданье...* Я толкаю Генку в бок – Летний сад! Он послушно оборачивается и кивает головой – неплохо...

Мог я ли тогда себе представить, что три года спустя мы с Анечкой, грустные, почти без слов, будем идти по тому же саду, присыпанному первым рыхлым снегом, и у нее вырвется: «Неужели ты сможешь *отсюда* уехать?»

К тому времени этот маршрут стал одним из наших любимых: мы встречались на Невском возле метро – на мостике у Дома книги – и шли вдоль канала к Спасу на Крови, сворачивали в Михайловский сад, оттуда выходили на Садовую – как раз напротив замка, где Анечка, наверное, в силу своей профессиональной привычки каждый раз непременно показывала мне окна спальни Павла, и я, стараясь опередить ее, со смехом вскрикивал, что уже знаю, знаю, там его убили... и дальше, у *вазы порфирной* мы обходили пруд слева и шли в сторону Невы вдоль Лебязьей канавки. Там после долгого молчания и вскрикнула: «Неужели ты сможешь...»

Она понимала, почему я *отсюда* решил уехать, и больше мы не касались этой темы.

«Спасибо за книгу», – она все время смотрела в сторону или просто под ноги, в снег. Я принес ей на прощание «Петербург» Андрея Белого, который она еще не читала, и открыл заложенную страницу.

Хмурился Летний сад.

Летние статуи поукрывались под досками; серые доски являли в длину свою поставленный гроб...

Николай Аполлонович, надушенный и начисто выбритый, пробирался по мерзлой дорожке, запахнувшись в шинель: голова его упала в меха, а глаза его как-то странно светились; только что он сегодня решил углубиться в работу, как ему принес посыльный записочку; неизвестный почерк ему назначал свидание в Летнем саду...

Ты слышала, что во Франции придумали: собираются клонировать виноградную лозу. Мало им козы – или кого раньше клонировали? Теперь генная инженерия на виноград нацелилась; обещают, что от вредителей он будет защищен и свойства свои в полноте сохранит. Надо бы еще выпить, пока нам клонированного вина не подсунули. Пауза!

А знаешь, почему вино хранят в лежачем положении? Чтобы пробка намокала и тем самым препятствовала даже малейшему проникновению воздуха. Это уже потом воздух важен – для ощущения аромата и вкуса. В плохо закупоренной бутылке он только убивает вино... Ах, тебе это неинтересно. Как всякому существу женского пола, тебе интереснее узнать, что там у меня с Анечкой было. Какой она была?

Ничего особенного... Девушка как девушка, невысокая, кареглазая, волосы очень красивые – густые, шатенка. Кость у нее была тонкая, и это придавало ее фигурке впечатление хрупкости. Но не худобы – Анечка была удивительно пропорционально сложена, я бы даже сказал – изящна. И говорила легко, непринужденно, смеялась звонко. Редко бывала в плохом настроении, любила подтрунивать надо мной. Сейчас мне кажется, что я никогда не разговаривал с ней в том спокойном тоне, какой привычен для часто встречающихся людей. Я всегда *спешил* что-то рассказать – увиденное, услышанное, прочитанное. Или доказать, или обрадовать, удивить. «Вчера, – кричу ей в трубку, – не поверишь, на Желябова в “Рапсодии” без очереди взял Баршай – “Времена года”, две пластинки! Для тебя и для меня!» Мне и сейчас легко представить, как на том конце провода Анечка недоверчиво посмеивается: «Ну, этого просто не может быть...»

Еще студенткой филфака она стала подрабатывать экскурсиями, и потом, после окончания университета, не захотела бросить эту работу. Родители расстраивались: аспирантура, научная или преподавательская карьера – все двери перед ней открыты их связями и положением, а она в пыльных автобусах бисер мечет... Это, кстати говоря, буквальное выражение ее мамы, Маргариты Павловны.

Анечка переживала, ее вообще задевало, что отношение к краеведению в научных кругах было по большей части снисходительное. «Сейчас в краеведении подвизаются любители и дилетанты, это так, – почему-то виновато поясняла она мне, – но вспомни Гревса, Анциферова, Яцевича! Они-то ведь были великими культурологами и отводили экскурсии важную роль». Иногда она словно спорила при мне со своими невидимыми оппонентами, и это были те редкие случаи, когда у нее появлялись пафосные интонации Маргариты Павловны: «То, что дает посещение исторических мест, никогда не возместится простым чтением источников, как никогда не даст ощущения вкуса написанная в учебнике формула H_2O . Это явление называется *властью места*, его великой силой, открывающей путь к постижению образа события. Образа, духа!.. Анциферов писал о *душе* Петербурга... Как ты думаешь, можно ее почувствовать, не побывав в этом городе?»

Мы могли с ней часами бродить по Ленинграду: Петроградская сторона, Аптекарский и Каменный острова, набережные Мойки и Фонтанки, Васильевский... – все нами было по многу раз исхожено за те три года. Для Анечки это была родная стихия. Нет, она не рассказывала мне про каждый дом или улицу. Или рассказывала, но не всегда, чаще экспромтом касалась чего-нибудь или отвечала на мои вопросы. Мы могли говорить о музыке, театре или просто о себе и своих друзьях, но никогда не теряли ощущения, что движемся в напластовании культурных слоев, топографическими координатами которых становился дом старухи-процентщицы или Елагин дворец, кондитерская Вольфа и Беранже или кронверк Петропавловки.

Несколько раз мы ходили искать здания, которые Анечке нужны были для разработки новой экскурсии. Помню, как подолгу бродили по ее будущему гоголевскому маршруту. Частично он должен был проходить между Мойкой и Екатерининским каналом – по Вознесенскому проспекту и прилегающим улицам и переулкам, где среди мелких чиновников, модисток, купцов, кухарок и портных Гоголь прожил несколько лет. Сам он называл эти кварталы улицами «мещанских и мелочных лавок, немцев-ремесленников и чухонских нимф». «Где-то там, – показывала Анечка в сторону Вознесенского моста, – жил цирюльник Иван Яковлевич, бривший по утрам несчастного “майора Ковалева”, а на мосту сидела торговка очищенными апельсинами. Это про нее говорил Ковалев, что она могла бы тут и без носа посидеть, ей это ничего, а ему это совсем не к лицу». Вечерами, дома, я перечитывал повести Гоголя и заново узнавал места, где, заинтригованный тайной переписки собак, бродил в раздумьях чиновник Поприщин, где из всех мелочных лавок несло кислой капустой и подлые ремесленники напускали в мастерских столько дыму и копоти, что тому же Поприщину или Ковалеву – особам «благородным» – там решительно невозможно было прогуливаться, где жили Шиллер и Гофман – да всем не те, что известны своими сочинениями, а знаменитые в своей округе мастера, один жестяных дел, другой сапожных. Мы снова шли с Анечкой по этим улицам, и она показывала мне, как пересекаются здесь пути гоголевских персонажей и героев «Преступления и наказания».

Надо ли говорить, что с самого начала я интересовался не столько городом, сколько Анечкой? Просто город всегда оказывался рядом, она не расставалась с ним. И за это я ей тоже благодарен. За прошедшие двадцать с лишним лет я, может быть, ни разу не вспомнил и не представил Анечку вне питерского пейзажа. Это мог быть весенний Павловск или белый от снега и инея Кировский проспект, душный Невский с плавящимся асфальтом... Ах, все это не так просто... и про го-

род тоже... Не знаю, смогу ли тебе объяснить, но... но сейчас, кажется, нужно вернуться к вину...

Мои друзья считали Анечку инфантильной. Как это лучше выразить? Нецелованная в свои двадцать три года скромница среди замужних или уже разведенных подруг. Я не прислушивался к этим мнениям. Но... В те немногие разы, когда мне удавалось ее обнять, она всегда сжималась в комок. Упустив возможность избежать моих объятий, она замирала, словно напуганный птенец. Ни одного ответного движения, никаких эмоций; робость, затаенное дыхание и напряженное ожидание того мига, когда снова будет свободна...

Мы стоим на Зимней канавке, как раз посередине; она ведь не длинная, эта канавка, и с одной стороны можно видеть плавный гранитный изгиб Мойки, а с другой – в арочной рамке эрмитажного перехода – Неву и крепость. Хмурое осеннее небо, ветрено. Если бы ты могла видеть Петербург в эту пору! Особенно в тот час, когда только начинает смеркаться, когда... Как там у Гоголя...

как только сумерки упадут на дома и улицы и будочник, накрывшись рогожею, вскарабкается на лестницу зажигать фонарь...

Клочковатое небо, проглядывающее из-за серых и темных туч, начинает терять свою прозрачность. Тени растворяются на тротуарах – дневные уже исчезли, а миг появления вечерних еще не наступил. Вода в канавке только что переливалась серебристым оттенком – и вот уже приобретает сумрачную свинцовую окраску.

Набережная пуста, вокруг тихо, и только за углом на бывшей Миллионной слышится легкий шум, почему-то вызывающий тревогу. Что это?

...дрожек отдаленный стук
С Мильонной раздавался вдруг...

Не Анечку ли в компании с молодым офицером-преображенцем уносят от меня те дрожки?

Анечка смеется, она стоит рядом и продолжает рассказывать какую-то забавную домашнюю историю. Я беру ее за руку, чуть притягиваю, тянусь губами к ее лицу. «Пойдем, – мягко освобождаясь, произносит она, – темнеет и прохладно...» Забавная история не имеет продолжения – Анечка угрюмо молчит, мы снова коснулись того, что мгновенно разрушает нашу дружескую идиллию. Молчаливо переходим Певческий мост, вдоль Мойки выходим к шумному Невскому, а я все еще слышу за спиной легкое постукивание колес по торцовой мостовой...

Как ты думаешь, почему мы все время по городу бродили? Ну, не каждый, разумеется, день, но раза два в неделю встречались непременно: в один из выходных почти всегда и иногда вечером в будни, после работы. Если было холодно, сидели в кафе, потом проходили немного пешком или проезжали пару остановок и снова укрывались в какой-нибудь кофейне – «Маленький двойной, пожалуйста. Две чашки». Говорили обо всем, обменивались книгами, пластинками... А домой друг к другу заходили редко. Думаю, тебе понятно – почему. Та история на Зимней канавке объясняет все... Так что, милая моя, город, по которому три года бродил я с Анечкой, был моим утешением и моим проклятием: без него у меня не было бы той девушки, которую я любил, но он оказался и тем третьим лишним, от которого невозможно было избавиться. Со временем он стал моей мучительной ношей, тяжелым сном...

Все, не надо больше ничего говорить. Я тебе сейчас стих прочитаю.

Мне холодно. Прозрачная весна
В зеленый пух Петрополь одевает,
Но, как медуза, невяская волна

Мне отвращенье легкое внушает.
По набережной северной реки
Автомобилей мчатся светляки,
Летят стрекозы и жуки стальные,
Мерцают звезд булавки золотые,
Но никакие звезды не убьют
Морской воды тяжелый изумруд.

Все, не надо слов. За Мандельштама!

Анечка с удовольствием приглашала меня в компанию своих друзей или шла со мной в гости к моим знакомым, но и это продолжалось недолго. Тут уж я сам принял твердое решение никуда с ней не ходить. Не хотелось выглядеть смешным... Особенно после того, как одна из ее подруг, подняв за столом тост «За любовь!» и чокаясь со мной, добавила с улыбочкой, громко: «Ну, если у девушки нет возлюбленного, то должен быть хотя бы паж». Паж! Что она понимала, эта подружка!? А мои друзья? Были ли они лучше, когда сочувственно спрашивали меня: «Ну, что там у вас? Все еще ничего?»

Пару раз я ужинал у ее родителей. Но и там меня не воспринимали всерьез – не столько потому, что успели понять, что для Анечки я всего лишь друг и таковым, по-видимому, и останусь – с этим-то Маргарита Павловна могла бы при желании и побороться, но и она не видела во мне достойного ее дочери жениха. И вправду – что там за инженеришка-конструктор из захудалого КБ. Впрочем, Маргарита Павловна в любой ситуации умела оставаться женщиной светской: «У вас еще все впереди, прорветесь в аспирантуру, не всю же жизнь у кульмана корпеть... А эти эклеры из “Норда”, да вы берите... не стесняйтесь...» Будто я стеснялся... Но повторяла это не раз – дистанцию обозначала. «Норд» произносила немного в нос, но я не знаю, что меня больше раздражало: все эти ее «Метропо-оли» и «Англете-эры» – или с легким дребезжанием голоса отчеканенные «ученый совет», «бюро обкома», «президиум», «комиссия»... Даже при обращении к дочери и к менее преуспевавшему в карьере мужу все эти слова произносились так, что становилось понятно: на Олимпе восседают избранные. Жалею, что ни разу не спросил ее, что именно она так изысканно «Нордом» называла, не кафе ли «Север»?..

Яичница распласталась рыхлым блином по тарелке, я макал в ее желтый глаз ломтики булки. Анечка улыбалась: «Вкусно?» Она совсем не умела готовить и считала свой экспромт чуть ли не верхом кулинарного искусства. «Тебе бы в “Метрополь” поваром устроиться...» – отшучивался я. Вкусно ли? Я был на вершине блаженства. Представь себе: она приготовила для меня яичницу – из двух яиц, выбрала тарелку – кажется, с каемочкой, минуты три искала чистую вилку, поинтересовалась, нужно ли мне масло для булки, а увидев в холодильнике соленые огурчики, тут же предложила мне один и, наконец, села напротив с веселым и заботливым взглядом и спросила: «Вкусно?» Этакая маленькая домашняя идиллия – впервые. В четыре часа утра! Да-да – было не меньше четырех утра, и за окном – июнь и белые ночи. Ха, ты подумала, что на этот раз мы сумели-таки избавиться от нашего компаньона – третьего лишнего. Ничуть! Во-первых, до этого мы долго гуляли, как не трудно догадаться, по ночному городу, а во-вторых, с нами сидела Лена – Анечкина приятельница, в ее квартире все это и происходило.

Как – откуда она взялась? Из нашей истории и взялась: с нами же обязательно должен быть кто-то третий. Если понадобится, он и из пустоты возникнет... Раньше я никогда Лену не видел. Помню только, что Анечка называла ее давнишней знакомой – жили они, вроде, в детстве в одном дворе – и озабоченно добавляла, что

ее мужа-инженера призвали в армию, а она не захотела с ним поехать и вдруг загуляла, и на каждом шагу ему *изменяет* (это слово Анечка произносила шепотом и с ужасно расстроенным выражением лица). Кажется, она была симпатичная – эта Лена, но я не разглядывал особенно. Ходит себе рядом, и пусть, раз Анечка ее с нами позвала. Если бы она еще и не ныла на каждом шагу. То ей облачность большой кажется, то прохладно ей... Мы переглядывались с Анечкой – нас не смущали облака, и ночь казалась теплой... Мы гуляли с одиннадцати вечера, сначала на Дворцовой набережной, потом, в последний момент перед разводкой мостов, перебрались на Васильевский, со Стрелки смотрели, как медленно поднимается тяжелый пролет Кировского моста и как потом пошли вверх оба крыла Дворцового. Наконец, появились первые баржи, и мы пошли за ними по набережной в сторону моста Лейтенанта Шмидта. Кто-то еще сказал тогда, что мы сопровождаем корабли, как дельфины в море... Ну хорошо, не буду лукавить – это я сказал. Сейчас это смешным может показаться, но тогда меня немного укачивало от мысли, что мы с Анечкой наконец-то оказались впервые вместе ночью, пусть на улице, пусть в компании подружки, гуляющей публички, тех же зданий, реки и набережных, но все равно – впервые так... Я шутил, смеялся, сыпал банальными репликами, а у сфинксов напротив Академии художеств, к собственному моему удивлению, стал подпевать двум подросткам, с остервенением терзавшим гитары.

Там, в городе, легкое нытье Анечкиной приятельницы немного мешало нам обоим, здесь же, в собственной квартире Лены, ее присутствие начинало уже раздражать; но, разумеется, только меня.

Они оставили меня доедать яичницу и пошли в другую комнату укладываться спать. Некоторое время в коридоре еще раздавался шум, слышны были голоса, потом стало тихо. Затем снова послышались шаги – в сторону ванной. Не было сомнений – они принадлежали Анечке. Я подождал немного и вышел из предоставленной мне комнатки в тот самый момент, когда она снова оказалась в коридоре. На ней был светлый халатик, чуть запахнутый. Я притянул ее крепко к себе и впервые встретил сопротивление. Раньше она всегда сжималась, как воробышек, и я отпускал ее. А тут почти сразу уперлась в меня обеими руками. И от этого резкого движения халатик ее распахнулся... «С ума сошел», – тихо прошипела она и ударила меня кулачком по плечу. «Давно сошел», – почти выкрикнул я, опустив руки.

Проснулся через три часа. Хлопнула входная дверь, и я сразу понял – Анечка ушла. Ну да, она ведь говорила, что уйдет рано, ей чуть ли не в восемь нужно забирать группу туристов у речного вокзала. Я вспомнил, как распахнулся халатик – там, в коридоре. И ее шипящий тихий вскрик: «с ума сошел»... Короткую ночь разделяла нас тонкая перегородка. Впервые так близко... Она спала там – наверное, подперев щеку кулачком, которым ударила меня. Сладко потягивалась? Легко дышала? И проснулась от звонка будильника, а не от моего поцелуя. А если бы проснулась от моего поцелуя, то снова бы ударила меня?

Я встал со своего диванчика и вышел в коридор. Дверь во вторую комнату оказалась открыта, и я увидел Лену – спящую с чуть приоткрытым ртом. Она лежала на боку под тонким летним одеялом, чуть поджав под себя ноги...

Я сам рассказал Анечке обо всем, что случилось дальше. «Этого не может быть», – она смотрела на меня оторопело, и я ждал, что сейчас ее кулачки сожмутся и снова упадут на мои плечи. Нет, руки ее безвольно висели вдоль тела. «Этого не может быть! – повторила она. – Ты не мог этого сделать!» – «Я ничего и не сделал, она меня оттолкнула, я оделся и ушел». – «Сделал!» – почти гневно вскрикнула Анечка, резко повернулась на своих каблучках и исчезла в толпе.

Пауза. Будем смотреться в вино, как в зеркало – время от времени. Или ты не согласна с Данте? Как – при чем тут Данте? Разве не он говорил, что с начала «Зарубежные записки» №13/2008

творения именно вину дана та сила, которая призвана делать светлее тенистую дорогу истины? Помолчим...

Видела? Пока я тебе про Данте втолковывал, машинально выпил все залпом. Фу! Все опошил – ни аромата, ни вкуса... Придется повторить, извини...

Она не подходила к телефону. Маргарита Павловна всякий раз озабоченным тоном сообщала, что Анечки нет дома, что у нее сейчас друзья и неловко ее отвлекать, что она готовит новую экскурсию и очень занята, и лучше позвонить в другой раз, может, недели через две-три, что Анечка недавно пришла, но с головной болью, и потому прилегла отдохнуть... Я даже проявил малодушие: услышав по радио, что Маргарита Павловна избрана делегатом очередного съезда партии, тут же позвонил, чтобы ее поздравить. И если бы она в тот момент вдруг пригласила меня зайти («у нас как раз свежие эклеры из “Норда”, и Анечка вам будет рада»), я бы тотчас простил ей всю ее обывательскую спесь. Но она лишь сухо поблагодарила и быстро попрощалась. Потом к телефону перестали подходить вообще, и только позже я узнал, что Анечка с родителями уезжала на месяц в Юрмалу...

Это нетрудно себе представить: встречаешься с девушкой, и кто-то третий, вольно или невольно, с вами все время рядом. Потом девушка уходит, и ты остаешься с тем третьим один на один. И начинает казаться, что он – единственный, кто способен понять тебя, кто по меньшей мере терпим к твоему нескончаемому монологу о ней, готов переносить твой горячечный бред. Но вскоре замечаешь, что оказался в его власти – тебя непреодолимо тянет к нему, и сам он становится твоей мукой. И ты не знаешь, как от него избавиться... тем более, если этим третьим оказывается целый город – с реками, мостами, домами, людьми, деревьями, птицами, небом и ветром... Куда деваться, когда он по собственному своему капризу (не знаю, от чего это зависит – может быть, от погоды, цвета неба или сиюминутного оттенка воды в Неве) вдруг обращает свои прежние терпимость и участие в насмешку, а то и хлестко ударяет по твоему маленькому, уязвленному несчастной любовью «я». Таков он и есть, этот Питер.

Я ходил по его улицам и каналам, кружил по тем же местам, где бывали мы с Анечкой. Смаковал воспоминания... Вот тут она проходила со мной – на маленьких каблучках, в длинном зеленоватом плаще, перехваченном пояском на тонкой талии. В той подворотне прятались мы от июльского ливня в прошлом году. Там слепила снежок и звонко смеялась... Знаешь, как это у Аненнского...

Желтый пар петербургской зимы,
Желтый снег, облипающий плиты...
Я не знаю, где вы и где мы,
Только знаю, что крепко мы слиты...

И последние строфы, особенно безнадежные и безжалостные:

Ни кремлей, ни чудес, ни святынь,
Ни мирáжей, ни слез, ни улыбки...
Только камни из мерзлых пустынь
Да сознание проклятой ошибки.

Даже в мае, когда разлиты
Белой ночи над волнами тени,
Там не чары весенней мечты,
Там отрава бесплодных хотений.

Все в этом городе невольно примерялось и оказывалось впору моему страданию. И я думал, что только тогда оно кончится и восстановится прежнее равновесие в моих отношениях с городом, когда я снова встречу ее здесь, на его улицах.

Вечерами безуспешно обходил я читальные залы Публички, в которой прежде она иногда пропадала часами. В обеденный перерыв мчался к станции метро «Горьковская» – в надежде увидеть ее проезжающей мимо в автобусе; в это время она могла возвращаться по Кировскому проспекту со своими туристами с места дуэли Пушкина или с Пискаревского кладбища. Всякий раз постигала меня неудача. Иногда в толпе на Невском вдруг мелькала похожая фигурка, и я глупо ускорял шаги... Ускорял, чтобы лишний раз удостовериться, как прав был Гоголь, призывавший не доверять этому проспекту, *где все обман, все мечта, все не то, чем кажется*. Ах, если бы только Невский причинял мне столько страданий! Куда бы я ни направлялся, Питер играл со мной на каждом шагу: внушал надежду и тотчас ее отнимал, дразнил эхом ее каблучков, легкого смеха, отражением миниатюрной фигурки в водных зеркалах и даже вывесками, в которых так часто встречались буквы ее имени... А-не-ч-ка... Проклятый город! Он многих мучил, и Пушкину тоже досталось.

Свод небес зелено-бледный,
Скука, холод и гранит...

И дальше, опять же почти про меня:

Все же мне вас жаль немножко,
Потому что здесь порой
Ходит маленькая ножка,
Вьется локон золотой.

Кошмар продолжался все лето. В конце сентября я встретил ее – случайно на улице. Ждал именно такой встречи, надеялся увидеть печальной, бредущей в одиночестве по тем местам, где ходили мы вдвоем. Но нет... Начнем с того, что она не шла, а стояла. Стояла как раз там, где мы обычно встречались – на мосту у Дома книги, в двух шагах от входа в метро. И совсем не выглядела печальной. Она оживленно болтала с каким-то самодовольным пижоном. Не останавливаясь, обходил я их стороной и уже готов был отвести взгляд, как она заметила меня. Рука ее дернулась, будто хотела поприветствовать. Я промямлил «здрав...», чуть мотнул головой и пошел дальше. Кажется, я собирался войти в метро, но оказалось, что нет никакой возможности свернуть куда-нибудь или остановиться. Я мог действовать только по инерции – идти, как шел прежде, в том же направлении... Теперь я уже никого не видел вокруг. И лишь в какой-то момент показалось, что во встречной толпе мелькнуло лицо Маргариты Павловны. Кажется, она насмешливо поглядела на меня и, довольная, прошла мимо. На смену инженерийке-конструктору в задрипанном свитере, наконец-то, в их дом пришел достойный Анечки молодой человек – в костюме с галстуком и в хорошо отглаженной рубашке, «из хорошей семьи», хоть сейчас его на ученый совет, а потом в ЗАГС... Пришел и стоит теперь на моем месте – там, у Дома книги, на мосту. Неужели у нее не хватило такта, жалости, наконец, ко мне, чтобы избрать другое место для своих свиданий!? А-не-ч-ка... Теперь он смотрит в ее глаза, обнимает ее и, может быть, она уже не сжимается, как прежде, воробышком...

На Аничковом мосту (вот уж поистине несчастное созвучие с ее именем) пришлось все-таки остановиться. Песчинка или еще какая дрянь, поднятая ветром с широкого тротуара, попала в глаз...

А ты что подумала? Ну не мог же я сам по себе расплакаться – мужик в тридцатилетнем возрасте. Но эта маленькая провокация осеннего ветра сделала свое паршивое дело. Пришлось отвернуться от прохожих, уставиться в Фонтанку и укороткой вытирать глаза. Гранитные бока реки были влажными, как мои веки. Почему-то именно эта незатейливая ассоциация вызвала в гудящей голове неожиданную, но достаточно ясную мысль: я не могу больше жить в этом сером городе. Да, да – сером! Я вдруг понял, что это преобладающий его цвет: серый или даже грязно-серый; это цвет его набережных, решеток, неба, мостовых опор, фонарных столбов и тех, прежде радовавших глаз, колесоотбойных столбиков, сохранившихся у многих подворотен со времен экипажей и карет, это цвет отвратительного современного асфальта, выщербленной штукатурки старых домов на Васильевском, Петроградской, в Песках, цвет бесконечно тянущихся бетонных фасадов новостроек... Какой-нибудь зеленый Зимний или желтый Сенат – всего лишь пестрые заплатки на этом унылом, продуваемом ветром городском пейзаже. И вода вокруг не легкая и прозрачная, а темная, давящая...

Слезы и головокружение сделали свое дело – я еще больше ослабел, стал безвольным и почти невесомым. И потому совсем не удивился, когда новый порыв ветра подхватил меня, словно опавший осенний лист, и легко понес вверх. Хватило сил лишь слабо выкрикнуть: «Осторожно, листопад!..»

И знаешь, что я увидел сверху, когда открылся этот огромный, распластаный город, ставший на пути горделивой реки? Подо мной была извилистая нельская дельта, только теперь она походила на гигантского спрута, цепко обхватившего мокрыми щупальцами холодные кварталы.

Может быть, в эту отвратительную рожу и плюнул в свое время Есенин с Симеоновского моста, а вовсе не из озорства или недовольства собой?..

Где они – исхоженные Мойка, Фонтанка, Пряжка?.. Я видел внизу мерзкие шевелящиеся отростки – длинные и короткие, плавно изгибающиеся и ломаные... И счет шел не на единицы, а на десятки... Горожане с ними испокон веку боролись, и многие были уже давно ими обрублены, засыпаны и похоронены навсегда, оставшиеся зажаты гранитным камнем, но Неве и это оказалось ничем: что ей мелкая суета смертных, если она поставлена здесь выполнять свою работу перед лицом вечности?

Куда подевалась праздничность, воспетая легкость Петербурга? Почему в последние месяцы он всей тяжестью своего мокрого гранита ложился на мои плечи?

Ветер кружил меня над жилыми кварталами, а потом резко потянул в сторону Финского залива, и вскоре все, что составляло для меня этот город, – реки и каналы, Медный всадник и Исаакий, мосты и Петропавловская крепость, Анечка, мои родители, друзья... – все стало сливаться в единое темное пятно. Оно резко уменьшалось в размерах, пока не превратилось в крохотную точку. Впереди была видна только темная полоса горизонта, за которой прятались развенчаные некогда поэтом Батюшковым и недосягаемые для меня «ветхий Париж» и «закопченный Лондон»...

Когда я немного пришел в себя, понял, что стою на том же месте, судорожно вцепившись руками в решетку. Я попробовал было обернуться, в надежде рассмотреть в начале Невского легкий шпиль с золоченым корабликом, но тотчас уперся взглядом в клодтовских коней, которые угрожающе нависали надо мной своими тяжелыми копытами.

Ладно, ладно... ты скажешь, что нытье – удел неврастеников и несчастных влюбленных. Ты мне еще Гюго процитируй – о том, что меланхолия – есть наслаждение чувствовать себя достойным жалости. Может, и так... Но тебе просто незнаком тот город. А я скажу: в нем очень страшно оказаться вдруг одиноким и ненужным. Нева со своими подручными-щупальцами расправляется с такими потерян-

ными фигурками быстро и безжалостно: с одного шинель на ходу сорвет, другого разума лишит.

Хотел ли я повторять судьбу Акакия Акакиевича или несчастного Поприщина? Нет. Там, на Аничковом мосту, я принял решение.

Я закрыл глаза и перенулся через решетку. Нервный озноб еще не оставил мое тело, но голова становилась все более ясной, и все более прочным представилось мне только что созревшее намерение. Я открыл глаза и плюнул в воду.

Теперь я твердо знал, что уеду отсюда...

И что ты думаешь? Она позвонила мне – в тот же вечер! Как ни в чем не бывало спрашивает, почему мимо прошел. Что я отвечу? Мешать не хотел, ворковали себе, и ладно... А она удивленно: «Ворковали? С Максимом?»

С Максимом... Ну конечно же: у него должно быть именно такое имя... Костюм, галстук... Макс... Белая рубашка... Родители «с положением» в обществе... Макс... Норд... Папины «Жигули»... Макс... А кто там мимо прошел? Так это Гриша, мой знакомый, он из конструкторского бюро...

Я молчал в трубку. И Анечка замолчала, и мне показалось, что ей грустно. А потом она сказала: «Я его видела, наверное, всего второй раз». – «Ну уж...» – «Это Дмитрия Сергеевича аспирант, мы по делу встречались». – «И многие у тебя по делу Дмитрия Сергеевича проходят?» Странно, что она не положила трубку. Напротив – неожиданно хихикнула: «Гришка, а все-таки ты дурак».

Максим оказался аспирантом академика Лихачева, женатым, у него болел ребенок, и Маргарита Павловна, благодаря своим обкомовским связям, достала какие-то редкие лекарства, которые Анечка и передавала ему возле Дома книги.

Трагедия при ближайшем рассмотрении оказалась мелодрамой. Не Максима и не его больного ребенка имею в виду, а себя. Ни серый гранит и водная стихия, ни ветер и никакие случайные песчинки не были виноваты во всем том, что пережил я на Невском и Аничковом мосту. Адмиралтейская игла оставалась символом *строгого, стройного* Петербурга, а буйных клодтовских коней крепко сдерживали мускулистые красавцы, вспомнив которых, я снова свято уверовал в превосходство человека над стихией.

Одним словом, я легко поддался утешению. Особенно после примирительной фразы, намекающей на разлучившую нас на целых три месяца историю. Анечка произнесла ее с легкой усмешкой: «Все мужчины подлецы, я это слышала. Особенно блондины». Я был прощен.

Мы снова стали встречаться.

А дальше... Дальше – ничего интересного.

Если у девушки нет возлюбленного, то должен быть хотя бы паж... Пили кофе («Маленький двойной, пожалуйста. Две чашки»), обменивались книгами, бродили по городу, время от времени она сжималась воробышком, и тогда раздавалось неизменное: «Гриша, не надо, пойдем, уже поздно...» Все как и раньше. Только в этом нашем втором круге не было прежней непринужденности, свежести и неизведанности... Все вдруг несколько поблекло. И город стал таким же – не друг и не враг...

Я начал потихоньку собирать документы на выезд по израильской визе. Анечке до последнего момента ничего не говорил.

Что с ней дальше стало? А разве я не сказал? За Генку замуж вышла. Генкины-то родители давно этого хотели. Сам он большого интереса к Анечке не проявлял. Приезжал в Питер, мы встречались втроем. Про мои чувства он знал все. Тут и рассказывать нечего было – видел. Про себя ничего не говорил. Может, прикидывал что-то? А потом, уже после моего отъезда, раз – и женился. Ну а как же иначе? Он и раньше был уверен, что престижная служба и жена «из хорошей

семьи» ему обеспечены – семейные традиции, так сказать, клановость. Диссертация защищена, карьера, стараниями родителей, уже обозначена, вешки расставлены. Ему тридцать, Анечке двадцать семь – время уходит!.. Свадьбу в двух городах праздновали: в Ленинграде, потом в Москве.

Сейчас их сыну уже за двадцать... Анечка – доцент, экскурсионная работа давно оставлена ради восхождения на научный Олимп. Теперь она *Анна Эдуардовна*, Анечкой ее никто уже не называет.

«Добрый день, Анна Эдуардовна!»

«С интересом ознакомился с вашей последней публикацией, Анна Эдуардовна.»

«Слово предоставляется уважаемой Анне Эдуардовне...»

Генка фотографию показывал, я смотрел и не понимал: она и не она... Глаза те же, волосы такие же красивые, но как-то многое вдруг от Маргариты Павловны проявилось... И все же казалось, вот сейчас она чуть-чуть повернется, встряхнет головой, стрельнет своими карими глазами и скажет знакомым голосом: «Гришка, а все-таки ты дурак».

Я сейчас и вправду глупость скажу, но ты не смейся... Иногда я думаю, что если бы у Анечки родилась дочь, она была бы сейчас на ту девушку, которую я знал, очень похожа. И какой-нибудь напоминающий меня молодой человек ее бы встретил и обязательно полюбил. И может быть, на этот раз все было бы по-другому...

Но у нее сынок, и он бунтует. Анечка его в аспирантуру тянет, а он от отца требует, чтобы тот его в городскую администрацию пристроил. Новая генерация на подиуме нашего старого, классического Петербурга...

Ты знаешь... Когда мы с ней прощались, там, в Летнем саду, все статуи в деревянные ящики были зашиты. И, как сказал поэт, «серые доски являли в длину свою поставленный гроб...»

Я тебе теперь по большому секрету скажу: я в одном из этих гробов остался и до сих пор там стою, вместо статуи...

Потерявшаяся душа...

Публика не замечает, а умные собаки чувят – постоят рядом, поскулят сочувственно и дальше за хозяевами плетутся...

Ну вот... последний бокал... и больше ни-ни... Хочу только за моих четвероногих друзей выпить. Не возражаешь?

А тут еще Павел убиенный стал сниться... Будто забегает ночами в Летний сад меня проведать. Скучно ему столетиями по Михайловскому замку мыкаться, да и сыро там. Вот и повадился, как стемнеет, на Марсово поле к вечному огню – косточки погреть, а потом ко мне – поболтать о том о сем. «Россию, – говорит, – любить надобно...» – «Вы это уже Достоевскому внушали», – напоминаю ему. «И что он? Кто таков? Из преображенцев?» Постарел, забывчив стал и поворчать любит. «Сколько, – спрашивает, – ночному сторожу за место приплачиваете? Мои-то соколики-секьюрити, которых в замке понаставили, не по чину стали требовать – валютой...»

Я ему про Анечку, а он только отмахивается: «Ах, вы не знали фрейлины Нелидовой! Что ваша Анечка – простушка... Вы уж не обижайтесь, любезный... Да и худая она, судя по вашим описаниям, как посудомойка... А у Нелидовой – формы пышные, осанка герцогини... И внутри... лед и пламень! Много мне через это пришлось страдания перенести...» Утрит батистовым платком слезу и исчезнет. Бросит только на прощание: «Небось по городу бродите, ищите ее, думаете о ней? Знаем мы эту болезнь: невский сплин называется...»

А то однажды огляделся боязливо по сторонам и шепчет: «Ах, любезнейший, как верно вы поступили, что уехали отсюда. Здешний климат и этот город слишком губительны для человека с раненой душой... Я вот вам по секрету прочту, крамольное...» И достает бумажечку потертую – из-за пазухи.

Рим создан человеческой рукой,
Венеция богами создана,
Но каждый согласился бы со мной,
Что Петербург построил сатана!

«Сочинителя... запамятовал, как его фамилия...» – «Мицкевич». – «Вот-вот... слышали, значит... Следовало бы в крепость этого Мицкевича, под замки да в колodки. За пращура... Но ведь и правда в тех словах кроется – не про Петра, а про Санкт-Петербург...» И кулаком сухим в небо стал грозить: «А все он виноват – климат этот... И Нева... Державой себя возомнила... Еще при основателе против столицы бунтовать начала. Петру-то оно и по душе и по силам было – стихию вождой одергивать... Но знаете, Гришенька, с ним ведь и кончилось дикое и мужественное русское Средневековье... А нам... Это Пушкин правильно про нас сказал: *“С божией стихией царям не совладеть...”* Мы дети куртуазного восемнадцатого столетия – парики, жабо, приемы, интрижки...» И платок батистовый снова из кармана достает: «Нам бы с фрейлиной Нелидовой как-нибудь сладить... Так как, говорите, вашу барышню зовут?.. И что – хорошенькая?..» Такой вот любопытный тип.

Как-то цитировал ему Блока *«О город мой неуловимый, / Зачем над бездной ты возник?..»*, а он с грустью в голосе прерывает меня: «А помните, в *“Снежной деде”*: *сфинкс с выщербленным ликом над исполинской рекой...?* И рукой вдруг резко в темноту в сторону Невы махнул: «Ах, разве это не так? Разве она не держава? Я, признаться, частенько на рассвете этим чудом люблюсь: город-сфинкс, поднявшийся над гладью рек и каналов... И много думаю об этом. Ведь Санкт-Петербург далеко не всех счастливыми оставляет. Он для одержимых строился – таких, как пращур. Еще тщеславные, как моя матушка, в нем вольготно себя чувствовали, да купечество, заводчики, штольцы... Но для души впечатлительной, ранимой или склонной к рефлексии Петрополь – вечное страдание и погибель... И вас, Гришенька, наверное, уже не отпустит этот захватывающий воображение мираж... А как же без него и куда без него? Поверьте старику: в нем уже растворилась ваша жизнь и, если хотите, ваша судьба со всеми очарованиями, сомнениями, надеждами и любовью...»

О-о... что-то мы с тобой сегодня заболтались... И полосочку, за которой латинские буквы *f* и *v* местами начинают меняться, не за-ме-ти-ли. А все потому, что ничего я не понимаю в вине. Кто понимает, всегда сможет вовремя остановиться. Нужно уметь правильно расслабляться... Как это мы с тобой назвали? А! Медитация с мотивом виноградной лозы. И не болтать. И не распускать слюни... Нужно быть одержимым, как Петр, или чванливым, как Маргарита Павловна... И знать толк в вине. Вот Генка – он знает. Я тебе рассказывал, как мы с ним в итальянский ресторан ходили? Ну и что, что повторяюсь? Какая тебе разница, если ты все равно весь вечер проспала...

Он протянул руку к лежавшей у его ног мохнатой дворняжке, легко коснулся ее глядящим движением и медленно поднялся из кресла. Чуть качнувшись на ходу, дернул шнурок торшера и направился в спальню. Некоторое время оттуда еще доносилось тихое ворчание: «Дрянное вино... дешевка за два с половиной... хорошим бы не напился... лоза, да не та... или уже клонировать успели? А почему бы и нет. Меня ведь клонировали – и ничего. Сюда копию заслали, а оригинал там... в Летнем саду, у самой Невы... Только Питер им не клонировать... ни фига...»

СТИШКАМИ-ПЛАВНИКАМИ ШЕВЕЛЯ...

* * *

За осенью, в которой стих подмёрз, как Вяземский в халате обветшалом,
Вдыхая пыль, глотая абрикос, чертя судьбу, как блазнится, недаром –
Взлетает жизнь, забыв в шкафу крыла, и пропадает в городе брюхатом,
Куда спешишь, «бессмертная пора», стегнув себя некачественным матом?
Куда теперь, расстёгнутым на сто сиротств *таких*, что вспомнился б родитель
В каком-нибудь заштопанном пальто, скорее безучастный небожитель?
Зане о том, где первый – ничего известно *не*, и в этом *не* – причина,
Вдыхай, братан, такое волшебство, весь мир, друган, пиитова чужбина,
Как завернул один из США, воткнув перо под бок яйцеголовым.
...я счастлив был (душок от беляша), я счастлив был в посёлке верескóвом
Ловить любовь на музыку, забив на всё окрест... Кусай меня, столица!
Куда как «ласков» твой императив (В какой руке везучая синица?).
Взлетает жизнь за Вяземским, за тем, кто свыкся с одиночеством российской,
Строка, как чёрт, подсказывает темп, и ветер бьёт по вывеске буддийской.
...я счастлив был, как джазовый концерт... Направо – банк, налево – Якиманка,
Залаянная грязью, аки смерд, звенящая монетами цыганка.
Я счастлив был, как колокольный звон, как ангел, пропустивший три урока,
Рифмуй меня с печалью, Плутон, драконь, октябрь, циничностью итога,
Я был затем, чтоб, вспыхнув, поминать, по буквочке выкуривая *слово*,
Целую охренительное «вспасть» в ещё одном... от Рождества Христова.

* * *

Теплится сон о Египте: едет на ослике тип,
Подле солдат с «калашами» дремлет обшарпанный джип,
Чешет на грустном верблюде в платье смешном Гумилёв,
Сколько в его сиротливых зенках набухло стихов!
Небо лазурью жиреет, Красное море поёт
Песню о том мореходе, что обездоленных ждёт.

Курит Луксор сигареты, «мыльницы» вечность жуют,
Рядом с крутой колоннадой каждый из нас лилипут.
Теплится сон африканский: слово сжирает жара,
Тычет восторгом в пространство выросшая немчура.
Где тут душе примоститься, где приютиться, Карнак?
Как основное запомнить, лучшее высмотреть как?

Всякий тут гол, как соколик, всякий проколот теплом,
Всякий жука-скарабея грузит своим шепотком,
Всякий кричит бедуином, слышишь, подруга-душа?
Что остаётся в итоге? Нам, как всегда, – ни шиша,

Нам, заболевшим любовью, – ослик, что помнит о Нём,
Солнце, ленивое небо и – полицай с «калашом»...

* * *

Зимою – в счастье – свет
И кофеварки всхлип,
Прощённый лаской плед,
Случайный манускрипт.

Зимою – в счастье – снег,
Страшилка ветра за...
На сковородке steak,
На блюде сыр-слеза,

Да йогуртовый хлеб
С гранатовым «Кенто»,
И лёгкость Божьих скреп
В космическом ЛИТО.

Зимою – в счастье – бра,
Римейк сейшельских грёз,
По НТВ мура,
За стёклами мороз,

В топлёном молоке
Съедобный лик луны,
Соль музыки – в глотке
Из рюмки тишины,

Созвездья на крючке
У ангела любви,
Монетка в кулачке,
С которой селяви.

Зимою – в счастье – та,
С которой так знаком...
Любую жуть, звезда,
Легко перемахнём.

* * *

Сентябрь – факир медитативный, раздоров жёлтый календарь
Дудит мотивчик примитивный, как царь Алеша пел букварь,
Усталость сводит с кофеином, ловя бессмертие пером,
Дыша небесным анилином в остервенении глухом,
И рвётся парусом безвестным в моих химерах золотых,
То – архаизмом анапестным, то – в переливах звуковых,
Свистит метафоры задаром сынам анафор чумовых,
И лечит дедовским отваром от наговоров колдовских...
Меня, небритого такого, в маразм смотрящего уже,
Такого ангела плохого, кто напечатает в ЖЗ?
Утопит в скучном разговоре, строку сомненьем царапнув,
Кто разглядит в морфеме – море, воображение раздув?
Сказать кому: «Не проиграли! – садись в счастливую строфу

И жми поэтом на педали сквозь *лужковатую* Москву,
Владивосток воспоминаний и «ветку сакуры» – вчера,
В такой закат – почти фазаний, в такое вещее «пора»,
В такой сентябрь медитативный: то – флажолет, то – лёгкий вздох...»
... и ветер жирный, суггестивный, и слов рассыпанный горох,
И жизнь на пальчиках прозрений в 120-ть ангельских ампер,
И ускользящий, осенний... и этот лакомый размер.

* * *

...Окрепла мгла, кемарят черти
В обильном вишнями саду,
Я разлюблю тебя до смерти,
Я затянусь тобой в бреду.

Я унесу тебя в молчанье –
За дверь миндального греха,
В словарь поспешного прощанья,
В размер случайного стиха.

YESTERDAY

...Три рубля, и от музы вприпрыжку –
Попинать симпатичную мглу.
Хлебанём за хорошую книжку,
За друзей золотую хулу.

Вот архангел с болотной звездой,
Вот портвейна щенячий хорей,
Нашумим в синеву над рекою,
Кинем в глотки солёных груздей.

Кто честнее, чем эта орава?
Льётся вечера тёплый рассол.
Прокури меня, крепкая «Ява»,
Подскажи бормотушный глагол.

Сбрось звезду, волосатое небо,
Прямо в губы целуй, чепуха!
До свиданья... В карманчике Феба
Я качнусь музыкантом стиха.

* * *

Когда любовь бежала от разлук,
Ловя в ладоши колокольчик-звук,
Когда стихи не мнились преискурантом,
Когда любили не за баксы, не
Велюр-вельвет в заштопанной стране,
Когда в запой дружилось с музыкантом,

Тогда сдавалось – «Lady Jane» удач
Сыграют под забористый первач,

И нас обнимет муза-шалашовка.
Плевать на Стикс: по волнам бытия
Мы промелькнём, спасёмся ты и я
(Кому Фортуной выдана путёвка?)

Всю жизнь тянуть такое ля-ля-ля,
Стишками-плавниками шевеля,
Бока кифары глядя вечерами?
В конце концов, кто Фамирид, кто нет,
Кому назавтра выпадет *поэт*,
Как тур-вож на сладкие Багамы?

И это свет? И это – *очень* свет,
Как подсказал космический полпред,
Лицо от мглы за крылышки скрывая,
Твой синий цвет, твой кайф, твой Круазетт –
Танцуй на этом краешке, поэт,
По буквочке стихами зарастая.

* * *

Закроем небо жалюзи,
Нашепчем шуры-муры,
Орешек в йогурте вкуси,
Изделие Шатуры.

Под абажуром мгла ара-
Арабского разлива,
Светла проделками нора,
Заботой щекотлива.

Ты фармазонка, ты мена-
Менада по начинке.
От поцелуя жизнь вкусна
В шершавистой глубинке!

От поцелуев кофе, ко...
Оставлен в кофеварке.
Душа небесное арго
Вычитывает в чарке.

От пылкой истины легко
Под градусом амура,
Всё остальное – «Сулико»,
Фигня, литература.

* * *

Юрию Кублановскому

Жизнь, что смеялась над турком, плакала в жёстком кино,
Билась с очкастой судьбою, ставила грош в казино,
Зонтиком воздух колола, колой спасалась в жарынь,
Путала счастье постели с запахом импортных дынь,

И танцевала в «прощайках», и набродилась не там,
Было, курила «Родопи», дула хвалёный бальзам;

Жизнь, что бросала восторги, грызла орешки любви,
Солнце ловила губами, шхуне шептала «плыви»,
И пропадала в романсе, и защищала словарь,
И ухитрялась в романе перелистнуть календарь,
И увлекала друзьями, и обгоняла врагов –
Быстро устала... и стала – сгустком рифмованных слов,

Стала последней заботой, раем в глагольном пике,
Кружкой цейлонского чая, облаком бредней в башке,
Книгой в шершавом обличье: Мозг о тропиках врёт,
Старой британской кассетой, что там «King Crimson» поёт?
...Кто рассылает по мэйлу файлы небесных широт –
Ангелы, жители ада? Кто за душою придёт?

* * *

Сдаёт листву сегодня во вчера
Сплошная баратынская пора,
Поносят «Омэн» ангелы ОМОНа.
Твоим «пока» запачкана Москва,
Болит от беспорядка голова,
Глазами надсмехается ворона.

Зачем крутил *микджаггерский* винил,
Бранил Нью-Йорк, в Бердичеве чудил
И грудь ласкал бессмертником сонета?
Каким бурбоном вымокну в кафе,
В какой аид переметнусь в строфе,
Какой хандре заделаю поэта?

В судьбинке что? Зачем крошится свет,
В какую жизнь прицелен арбалет,
От яндекса до запаха удачи?
Сплошная баратынская игра...
У «SBARRO» ошивается урла,
Тверская матерится по-щенячьи.

* * *

Пока вербует соловей
И ворон По зовёт Эдгара –
Ты весь, от пяток до бровей,
Рахат-лукум прямого дара,

Ты весь, от улиц до границ,
До нерастраченной лазури –
Одна из гамаюнных птиц
В людской заматерелой шкуре.

Давай шмыгнём вдоль облаков,
Давай проветримся хореем

За морем разноцветных слов,
За этим солнцем-ротозеем,

За жизнью, пущенной стрелой,
И змеем, посланным вдогонку,
За беспризорною игрой,
Что счастьем кажется ребёнку.

Открой глаза пошире, брат:
В бокалы истина разлита...
Ты сам в хорошем виноват,
Единокровник алфавита.

КРИМИНАЛИССИМО

По мотивам двух неудавшихся рассказов

Сусанночка, нам надо объясниться,
(«Эллочка, вам надо лечиться».)
Та юбка, что вы нашли в кастрюле,
Ее принес Гриша Юле,
У них музыкальные отношения,
И Гриша сделал ей подношение.

(С натуры)

Ищущие по-быстрому обрящут искомое. Простенькое, но со вкусом. Без запаха. Как бантик у Карлсона.

Итак, к истории вопроса. Откуда суть пошли русские в Германии. Во время оно «русские на немецкой службе» звучало бы «комичически»: кому они здесь нужны – с одной стороны, и чего мы там не видали – с другой. Те же, кто оставлял Россию по причине уязвленной души, знали: в Пруссии колокол проще отлить, чем издать, – и ехали дальше.

Это Российская империя была намазана для немцев медом – для коронованных особ и для их подданных. Последние селились по берегам Невы-реки, чтоб близко было друг к другу в гости ходить.

Только когда рабство пало по манию царя, русские сочли немецкие воды пригодными для питья, а игорные дома – для игры. Но это уже были новые русские, из новой России. В их числе немало деятелей культуры и искусства, вечная им память в виде беломраморных табличек на случайно уцелевших фасадах домов – ковровые бомбардировки в середине будущего столетия имели целью увековечить другое.

В 1914 году с немецкой речью в России было покончено – лучше не вспоминать, как. Немецкое правительство к русской речи отнеслось терпимей, но ненадолго – на число пассажиров в некоем plombированном вагоне.

...Вынули вилку из штепселя и вставили снова. В следующей России по-немецки разговлялись лишь на Волге да в номерах люкс коминтер-«Националя». Пока тех и других не слили в одну колбу, не встряхнули и не вырастили в ней какую-то неведомую культуру с пометкой «без права жительство».

Русская проседь в Германии. Русский Берлин – когдатошнему немецкому Петербургу: «Себя как в зеркале я вижу...», но не продолжают цитаты, не согласны с тем, что это зеркало им льстит. Ворох газет. «Наше вам с кисточкой». Украсили шляпу помазком, обрядились в немецкое платье, а сами чешут по-русски. Количество газет сократилось до одной, ратовавшей за спасение России русскими руками, крепко сжимавшими немецкое оружие. На карикатурах в «Новом слове»: лицо – кавказской национальности, да горбоносая тень выдает. Зато родной речи

кругом стало больше, и акающей, и окающей, и на «шо», и на «щё». И все эти дивчины с хлопцами и парни с девками носили поверх сердец своих жгучее «Ост».

Смена флагов в Германии. Гнойники русской речи в Мюнхене и во Франкфурте. ЦРУ там правит бал, играет оркестр из власовцев и энтээсовцев, его выступления транслируются по радио. На родине такой успех, что сквозь аплодисменты не разобрать ни слова. Родина: кому звезда Полян, кому путеводная звезда. У человечества мнение на сей счет разделилось, свидетельствуя не в последнюю очередь меру склочности в человеке: скандалист не в ладах со здравым смыслом. Но среди самих отщепенцев, среди всей этой отщепленной от могучего древа публики споры лишь об одном: клетка или решетка, что их там ждет? Съездить посмотреть? Кое-кто не устоял перед искушением.

Казалось бы, пора и честь знать, наговорились в Неметчине по-русски, время вымирать. Хиреющую русскую жизнь не окропит струйка иван федорычей миллеров, которым было сказано: «Тикайте, Иваны Федоровичи Миллеры, знатно пожили на земле казахстанской. Только смотрите, тикайте тоненько, а то уретрит у нас».

«Со пля-, со пля-, со плясками» – и с песнями – рванули те, другие. С кого взяли за испуг саечку. Они с шумом воссоединялись – там, где обезьяны хавают бананы. Но некоторые решили: обезьяний питомник – это не про них, и пошли своей тропой, вопреки маршруту, проложенному двумя турфирмами-монополистами, Сохнотом и Хиасом.

То была тропинка в лесу. Сквозь деревья чернела весьма уютная страна, где за нелегальный переход границы полагался такой социал, что от одних только рассказов о нем из глубины души исторгался крик: «Кто старое помянет, тому глаз вон!» В идеале: огородами до Мюнхена, оттуда самолетом в Западный Берлин – а там верблюдам пришивают вот такие яйца. Докажи, что ты верблюд, и тебе пришьют.

Другое дело, сколько верблюдов можно продеть в игольное ушко, сколько могло из них сказать: шли мы лесом, шли мы бором. За двадцать лет третьей эмиграции, да еще завернувшей в минус на время, что Сахарову был прописан Горький, русскоговорящих в Берлине прибавилось от силы тыщ на пять. И то! Люди культурные, в прошлом отдыхавшие на Рижском взморье, жаловались: КГБ специально устроил утечку уголовников в Берлин по израильским визам.

Вторая эмиграция отличалась от первой, может, даже еще больше, чем третья – от первых двух, и все вместе они отличались от четвертой по одному формальному признаку: они-то бежали от Советов, они-то антикоммунисты. А эти наоборот. По логике вещей, четвертая эмиграция – идейный враг третьей. Но быть логичным – лучший способ попасть впросак. У них одно лицо: те барды – и эти, те «17 мгновений» – и эти, там добропорядочные матроны выглядели, как на шоссе работали, – и тут. Просто одни были поотчаянней и на отъезд поставили, а другие, трусоватей, взлетели, лишь когда им в ладоши хлопнули, и было этих, которых вспугнули, с миллион. И уж сколько из них обсело Германию, лежавшую по пути, – в прямом смысле немерено.

Некогда гэдэровский вождь Максимус Ленигус (был такой маленький человек, который не мог выговорить «марксизмус-ленинизмус»; те же «сисьски-масиськи», только по-немецки), уже идя ко дну, ухватился за соломинку: «Я тоже плачу Израилю свою немецкую виру», – и трясущейся рукой наскреб у себя в кошонке пару сотен миллионов, что было «тьфу» в сравнении с миллиардами, хлеставшими из кошны западных немцев. Тогда на тонущем кораблике принялись рубить снасти: «Германская Демократическая Республика, движимая чувством своей исторической ответственности, в свете нависшей над советским еврейством угрозы предоставляет вид на жительство всем советским евреям с их нееврейскими чадами и домочадцами».

Это был год, когда Западная Германия стояла обклеенная плакатами «Помоги России!» – аналог знаменитого «Помоги!», только вместо мужичонки в рубаше мальчонка в трухе. Очередное подтверждение того, что повторяется история не иначе как в виде фарса. Бюргеры действительно что-то слали – сердобольные, дисциплинированные и запаниковавшие: уже представились орды немых гуннов, сметающих на своем пути нежные погранзаставы, разрывающих зубами целлофановые упаковки в «Альди» и в «Пенни»:

– Да, скифы мы! Неандертальцы мы!

Тем не менее правительство Коля не стерпело такой обиды от хоннекеровского руководства (если на востоке *руководят*, то на западе *правят*). И вняло правительство призыву своих еврейских общин, сгоряча не сообразивших, что же они делают, кого пускают без очереди в свой закрытый распределитель.

То-то радости было! Пляшут мальчики и зайчики, пляшут девочки и белочки: «Прощайте “зайчики”, прощайте “белочки”, будем жить на немецкие марочки». На радостях аж осерчали: «Мы приехали сюда, потому что вы нас звали, а вы! Да у нас, как полицейскую фуражку видим, сразу в памяти лай немецких овчарок».

Ноев ковчег, челночивший между Германией и группой островов бывш. Советского Союза, приравняли к вьетнамскому «лодочному пиплу»: обитателям его присвоили высшее беженское звание – «контингент флюхтлингов». И на здоровычко (как говаривала жена налево гулявшего мужа). Бессовестно – в рассуждении лодочного пипла? Совесть – палка о двух концах. По части попадания впросак она даже логики впереди. Ну ее... Слышите, солдаты? А вот порядок мус зайн – на немецкой земле. Это на Руси порядка нет как нет (к счастью – русский порядок пострашней русского бунта).

Впрочем, на сей раз прославленный немецкий порядок столкнулся с разбухенной немецкой совестью. И куда они разбирались, в земле германской осело превеликое множество совершенных зайцев: кто дезертировал из группы войск, кто – армянин, кто – вечный студент, кто – узкий специалист (тот самый долгожданный русский на немецкой службе), кто нуждается в срочной медицинской помощи, а та влюбилась, как аттический солдат, а эта купилась на газетное объявление, вот идет банкир, тащит сундук денег – ладно, так и быть, живи, еще надорвешься. И т. д.

Трудармия волгодойчей, стоявшая на смерть в степях Казахстана, в очередной раз оскорблена: «Безграничный контингент! Понаехали тут. Им-то, евреям-то, что, в Москве плохо было? Это нам полагается». Только слов подобрать не могут. А как хотелось бы это выразить словами. Но мы немые, мы – му. Мы настолько му, что даже электоральный надой с нас, как с козла. Мы должны быть как немцы. Но где они, как кто мы должны быть? Они не живут тут. А кто живет тут, те нам не немцы, а мы им. Зато говорим мы с нашими детьми только по-немецки, только нур дойч, отчего они всю жизнь потом будут говорить с нашим русским акцентом. Но, по крайней мере, хоть русского они знать не будут, потому что не пятая колонна.

В отличие от говорливых днепропетровцев – русскоговорливых – немец-русак немногословен. И этим уравнивает свою многочисленность: большой, да немой. «Русак» – самоназвание, неужто в глубине души тоже чувствуют себя зайцами? По праздникам «русак» лакомятся бычками в томате, режут на бумажке колбасу отдельную, к чаю ставятся на стол конфеты «Старт». Для них, обиженных судьбой, имеется сеть продмагов: «Такой “барбариски” не купишь нигде, только в родной Караганде». Даже любимую газету – название которой набрано впечатляющим тевтонским шрифтом – выпускал для них целых десять лет какой-то «вич». Анонимно. Пресса всегда была ими инфицирована.

Снова, как в двадцатые годы, ворох макулатуры кириллицей... двадцатые – да не совсем. Разноцветная. Редакторá проходят в Москве инструктаж: мол, Германия

ваша, да вы наши. Вокзальные киоски забыты «Русской Германией», «Евроцентром», «Контактом» с «Земелями». Еще «КГ» («Курьер-газета»). Дальше по интересам: «Кроссвордист-плюс», «Поле чудес», «Ваше здоровье», «Женское здоровье», «Спид-инфо», «Полицейское досье»... гы-ы, «Районка»... Можно больше, просто двенадцать – округлое число.

Можно постоять, полистать со всеми на халяву – «на счет прусского короля» прозвучит уместней, в местах-то, где не халявщики мы, а социальщики – и сожалений горьких нет как нет. Вон местные социальщики: захлебываются пивным кашлем на вокзалах. А которые из контингента, те глянут раскосыми и жадными очами, что в Гондурасе, и положат обратно на стойку.

Велика тяга к печатному слову, от него глаз не отвести, особенно от объявлений. Их надо петь. Хлебом не корми, дай процитировать... (Ну на, только не обожрись, ведь начав, остановиться не можешь.)

У всех глазки блестят на брачные.

«Алексей, лев, ведет здоровый образ жизни, ищет жену».

«Веселая вдова, скорпион, ищет свое счастье».

«Растерялась в Германии, дева, ищу плечо».

Кто что ищет. «Гитерман Юру, Яну и Людмилу ищет Неля Докучаева». Найдет, не дай Бог.

Раздел «Куда пойти лечиться». Это когда берутся снять порчу, рожу, грыжу, излечить от пьянства, выслать обереги, возвратить любимых – плюс «рассматриваю все жизненные ситуации». Глядь – баба ягодка опять.

Торгует воздухом «Матрена Львовна, ясновидящая целительница в двенадцати поколениях». На фотке бабулька в платочке. На любителя.

У другой талант к стихосложению:

Оракулы откроют мне секреты,
И духи мне укажут, в чем тут суть.
Ужель терпеть других всю жизнь запреты?
Звоните мне! Я укажу вам путь!

Контактер с космосом Симон Вольф косит под инопланетянина – что называется, в дурдом и обратно. Клиентура ясна, цели определены, за работу, Симон.

Но не всяк являет товар лицом, иные предпочитают без фото. Неприметное объявлениице Виолы Вещей интригует – именно своей неприметностью. В тихом омуте, под сурдинку. Лишь два слова: «Виола Вещая» – и телефончик. Сколько указательных пальцев тыкало в циферки: биг дил, набрать. А ты не знаешь, может, пальцем чертился приворотный знак. Потом из тебя эта ведьма всю жизнь будет веревки вить.

Экспозиция фильма: сперва повитают над крышами. Голос экскурсовода: «В нашем городе столько-то домов культуры, столько-то жителей, незамужние ткачихи составляют большинство...» (А чего, про баб всегда интересней – и читать, и кино смотреть. И писать, заметим. Что мне мужики, что я – голубой? Хотя бабы о себе первые же любят читать.) «Вечер, уютно светятся окна квартир, заглянем в одну из них, например, в это окошко...» И дальше можно пересказывать содержание. Рискнем, ковырнем номерок.

– Алё.

– Здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Я по объявлению.

Надо женским голосом. Мужчины тоже случаются, но их проблемы – ты ж понимаешь: не годен ни к боевой, ни к строевой. («Большое спасибо, до свидания. А вы думаете, поможет?») За то и платят, что стесняются обращаться. А бабы, те

сраму не имут аки мертвии. (И выходит, каждый мужик на земле некрофил.) Дёвицу красит не стыдливость, а другое, оттого-то Европа на наших снегурочек заторчала. Отороченная мехом шапочка, упругая икра в сапожке, а во взоре такая-во звезда (тоненьким голосом): «Наташа».

Немцам страсть как охота вторгаться в священные наши пределы, как и нам – потом гнать их до Берлина.

– Я вас слушаю.

– А мне Виолу.

– Виола – это я.

– Добрый день.

– Добрый.

– Виола Вещая, да?

И тянет-потянет. Ну, рожай уж! Сны замучали? Сны – дешевле, малая услуга. В «Меццо», у вчерашней: двое мужей померло от рака, теперь у третьего нашли, а она: сон, который ей приснился, что означает? То и означает, что двадцать марок сэкономить хочешь. «И что ж вам снилось?» – «Что мы с ним на “скорой”, он за рулем, а навстречу мчится мотоцикл без мотоциклиста». – «Это не ваш сон». – «Как не мой, когда я его видела?» – «Вы его увидели по ошибке. Почтальон письмо в чужой ящик бросил. Кому-то важное сообщение было отправлено. Жаль, не дошло. Если знать, кому, можно было бы отвратить несчастье. А теперь что, порвать и выбросить». – «И по нему никак нельзя узнать, сколько мужу осталось? Ну, хоть примерно...» В одиннадцать вечера звонок: «Вы мне сказали, не больше семи месяцев, а я была у Матрены Львовны, целительницы сразу в двенадцати поколениях: до десяти лет минимум». – «А вы не расстраивайтесь, врет ваша Матрена Львовна. И пяти месяцев не протянет. Только не соглашайтесь на химию».

С хамками Виола не чикается, у нее лучик всегда с кулачком. Как сказал монах Рентген своей жене: я тебя насквозь вижу. Так и она своих тётек насквозь видит и еще на три метра вглубь. Звонят за одним, а спрашивают о другом. По скуперу. Да мало ли почему – привыкли предохраняться.

– Да, Виола Вещая. Какие еще будут вопросы?

– А можно спросить, вы по фамилии – Вещая? Или как артистка? Вот сейчас гостил театр кукол имени Образцова...

– Это не по теме.

– Лучше все-таки, чтобы по фамилии. А так – любая может назваться. Потом проверь, вещая на самом деле или нет.

– Идите, мама, скорей к ребенку. Что вы ребенка оставляете. Идите, пока ничего не случилось.

– Ой... – бросила трубку, полную уличным движением: гудками, голосами.

Потом звонила снова, уже не из автомата. Условились в «Пазолини», на той неделе, на этой Виола вся расписана. «Пазолини» – имя хозяина, приглубленного. На стенах старые фотографии: изготовление оливкового масла где-то в Тоскане. «Пазолини» – место с аппенинским запахом: с батареей лежачего кьянти и лесом суковатых колбас – куда в обед, разыгрывая из себя сибаритов, влетают «якобы-яппи», схватить итальянский сэндвич.

Но Виола помнит, когда тут еще была булочная-кондиторой «Меццо», в которой божьи одуванчики вкушали свой послеполуденный кофий с тортом. Именно в «Меццо» херр Хиллярдсен назначил ей встречу, с той поры она сюда вбила колышек. Очень практично. Чем работать на дому, встречаешься в кафе. Что, ей черный бархат нужен? Хрустальные шары? Обкладывать камнями? Чтоб войти в ключ, нам достаточно минутной распальцовочки – мудра по-индийски. Андреевский называл это «аппликатурой». Знаменитый был энергетик – если кто не слышал. По Украине процент энергетической подпитки всегда был высок, там целыми деревнями питались лучистой энергией, особенно Винницкая область. Борис Борисович из тех

мест, так что ничего удивительного. Херр Хиллярдсен чем-то на него похож. Не внешне, конечно, – Борис Борисович смахивал на гуцула: криворотый, малорослый, мадьярские усы. А херр Хиллярдсен седой, высокий, с адмиральской выправкой. Но пучок выпускали одинаковый.

Виола тогда месяц как освободилась из лагеря – Газоридовки (располагался в Гозериде). К восьми уходила на шпрахкурсы на Небельштрассе и прямо оттуда ехала в Цоллендорф, к одной старухе-рижанке. Бабка уже делала под себя, хотя все еще говорила и писала по-немецки. Ее дочь кончила рижскую консерваторию как композитор, а у зятя был зубной праксис, сына своего они тоже послали учиться на зубного, куда-то в Венгрию или Румынию. Династия Румыновых.

Когда херр Хиллярдсен позвонил в первый раз, она только-только пришла от своей старушки – с лестницы услышала, что звонят, но не успела. Ничего, позвонил через сорок минут. В такое время все уже десятый сон видят, но он представился журналистом, мол, служба у нас такая, звиняйте, дядьку:

– Bundesnachrichtendienst¹.

По-русски он знал два слова:

– Добрый день.

– Добрый, – соглашается она, «здоровкаюсь» под москвичку. С ее талантами только в шпийны. Его мигом просекла, как только увидела. Значит, хотят ее пристроить к ремеслу.

Для начала сказала: прекрасно видит, какой он журналист.

– Я? – посмотреть на него – сама невинность.

– А кто еще? «Нахрихтен»... (И получилось: «Это вы взорвали танк?» – «Я...» – «Но это наш, советский танк». – «Ja, ja...»)

Херр Хиллярдсен не понял, она в шутку или всерьез, и рассмеялся:

– Не журналист, говорите?

Нет, на сто процентов и больше. Он сам знает, кто он.

– И как вы догадались?

– Обычный сенситив-сигнал при рукопожатии. Потом считала информацию.

– Боже мой, какой дар! Вы должны открыть частную практику, выступать по телевидению.

На сей раз не поняла она: это в шутку или всерьез? 1 : 1.

Херр Хиллярд... сен... (с трудом выговорила) ошибается. Энергетические способности не утилизируются. Она их лишится, если на поток поставит. В любой книжке о полярниках написано.

Пусть думает, что она работает с энергией поля – «полярница».

А вообще-то как было не понять, когда у него ухо растет – на каждое слово, на каждый звук. Профессия. Сколько она таких ушей в своей жизни перевидала.

Но херр Хиллярдсен держал свой интерес на замке. («Кишечник на замке» – кажется, «Женское здоровье»). Так и подмывало спросить: мужик, пошто приходил? Сидеть с ним, правда, было не внапряг: больше сам говорил, и все о себе – про Латинскую Америку, как ездил туда, какие в джунглях водятся змеи. А в Украине никогда не был, нигде в Советском Союзе не был. Какая там кухня, где что едят?

Ну, в Украине, она думает, любят грузинскую...

– А в Грузии украинскую? Русские гурманы, в таком случае, должны чувствовать себя обиженными. Русские ведь тоже своей кухней гордятся.

– Каждый народ своей кухней гордится, – дипломатично сказала она. Пообещала как-нибудь пригласить его на борщ с пельменями, приглашение – то еще, на туалетной бумажке писанное, но херр Хиллярдсен поймал ее на слове. А она ведь и готовить-то не умеет. Мария она, а не Марфа. Это и Борис Борисович говорил своему Лешечке: «В тандеме Мария-Марфа она Мария, как и большинство

¹ Германская служба новостей (нем.)

евреек. На такой женишься – будешь тятать-стряпать». Да сама бы не пошла. Лешка в ящике трудился, его бы в жизни не выпустили. Песня из фильма «Разные кармы».

Накормила херра Хиллярдсена магазинными пельменями.

– Битте, с маслом, со сметаной, с кетчупом, с уксусом. Эти с картофельным вкусом, эти с мясным.

Из вежливости херр Хиллярдсен ел как из голодного края. Про борщ он уже не вспоминал. Потом еще несколько раз с ней встретился и даже повел в кукольный театр.

– Куда?

Страшно удивилась. Нет, с местным кадром взаимопонимания не достигнешь. Херр Хиллярдсен... Вроде идет кадриль, а чего ему на самом деле надо? Она уж и с одной коллегой советовалась.

– А ты ему сделай массаж «рэгги».

– А то не делала. И чакры почистила. Глухо.

Вдруг правда влюбился? Для очень многих Виола – мечта поэта. «Импозантная 48/160/88 ищет подходящего». Да только редкая птица долетит до середины Днепра. А тантрические практики с женатиками ей даром не нужны. С херром Хиллярдсеном было, конечно, приятно посидеть в «Меццо». Даже на марионеток сходить. Они ходили на спектакль по сказке английского писателя Киплинга «Рики-Тики-Тави», про зверька, который спасал людей от ядовитых змей.

А знает он, что ее тантрический знак – змея?

Он догадывался.

– Я должен буду с вами проститься. Завтра я уезжаю по делам.

– При вашей профессии это может быть опасно?

Он улыбнулся. Очень обаятельный мужчина... Хотя все это глупости: на тряпки она и сама в состоянии себе заработать, как раз за углом ее магазин – «Чудо на Ниле».

Они сели за столик на улице.

– Чай? Кофе? Капучино?

– «Валенсия».

– Мне кажется, мы успели привыкнуть друг к другу, не так ли? Во всяком случае, что касается меня...

Начинается.

– Я тоже...

– Убежден, вы задавались вопросом: чего ему от меня надо? Теперь, на прощание, когда мы уже немного знакомы и питаем друг к другу взаимную симпатию, я вам отвечу. Вы бывали у Бориса Андреевского...

Так. Еще в первую встречу сказала: не выйдет, тайные знания не предмет купли-продажи. Симон-волхв тоже хотел...

– Вы должны знать его сына Алексея. Он много лет занимался исследованиями, представляющими для нас огромный интерес. Я имею в виду опыты над змеями. Я бы очень хотел познакомиться с ним лично. Например, вы бы могли пригласить его в гости, как своего старого знакомого. Сегодня это возможно. Я знаю, многие думают, что они и мы – это одно и то же. В действительности разница огромна: они готовят яд, а мы противоядие. Вот вам моя визитная карточка. Если вы решите нам помочь, звоните.

Не глядя на счет, оставил на столике десять марок и был таков.

«Импозантная ищет подходящего». Какой мужик! Какой гадюк!

Она свела пальцы, закрыла глаза и открылась нисходящему потоку. В одном он прав: надо подумать о своем праксисе. Не ездить же всю жизнь в Цоллендорф ухаживать за растениями. Горшки с цветами – это не по ней (херру Хиллярдсену она наврала, что подрабатывает в цветочном магазине). Интересно, что в «цветочном магазине» ей сказали то же самое:

– Тебя, Виолочка, по телевизору надо показывать. На своих гениальных способностях ты могла бы сумасшедшие бабки делать.

В Цоллендорфе ее гениальность проявилась в следующем. По порядку. К мужу Сильки, Толику, чью маму Виола нянчила, заскочил на минуточку старый друг – из тех, что лучше новых двух: тоже потомственный рижанин, тоже берлинский старожил и тоже Толик. Учился с Силькой на одном курсе: она на композитора, он на скрипача.

Виола проплывала на горизонте с очередным фикусом, когда один Толик другому пожаловался, в смысле похвастался: теща стоит ему целое состояние. «Состояние...» – подумала Виола. Ей платят – смешно сказать, сколько...

– Виолочка! Ну, как дела у нашей мамы? Иди сюда, не стесняйся. Я – Толя-врач, а вот Толя-скрипач, – и спел:

Ваш любовник – скрипач, он седой и горбатый...

– Это уж как пить дать, – сказал гость сквозь зубы и поиграл желвачком. – Левое плечо отваливается.

– А как же вы играете? – спросила Виола.

– Вот так и играет. Смотри, заберу скрипку. Он играет на Силькиной и отдавать не хочет. У нее шикарная скрипка, от деда. И сумела вывезти.

– А я думала, она только музыку сочиняет.

– Она много чего делает. Сидит у меня в праксисе. И этот будет сидеть. Так и быть, трудоустрою горбатого тебя.

– Ему смешно. А я по ночам ору от боли.

– Виолочка, не полечишь его? Или горбатого могила исправит? Что – она, знаешь, дипломированный экстрасенс.

– У меня руки заняты, – сказала Виола (экстрасенс – противное слово). – Если вы подождете...

Скоро она вернулась, невозмутимая, игнорирующая насмешечки.

– Жаль, что вы без скрипки. Представьте себе, вы играете на ней... нет, что вы по-настоящему играете. Можно ж играть не вслух, а про себя, как читать. Вы должны себе это вообразить, иначе ничего не получится... Начали...

Один Толик сосредоточенно застыл, словно позировал, – только желваки ходят. Другой – как пристроившийся за спиной у художника непрошенный комментатор:

– Но когда он играет концерт Сарасате,
Ваше сердце, как птица, летит и поет...

Ну, знаешь, с таким лицом не на скрипке играть, а – сказал бы я тебе...

– Хорошо, перестали играть, – сказала Виола. – Если вы все сделаете по моему слову, то ваше плечо пройдет. Вы должны, когда играете на скрипке, вставлять затычки в нос.

– В нос?

– В нос. И через две недели все как рукой снимет.

– Лучше уж прямо в жопу, – хрюкнул Толик-врач.

– Если вы хотите, чтобы все у вас прошло, вставляйте в нос затычки, – повторила Виола.

– Знаешь, некоторые затыкают уши, когда слышат скрипку, но чтоб затыкали нос... От вони, а, Виолочка?

Становиться седым и горбатым, вместо того чтоб играть концерт Сарасате, не хочется никому. Скрипач послушался Виолы: чем черт не шутит. Уже на третий день полегчало. После этого в Цоллендорфе Виолу зауважали.

– От импотенции ты тоже лечишь? Тебя, Виолочка, по телевизору надо показывать.

У Сильки было день рождение, по такому случаю слетелась стая гостей. Хунвейбин в белом фартуке сервировал стол. Виола в нарядном платье выполняла обязанности бэбиситтера. Бэби безмятежно спало наверху: аппаратик в ухе не подавал признаков жизни – предвосхищая неизбежное? Грех даже думать так, но Виола, чем впасть в детство, предпочла бы быть отравленной. Пусть с чьей-то легкой руки смерть нечаянно нагрянет – в доказательство, что от любви до ненависти один шаг.

Она подошла к скрипачу.

– Ну что, говорила же, как рукой снимет.

– Я пришлю вам билет на концерт, – сказал тот, озираясь, как заяц в трамвае.

– Спасибо, не надо.

Подумаешь! Для многих Виола очень интересная женщина.

О ее гениальных способностях присутствующие уже были наслышаны: вот какие люди за нашей мамой фикусы выносят.

– Вы исцеляете или вы ясновидящая? – полюбопытствовала одна особа, не открывая, однако, своих предпочтений.

Виола сложила руки под грудь, как оперная певица, и разразилась арией:

– На Тибете мудрецам без разницы, яд или противоядие. Тибетская мудрость гласит: то и это – одно и то же. Сперва научимся видеть причину зла. А кроется она во внешнем мире или в тебе самой, дело двадцатое. Если вы не можете ступить на пятку, к кому вы пойдете, к врачу или к сапожнику? Главное видеть причину. На Тибете учат этому. Акту исцеления предшествует акт прозрения.

На лице у женщины появились признаки нетерпения.

– Ну хорошо, – сказала Виола, – я вас не стану утомлять тибетской философией, – и не стала. Для вкуса положила себе зелени – с гулькину соплюшку, во избежание злорадных взглядов: «Поправляйся. И в чем только душа держится». Никогда не давай повода к злорадству. Поэтому золотое правило: в гостях ни кусочка. Пока аппаратик не закукарекает, будем чувствовать себя, как в гостях.

А нетерпеливая женщина лучше б потерпела: отошла – и вдруг как чихнет. Но ка-ак! С головы серебристый обруч свалился. Толик, конечно, тут же выступил:

– Аналогичный случай был у нас в Жмеринке. Корова пернула, и у нее рога отвалились.

Сказано в «Упанишадах»:

Нетерпеливый теряет половину жизни.

Один мужчина, средних лет, тоже хотел поговорить с ней, его интересует использование ясновидения при раскрытии преступлений. Недавно об этом была передача. Что она думает, насколько это возможно?

Правда, с первой попытки спросить не получилось: «Хо хы хухаехе...» – он извинился – жестом. С набитым ртом не поговоришь. Затолкал себе все в глотку и стал на это напознать, как удав, судорожно махая руками: сейчас... сейчас...

– Джаппа-йога учит: прежде, чем сделать одно глотательное движение, надо сделать тридцать жевательных. Интересуетесь, работают ли ясновидящие в полиции? В киевском КГБ их был целый отдел. А здесь только служебные собаки. Здесь прививают любовь к животным. Ясновидящих надо ввозить из Винницкой области.

– А вы сами откуда?

– Оттуда. А что?

– Просто так. Вы ведь сами экстрасенс, верно? Если я вам задам какую-нибудь загадку, сможете ее разгадать?

– Что значит «какую-нибудь»? Вы еще не определились с вопросом?

– Сейчас... погодите...

– Какой вы умный, вы не знаете, о чем хотите меня спросить, а я уже должна знать, смогу ли вам ответить. Симон Вольф, тот знает ответ на несуществующий вопрос, а я, извините, не такая.

– Она ждет трамвая, ты еще не понял? – муж именинницы тут как тут, в своем репертуаре. Остальные тоже подтянулись из любопытства – кроме тех, кто, начав есть, был не в силах остановиться.

– Можно мне спаясать? – а это голос подростокующей смены в лице сына Даника. «Пиимчался из Бухаеста»... или из Будапешта, откуда-то оттуда. Для выросшего в Берлине по-русски говорил «паактически свободно». Не то, что встречаешь на шпракурсах: свой забыл, чужой не выучил. Парень чешет по-русски – как вчера из Киева. Ну, немножко в нос, подумаешь. Заслуга родителей: немецкого не знают. – Что вы скажете, – спрашивает Даник, – мужчина застрелил женщину, суд квалицировал как предумышленное убийство. И оправдал.

Только открыла рот, но ответы уже посыпались со всех сторон, как из рога изобилия:

– Она была надзирательницей в концлагере, где погибла его семья.

– Судья был подкуплен.

– Собиралась плеснуть ему в лицо серной кислотой.

– Да нет же, был такой фильм: он убил свою жену...

– Я тоже видела: он застрелил ее после того, как отсидел в тюрьме двадцать лет за ее убийство...

– В Англии по закону нельзя дважды получить срок за одно и то же.

О Виоле забыли, как в завязавшейся потасовке забывают о ее зачинщике, который тем временем беспрепятственно покидает поле битвы: Виолой был принят сигнал от космического «ушельца» – пославший ее к рижской бабушке наверх.

Прежде, чем снова спуститься, задержалась перед зеркалом: «Гм... кто эта интересная блондинка?» Скорректировала локон, взбила кружевную вставку.

Страшен был соблазн, открывшийся ей в темноте. Язычки пламени сладострастно трепетали. Число их было велико, но до числа зверя еще далеко. Перед чем угодно можно устоять: перед паштетом, перед салатом... С пирожками тяжелых: тесто – это уже тело родины. Но ради себя и родину предают. А вот сладенькое – это смерть моя, это я сам. В авестийских гимнах поется:

Лишь тот достоин влиться в Универсум,
Кто каждый день идет на бой с собой.

Победить сумеет проглотивший себя. Способность к самопожиранию выдает змею, а ее тантрический знак – какой? Может, все-таки скушать маленький кусочек? В борениях с собой никогда не знаешь, за кого болеть.

Вспыхнул свет, и грянули вразнобой: кто покультурней, пел «Хэппи бердсдэй», остальные – «Как на Сильвы именины испекли мы каравай...» Силька дула на свои годы, свечей хватало. Потом вкативший торт рикша щедро рукою вырезал ей сегмент: «Вот такой ширины, вот такой вышины». Силька уписывала его десертной вилочкой.

– Что наша мама? – по голосу было слышно, что ей вкусно.

– Сменила нашей маме пеленку.

Обобществление мам, согласно Энгельсу, есть высший этап в развитии материнства, которое после этого отомрет.

– Попробуй торт, во рту тает.

Виола уже потянулась к таявшей на глазах горке чистых тарелочек, но тот мужчина, которому рекомендовалось тридцать раз прожевать, один раз проглотить, а

не наоборот, который еще спрашивал, привлекаются ли ведьмы на полицейскую службу, опять пристал:

– А что, вы думаете, случилось с Ельциным?

Он ищет, куда бы поставить тарелочку со следами крема. Что такое счастье? Счастье – это когда твой рост 170, вес 54, а рядом огромный торт, и в руках у тебя тарелочка с десертной вилочкой.

– А что с ним случилось?

– Это я у вас спрашиваю. Паранормальное объяснение этому есть?

Вот дурной, чему – этому? Кончилось тем, что Виоле дали статью под заголовком «Купанье красного коня» – еженедельник «Полицейское досье» № 39. О том, как с одним из «братьев Гракхов» перестройки, Б. Ельциным, происходит ужасная история – опять же неясно, происходит ли. Он с букетом едет в гости к неназванному знакомому в зело охраняемый дачный поселок (не сказано куда – на Кудыкину Гору). Возле поста ГАИ Ельцин отпускает машину и дальше идет пешком. До КПП идти метров пятьсот. Там он появляется промокший до нитки, говорит, что на него напали. С мешком на голове он был увезен и затем сброшен с мостков в реку. Однако выплыл и сам пришел на Кудыкину Гору. Вскоре за Ельциным приезжает жена и дочь – и еще некто неназванный, прибывший десятью минутами раньше (подробность к делу не относящаяся, больше для понта). Того, к кому Ельцин шел, на даче не оказалось, как было сказано, «товарищи, жившие там, легли два дня назад в больницу». В дальнейшем Ельцин отказывается признать факт покушения и подать жалобу. Министр-силовик – фамилия не запомнилась, вроде как «Макакин» – обещает не поднимать шума. Тем не менее расследование производит и по требованию Горбачева о результатах сообщает на проходящей сессии Обезьянней Великой Палаты (бурные продолжительные аплодисменты, все встают). По Макакину, Ельцин все наврал: шофер довез его до самой дачи, на КПП это подтверждают: они машину пропустили; с моста в речку с мешком на голове человека сбросить можно, но в этом случае даже граф Монте-Кристо не выплыл бы – куда уж первому секретарю Свердловского обкома партии: берег крутой, высота мостика больше четырех метров, а воды по колено. Цель вранья очевидна: снискать популярность в народе. В ответ на это Ельцин твердит свое: нападения на него не было, а то, что было – его частное дело, Макакин свое обещание нарушил, против него, Ельцина, ведется кампания, во главе которой стоит сам Горбачев.

– Что думаете?

Что она думает? Что гости слишком широко пользуются своим правом на счастье. Сколько этот фраер шматов торта умял? Сколько их уже перебивало у него на блюдечке? Но подключенный к Универсуму никогда не скажет: «Обождите, дайте тортика себе положу, не достанется же». Лишь тот достоин подключений, кто каждый день идет на бой со своими слабостями.

– Этому существует какое-нибудь паранормальное объяснение?

Терпи, казак, а то мамой будешь, «нашей мамой».

– Паранормальное? А почему нормального не хотите?

Села, глаза закрыты, пальцы в «мудре», а кругом голоса – объекты наружного считывания. Всегда помнить: информация – уголь, сознание – топка. Можно напевать, тихонько, чтоб никто не слышал: «Наш паровоз, вперед лети... Чук-чук-чук-чук! Гек... Чук-чук-чук-чук! Гек... Информация – уголь, сознание – топка... Информация – уголь, сознание – топка... Ту-тууу!» Под шепот соседей по купе, боящихся вспугнуть ее вещей сон:

– Такой мужик, как Ельцин, не стал бы комедию ломать...

– Шофер скажет что ему велят. Конечно, пошел пешком.

Женский голос:

– А зачем ему пешком-то было?

- А он теперь всюду пешком ходит...
 - Угу, последние сто метров.
 - Да нет, оно и ежу понятно: что-то там было.
 - Он первый темнит.
 - Чего-то боится, воды в рот набрал.
 - Наберешь – в речке.
 - Раз те пошли на огласку, значит, понимают: рубашку он на себе не рванет.
- «Ах зо²? Ну держитесь, сволочи!» Пуговицы нынче дороги.
- Индийские мудрецы учат: нельзя выйти из реки, в которую не входил.
- Тут Виола вышла из транса.
- Дело было так...

А торта еще осталось на целую роту... Есть мысли, в которых никому не признаешься. И поступки есть, в которых никому не признаешься. Боженьки, какое счастье, что чужая душа – потемки.

– Значит: что за такая правда, когда против своего интереса все отрицаешь, только б чего не выплыло?

Один хихикнул-с. Но не над нею. Наверное, представил себе купанье красного коня, которому воды по голенище.

– Эта такая правда, которой *стыдно*. Катаешься по полу – как зеленых яблок объелся. Может, и чепуха, а не сознаешься. Жги меня, режь меня – не скажу. Второклассник толкнет тебя, маленькую, не сильно, но обидно исподтишка – так ты уже в отместку готова шлепнуться со второго этажа, только бы напугать его, только б перетрусил. Это в больнице больных навешают с цветами, а в гости приходят с бутылкой. Он нечаянно перепутал. А за нечаянно – чего бывает? С важным государственным лицом обошлись, как с Буратино: мешок на голову, довели до моста: «В следующий раз, – говорят, – головой вниз сбросим». И уехали. И тогда он сам полез в реку. С моста, конечно, не прыгал. Но в воду полез. Со всем по-детски. Обиде все возрасты покорны. Он никогда не сознается в этом. Придумает сам себе оправдание: нужны были следы, ему нанесли оскорбление действием, а следов никаких. Он им покажет! Мало явиться на КПП и сказать: «На меня напали, мне угрожали» – не впечатлит. А когда весь мокрый... Но тут выясняется: не сообразил, слишком мелко, чтоб с моста вниз головой.

– Выходит, не Горбачев?

– И не мечтайте. Наоборот. Все хотели замять: мы погорячились, но и ты хорош. Победила дружба, гут? Ельцин: гут, не надо мне разбирательства. И помирились бы. Пришел бы он с букетом водки. Кто без греха. Ельцин мужчина видный. А Горбачев: нет, разбирательство. Он-то без греха. На что ему чужая ничья, когда у него все козыри, он с них и зайдет. Тогда Ельцин: «Горбачев возглавляет кампанию клеветы против меня». Гласности захотел – получай. Теперь, чего со мной ни случится, ты в ответе за все.

Бурные аплодисменты. Кто-то начал, и все подхватили. Как если б Виола исполнила концерт Сарасате. Толик-скрипач, чуть не ставший горбатым, тоже кричал «браво-бис». А ведь застыдился ее – еще какой-то жалкий час назад. Когда человек жалок, то и все у него жалкое. Случай убедиться в этом скоро представился. Однажды по русскому радио слышит: наш гость, скрипач Анатолий Фидлер, выступает и там, и там, вчера давал концерт в культурном центре «Унзер Фрейлахс», а на той неделе его можно будет послушать в альтерсхайме³ в Потсдаме. Нарасхват.

Ведущая:

– А у вас есть хобби?

² Ах так? (нем.)

³ Дом престарелых (нем.)

– Люблю решать шахматные задачи, разные головоломки.
– Ой, как интересно... Ну, например?
– Бэрчик, дай примерчик, да? Помните, недавно Ельцина искупали. Он утверждал, что его с моста в речку скинули, а там воды, как в луже. – И дальше слово в слово пересказал Виолу, только о ней самой – ни гу-гу. А она днями начала практиковать. Реклама.

– Ой, как интересно... Не хотите об этом написать?
– Подумаю. Знаете, что говорил маркиз де Кюстин: я мало видел, но о многом догадался.

Виола открыла свой праксис без помощи посредников, безо всяких бюро, напрямую через газеты. Лишь два слова: «Виола Вещая». Еще не было восьми, когда позвонили. Первый пациент снился потом много ночей – как гвардии снайперу Нине Ропше ее первый фашист.

Запинающаяся мужская скороговорка:

– Я по объявлению. Фрау Вещая?
– Виола Вещая, да.
– Наш сын исчез. Только скажите сразу, можете помочь? Потому что тогда...
(В сторону: – Да погоди ты, сам знаю...) Тогда мы...
– Я смогу найти. Но это зависит от вас.
– Мы согласны на любую сумму...
– Вы, папаша, не поняли. Я не о том. Вы должны стараться, очень стараться. Делать все по моему слову. Дышать, как я скажу. И обязательно всем сердцем верить, что я помогу.

– Да...

– Сделали сильный ноздревой вдох и выдох, ноздри каменные... и ваша жена тоже пусть делает.

(– Слышишь, делай, как я...)

– Выдохнули? Теперь не дышать. Раз, два, три... – досчитала до двадцати пяти. – Можно дышать. Снова, – так несколько минут упражнялись в цигуне. Наконец поставила им дыхалку. – Откуда вы звоните? Отвечайте медленно, помните, только я могу вам помочь. Сперва медленно повторите про себя мой вопрос. Повторили? Отвечайте.

– Мы прямо с автобана в полицию...

– Стоп. Вы были в полиции, так?

– Да.

– Вы сказали, что потерялся сын?

– Да.

– Те сказали, что объявят в розыск?

– Да, но...

– Что – но...

– Такого не бывает, сказали. И смотрели на нас...

– Молчим, дышим... так. Вы вышли из полиции и сразу купили «Курьер-газету»?

– Да.

– У Матрены Львовны автоответчик: звонить с десяти...

– Да.

– Позвонили ко мне...

– Да.

– А у вас фотография сына есть при себе?

– На его аусвайсе.

– Подходите. Вы с машиной? Едете на Ротхауз-Штирлиц. Ставите ее в подземный гараж. И когда выйдете, то идете налево по той же стороне. На углу, не переходя, большими буквами: «Меццо». Там увидите за столиком интересную блондинку, всю в черном, спиной к двери. Это буду я, Виола Вещая.

Со спины, положим, не сразу определишь, интересная ли.

Когда на стене зеркало, то сидеть лицом к стене – одно удовольствие. Себя видишь. Плюс в зал глядишь. Плюс пациента своего замечаешь раньше, чем он тебя (привет от Нины Ропши). Плюс стул его будет стоять против света. Столько плюсов. А минусов ни одного. Это другие пялятся на дверь, как сторожевые псы.

Уже пришли? Ну и скорость у папика. Здешние. Возвращались из другого города. Типичные на смерть перепуганные папик и мамик. Глаза стоят, моторика сползла, все методом тыка. В таком виде только за руль.

Пока ее отыскивали, успела десять раз их считать. Устроены, он на фирме. Москва компьютерная. Что не Киев и не Харьков ясно, а для Ленинграда... Уж больно супутны. Сыну ее не меньше двенадцати – взгляд по полу уже не волочится.

Когда подошли, неуверенно, Виола первая сказала, не поворачиваясь:

– Подсаживайтесь.

Может, у кого-то и нет глаз на затылке, но только не у нее.

– Чай? Кофе? Капучино? «Валенсия»?

– Воды.

– И мне.

– Вам лучше «Валенсию», мамаша. А вам, мужчина, рекомендуется воду без газа. Газ поглощает энергию.

Нет, Виола совсем не волновалась. Дебют – парад небитых. В первый раз не страшно, в первый раз энергонапорный столб – как от виагры. Гиперэнергетизм у начинающих чудовищный. Чук-чук-чук-чук... Гек! Чук-чук-чук-чук... Гек! Ту-туу! Сей-час зазвенят стаканы на столике – как в вагоне. А под столом распальцовочка.

– А зовут Антон? – сверялась с аусвайсом. Московское месторождение. Тринадцать лет козьяке. Вон надулся. Но под пальцами тепло, когда прикоснулась к фотографии. Отлегло. Хотя им ничего не сказала. Еще бы полицейским было не подозрительно. Ребенок исчезает, как в кабинке у Кио. От иностранцев можно всего ждать. Объясняют полицейским, что ночью ехали, потому что заторов нет, а утром можно отоспаться: каникулы. Полицейские не понимают: «Ну и что, что каникулы?» Снова объясняют им русским языком: можно отоспаться. «Ну хорошо, – все равно им подозрительно. – Восстановливаем картину. Если неверно, поправьте». Значит, ему срочно понадобилось по нужде. Остановились. Бывает. Сами пиво пьем. Вышел он из машины. Возвращается. Едут дальше. Уже пошли съезды. Думают, Антон сзади спит. Когда в город въехали, то смотрят – Антона нет! В последний раз разговаривала с ним она. В отсутствие мужа. «И вы убеждены, что мальчик не выходил из машины?» Совершенно убеждена. Он всегда дверцей хлопает, как из пушки. Ему за это вечно влетает. А тут хлопнуло только раз, когда муж садился. А до того они все время разговаривали. Муж сел, и сразу поехали.

Составили протокол. Будут держать их в курсе. Ауф видерзеен.

Виола открыла глаза.

– А о чем вы с ним тогда среди ночи говорили, ругали? Честно. На своих всегда спускают полкана.

Молчание.

– Да... за что-то поругала.

– За что?

– За все. Что безголовый, что ключ чуть не потерял, что все забывает...

– А в предпоследний раз когда вы останавливались?

Он:

– Когда заправлялся. На бензоколонке.

– Тогда мне надо было в туалет, – добавила она.

– А Антон чего делал?

– Ничего, спал.

– Точно не выходил? Хорошо. Я не сказала сразу: фотография живая. Если он снова ключи не потерял, то он дома.

Это только в кино звонят из кафетериев, а в жизни беги в автомат и звони – что оба и делают. Теперь главное, чтоб телефон работал. И чтоб кто другой не пустил корни в будке. В Германии в стекло не постучишь двушкой. Пока все патроны не израсходуется, не кончит. А что прыгаешь на одной ножке – ему, нахалу, плевать.

Сняла энергоблок и повторно по всему прошлась, уже разблокировавшись. На бензоколонке в уборную не сходил – спал. Съехали с автобана. Решил сходить в последний момент, когда отец уже сел.

Подстава в том, что дверцы хлопнули одновременно. «Число черных и белых совпадений неодинаково, об этом позаботились демоны. Поэтому мудрый не надеется на случай, но всегда связывает с ним свои опасения». (В классической эзотерике Виола подкована.)

Папик с мамиком уехали, Антона бросили за дурость – так выглядело: сперва выпали по первое число, а потом бросили. Дети покорны вихревой карме. Он терпеливо ждет. Поняв, что за него взялись всерьез, ловит попутку. Картина неслабая: на обочине кольца Сатурна детская фигурка, машущая руками. Сбоку уже небо сизое, в буренках. Все дороги ведут в Берлин. На пролетающих на рассвете фарах печать бессонной ночи.

Упс! Первый же шофер, при виде украденной у Мунка картины, переходит на полосу безопасности и катит малиновыми огнями вперед: нашлась! Зареванного Антона грузят в машину, на которой написано «УПС» (United Purcel Services), и с доставкой на дом.

Почему не в полицию? Может, когда проезжали мимо дома, сами собой зазвенели в кармане ключи. А может, богу Пуруше не угодно было, чтобы чудо обретения ребенка обошлось без участия Виолы.

Коррекция на суперпроигрыш: два роковых совпадения подряд, к дуплету дверей подключается маньяк-педофил за рулем? Сомнительно. К тому ж от фотографии идет тепло.

Из окна, часть которого отражается в зеркале, видна телефонная будка. Если б можно было еще разглядеть губы: шевелятся ли? Похоже, что ждет... Нет! Уже говорит что-то в трубку, это заметно по ней, по нему, он выхватывает у нее трубку.

Пожурила супругов:

– Жарили картошку, припекли Антошку? – и ничего с них не взяла, только за воду и за «Валенсию». Тут женщина как кинется целовать ей руки.

Резонанс сильнейший, телефон заливался от счастья, что есть кто-то, кто находит без вести пропавших, ставит на ноги больных, укладывает в постель здоровых. Как раз в то время какой-то Слава влиял на сексуальную чакру сразу восьмью женщинами. Пришлось поработать с разными энергиями. Когда через несколько лет смотрела фильм «Восемь женщин», то вычислила убийцу без всякой мудры. Раскрывать убийство одно удовольствие. Первое условие – не искать мотив. Об этом давно писалось – надо знать, что читать. Виола читает каждый день пятнадцать минут по утрянке. Но всем и каждому не докладывает, как одна ее коллега. «Что слышно?» – спрашиваешь. «Мать!.. Получила удар от классика! – и зачитывает:

У преступления не бывает мотива, в крайнем случае мотив служит лишь предлогом, но не каждый преступник настолько благовоспитан, чтобы утруждать себя его приисканием. Логичнее предположить, что зло обусловлено самой природою своею, оно беспричинно и творит само себя. Иначе позволительно спросить: чем мотивирована добродетель?

– Какой улет, а? Новое слово...»

Новое слово – когда еще мы это проходили... Может, у Стендаля этого и не читала, так читала другое. Не такая уж она его любительница. Она активно читает «Так говорил Дао». «Земели» публикуют его в извлечениях. Великая вещь – китайский энергетический зонтик.

Как строится у Виолы трудовой день? Сразу по пробуждении телесном пятнадцатиминутная подзарядка: читка газет или другой эзотерики. («В Турции перевернулся автобус с российскими туристами. Тридцать пять человек ранено, жертв нет».) Затем дыхательные упражнения. Лешка когда-то хохмил: «Упражнялась в цигуне, оказалась вся в говне». Затем выведение шлаков, общее омовение, чай с пятью ложечками телефона.

– Алё... Вещая... Одно око? Не поняла юмора... Ах одинокий – одно око... Да, это можно... Это тоже неплохо... Да... Да... Все, привет горячий.

– Алё... Что? После семидесяти неинтересно жить? Мужчины не обращают на тебя внимания? Тюбик горчицы на тюбик брандгеля, от ожогов который. Намазать локти, немножко будет кусаться, потерпеть, и все пройдет зимой холодной... Ах, пять дней не было стула? Поздравляю, сосредоточенность на стуле – секс пожилых... Не за что.

Но бывает, звонят поглумиться:

– Это вещая каурка?

Никогда в таких случаях не бросай трубку. Говоришь ему – с чувством, с толком, с расстановкой:

– Я ж тебя знаю на клеточном уровне. Набрал мой номер, ты начертил знак Мельхиора. Теперь твой палец у меня в черной дыре. Тебе надо очиститься. А то начнет гнить палец. Попрошай трижды за мной: «Ищово ыткурф?»

Не припомнит такого, чтобы тут же не ломались. Повторяют, как попки: «Ищово ыткурф». Правда, один, когда она сказала, что палец загниет, наслал на нее три буквы. На другой день звонит: под ногтем уже нарыв, все что угодно, только сними заклятье. Сняла. Будет всем рассказывать. Не мудрено, что народ боится.

Раз по ошибке нажала не ту кнопку, вот и вышло, что хрен с ней, с Новой Зеландией, – ничего больше по телевизору не найти, все каналы перепутались, сексуальная программа в обмен на продовольственную. Один ее постоянный пациент дал телефон какого-то телевизионщика. Тот наладил за три минуты, но, уходя, прихватил лежавшие на телевизоре часики. Кроме него больше некому было: чужие здесь не бывают, дома она не практикует – зачем энергетические отходы хранить там, где спишь? Пожаловалась своему пациенту – его знакомому. Он звонит тому: ты что, подогретый? Да знаешь, кто это? Она у мертвяка алаплан брала из пятки на пересадку органов. Она ж найдет на тебя фиг знает чего. И так напугал, что парень подкинул часики в почтовый ящик.

Некоторые, прежде чем заняться с нею, испытывают ее на крутизну. Кто чужой сон расскажет – недавно приходила такая, слуга двух мужей, теперь третьего в гроб вгоняет. Мотоцикл без мотоциклиста ехал, видите ли, приснилось ей. Или положат перед ней фотографию умершего: ушел к курносенькой, можно ли вернуть?

На самом деле работа очень нервная. Ты, как пионерка, всегда на стреме. Они, обычно, сами подставляются, по скуперу. Спрашиваешь: «Считать как за малую услугу?» – «Да». Если потом в претензии, всегда можно сказать: «Вы мне сколько заплатили? И хотите как за пучок энергии? А почему пучок, знаете? Я ведь цены не сама проставляю. Открылось настолько, насколько заплатили». Затыкаются. Либо исчезают навсегда, либо – навеки твой.

Эта, что спрашивает: «Вы Вещая по паспорту или по роли?» – свое схлопотала. «Гостит театр имени Образцова». Культурная. В «Пазолини» явится тише воды, ниже травы. Вместо столиков там сидят за подоконником, лицом на улицу. Как

баре – в баре. Есть несколько столиков на стойку, за ними что-то проглатывают и убегают. У стены такие, вроде лож, с мягкими диванчиками. Подсветка хуже, чем в старом «Меццо», а сиденья лучше – специально для тех, кто ведет сидячий образ жизни: шишек себе не набьешь где не следует (Виола уже набила).

Встреча с той особой вышла, прямо скажем, – роман с продолжением. Пришла: кожаная мини с футбольный мяч, одиннадцатиметровый бюст, помада «поцелуй вампира». (В смысле команда: «Поцелуй вампира» – и поцелует.) Как на работу вырядилась.

Взглядом по периметру вжик.

– Здравствуйте... Тамара.

– Очень приятно, подсаживайтесь. Чай, кофе, капучино, «Валенсию»?

– Без разницы. У меня вот что: я боюсь, что убью своего мужа.

Ничему не удивляемся. «Мудрый пребывает в состоянии покоя, чтобы посрамить демонов».

– Вам это снится?

– Я своих снов не выдаю.

– Что, такая свалка?

– Не знаю. Просто устаю и ничего не помню.

Ночная колючка: и хочется, и колется.

– А от чего так устаете?

– По мне не видно, отчего?

Еще бы! Передача «В рабочий полдень».

– Видно. А зачем же делать так, чтоб видно было. Я не клиент. Чего тебе надо? По-честному. Боишься, что мужа убьешь?

Да, боится. И рассказала историю. Они сами из Приднестровья. (Допустим.) Приехали и подали на азию⁴. Когда соседям азербайджанцам отказали – политикам, они тоже перешли на нелегал. Живут с того, что муж ее вывозит. По советским правам купил вроде «Газели», но постоянного места у нее нет, Фигаро здесь, Фигаро там. Иначе такой калым заплатишь, что лучше обратно на Калининградское шоссе. Работа в принципе интересная, с людьми, но у нее муж все до последнего пфеннига себе забирает, как будто она ему рабыня. С ее характером она за себя не ручается.

– А ребенок чей, его?

Пошла пятнами от шеи – у кого на шее крестик, у кого на шее «додик», а у нее ключик – золотой.

– Что ты так пугаешься? Пугайся в полиции.

– Я?.. А откуда вы про Ритку знаете?

– Еще не хватало, чтобы я – не знала. Вон ключик от сердца, открывай и бери.

Та – ладони к груди. А Виола продолжала:

– «Из Приднестровья». Я ж азию не даю, чего на меня пудру изводить? Тамара то по паспорту или по Калининградскому шоссе?

Проколотась.

Как сиганет из кафе, чуть не сбила с ног юношу с жемчужной серьгой и с двумя чашечками – направлявшегося к стойке-подоконнику, где в ожидании друга чах его двойник. В «Пазолини» обходимся без официанток. «Сделай сам». Вот они сами и делают.

Виола не обязана была объяснять этой санитарке-звать Тамаркой: хочешь, чтобы твое чадо осталось за кадром, чаще вспоминай кукольный театр. Говорим «кукольный театр», подразумеваем «ребенок» (как с «Лениным», когда говоришь одно, подразумеваешь другое).

⁴ Убежище для преследуемых на родине иностранцев (искаж. нем.)

Боженьки, даже сумку оставила. Нема дурных: откроешь, а там малафец. Таких примеров хоть отбавляй. Анна Герман. Поднесли же ей в Сочах корзину с цветами, а на карточке имя и фамилия наоборот: Герман Анна. Вот Герман Анну и убил. Если ты женщина, а фамильная рака мужская, нельзя чтоб фамилия писалась впереди имени: Михайлова Татьяна, Ахматова Анна. Это нехорошо для гинекологии. Кто с такими фамилиями, должен беречься перестановки мест слагаемых.

И когда находишь сумочку или кошелек, надо беречься. Сразу не открывать. Райка рассказывает, что у них в Израилевке бумажник с земли ни одна собака не поднимет, тут же вызывают сапера.

А Виола сама себе сапер. Сделав вид, что у нее ноги устали, вытянула их на диванчике, выпрямила спину, руки на коленях ладонями вверх, локти прижаты к бедрам, набрала по пояс воздух и, как в воронку, внутрь:

– Все, что эта персона адресует мне, возвращаю ей, свят, свят, свят.

Так проговорила – на последнем придыхании. А уж прибегнув к индивидуальным средствам защиты, можно и заглянуть, что там ей адресуют, чтоб знать, чего возвращать.

Опись: ключей три, два от дома – от парадной и от фатеры, и этот, от нежилого помещения, выглядит, как от висячего замка. Кошелек... Ого, шесть марок и один пфенниг: что-то покупала по цене сколько-то и девяносто девять пфеннигов. Ой ты, боженьки... У каждого свои средства индивидуальной защиты: на все пальцы хватит натянуть. И газовый баллончик – работа как-никак с людьми, а люди разные. Малафцом не пахнет, убежала с трюху, что ей ключиком сердце откроют... Ладуси, ладуси, где были – у бабуси: детская книжка с картинками. И чек на три девяносто девять, сегодняшним числом пробит. «Vücher Grzebin», это же магазин русской книги. Виола недавно приобрела там один трактат, Джо Кришны Лоуэлла «Дети Царя небесного». Выходит, всех денег у нее с собой было десять марок одной бумажкой, и она их разменяла.

Виола листает, решила вспомнить детство.

«Лебедь сказал Буратино: – Отпустите, пожалуйста, мои ноги». («А я ему вежливо: – Рядовой Ковалев, будьте так любезны, не капайте мне на лоб раскаленным оловом».) Елки-палки, черепаха Тортила... «Во рту она держала золотой ключик». Ритка – Ритка, да? – еще читать не умеет, ей читают по складам: «Ма-ма сто-ит на шос-се». Здешние школы с советскими не идут ни в какое сравнение. Опять же Ритка нигде не учится, раз они нелегалы. Лет ей может быть сколько угодно, при этом ни читать, ни писать.

Так за сумкой и не вернулась. Наверняка есть запасные ключи, остальное отработает. Назвалась Тамаркой, полезай в кузов.

Впрочем, продолжение следует. А в «Пазолини», надо сказать, Виолу уже знают: «украинише цауберин⁵ Виола». Немцам нравится, что она из Украины, сейчас все симпатии в украинской стороне. У нее в «Пазолини» скидка двадцать пять процентов – за клиентуру и за то, что она им регулярно обереги наговаривает:

Пахлый, чахлый, удом дряхлый,
Сними малафца с Пазолини-молодца,
Наведи на Якова, гнойного патлатого.

Только кончила с одной (тяжелый случай: «К дочке албанец присосался, что делать?» А что тут поделаешь...), как появляется мужик, позвонил к ней, с женой проблемы, поговорить надо. Ну, приходи. Карабас-Барабас один-в-один: чернявый, глаза выпучил. Огнеопасно. На всякий пожарный прочитала «Якова патлатого», а он услышал свое имя и давай: от кого узнала – она сказала?

⁵ Волшебница (нем.)

– Кто «она», что с тремя ключами? От дома, от квартиры и от сердца?

Виола понимает: из Приднестровья он – не она. Яшка-цыган. Совсем озверевши товарищ. А потеря самообладания – корень всех потерь. Сказано: «Кто ищет, тот никогда не найдет. И лишится последнего, кто со свечой заглядывает во все углы...»

– Ну, чего она хотела?

– Кто – она? В кожаной мини-юбке? Вы, дорогой мой человек, представились: Яков. А она – нет. Я лица, как бритвой, сканирую, а которые без имени, ничейные, эти как в морге сфотографированы. Как звать-то ее?

– Ну, Сашка... Александра.

– Саша шла по шоссе и сосала сушки. Можете быстро повторить.

– Я хочу знать, что она сказала. Я за это плачу.

Нет, такого и правда убить захочется.

– Не желаю иметь вас своим пациентом. Я не какая-нибудь там в шестнадцатом поколении, а честная ясновидящая. Чужую историю болезни я храню свято. Немедленно уходите отсюда, у меня на таких, как вы, дорогой мой молодой, есть управа. На Якова хорошо негатив сливать... Вали отсюда, пока не отсохло чего, понял?

Понял.

Медицинская тайна – это святое. «Разглашение паче порчи», учил Борис Борисович. И был – боженьки, как был прав. Виола такое может рассказать – Акунин отдыхает на природе. А сколько раз бывает, что это тайна от самих пациентов. У немецких врачей-палачей заведено куражиться над больными. Где это видано, чтоб раковый диагноз в лицо выдавался открытым текстом. Человек свихнется раньше, чем помрет. Придет домой – и в петлю. Или как та врачиха в Ломкlinik. Виола попала туда, вслух не очень-то и пожалуешься, с чем. Нажила себе девушка бухгалтерскую болезнь. («Доктор, что-то у меня в заднем проходе нехорошо». – «Что ж там хорошего-то может быть, бабушка?») Врач-палач, когда пришла в прaxis: к проктологу немедленно! Может, у вас рак! Полетела, как Карлсон. Номерок дали только на послезавтра. Два дня повторяла:

...А с Якова на всякого

С диагнозом раковым.

И помогло. Но Карлсона своего пришлось прооперировать. Впервые в Германии попала в больницу. Море впечатлений. Вместо сестрички, варившей в коридоре борщ со шприцами, пирожные к чаю. Всего две соседки. Одна неоперабельная – в косынке, с ней регулярно репетирует прощание труппа турецких родственников. Другая с осложнением после родов. Немка. Муж каждый день здесь. Сама – лахудра лахудрой, ни тебе подкраситься, ни тебе подмазаться. Такие они и на улице: идет, как с кровати встала. Виола не понимала немецких мужчин. И этот, не урод вроде бы.

Виолу тоже навестила одна ее коллега. Что в сумке у ней зефир в шоколаде, Виола увидела раньше, чем та его достала. Чук-чук-чук: с пустыми руками не придет. Раз без целлофанового мешочка, значит, в сумке. Раз в сумке, значит, из русского магазина – с их мешочком постыдишься идти, из «Альди» – и то лучше. А раз из русского магазина, значит, зефир в шоколаде – в подарочной упаковке только он да шоколадно-вафельный, остальное расфасовано в полиэтилен. А шоколадно-вафельный в больницу не несут.

Санитар тем временем разворачивал кровать с неоперабельной (зато немецкие санитары – красны девицы: он и пахнет мылом, и на башку себе гелю выдавил: перышко соломенное, перышко каштановое).

Переждав, коллега вошла.

- Чего у нее?
- *То самое.* Снова на рентген.

Проводив глазами кровать, коллега сказала в типе, что лучше поскорей, чем мучиться.

- Я бы руки на себя наложила.
- И я. Хотя известны случаи... – оказывается, Виола немножко с соседкой работала.

Женщину долго не привозили. За это время можно было слетать в Турцию. Или разобраться, кому кем кто приходится в кучковавшемся за дверью многочисленном семействе. Уют домостроя, вековой семейный уклад – больше нечем поправить смерть. Делайте вид, что у вас и рождаются и умирают гуртом. Все равно каждый дышит сам по себе.

Наконец везут. Одна русская, швестер Елена, шепотом рассказала: сделали рентген, рентгенолог (по-здешнему, радиолог) берет снимок: опухоль бесследно исчезла.

«Неужели благодаря мне...»

- Все дело в положительной энергетике, – сказала Виола.

От медсестры как раз шла отрицательная, хотя, узнав, что Виола да что, сразу сменила тон: стала говорить по-русски, правда, шепотом. А так только нур дойч – с пудовым русским акцентом.

– Вы слушайте, что было дальше. Приходит Лом... Lohmklinik – это по его делу... Приходит, смотрит: на рентгенбильде опухоль в пол-легкого. Ну, ассистент-арцт, парень молодой, растерялся: тот же рентгенбильд, какая-то Айша... Оправдывается: его смена с двух, больную привезли в дежурство фрау Кроковски. Лом в крик: «Где фрау доктор Кроковски!» А она первый день как вышла после пневмонии. «Если больна, незачем ходить на работу!» Видят, ее сапоги на месте, а самой нигде нет. Через пятнадцать минут находят на дворе мертвую. Полиция считает, что самоубийство. Поднялась в эндокринологию и выбросилась из окна туалета. От пациентов велено скрывать, но все равно все узнают.

У Виолы стучит в уши. Чук! Чук! Красные колеса медленно начинают крутиться... Чук! Чук! Чук! Все скорей... Паровоз вперед летит.... Чук-чук-чук... Гек! Только разогналась – остановка. Даже не предполагала, что так близко ехать. Близенько-близенько.

Влезла в шлепанцы, посмотрелась в зеркальце (кто эта интересная блондинка?). Кабинет Лома в конце коридора – *вломилась*. Обычно он либо «еще не приходил», либо «на операции». Поймай, если сможешь. Подстерегаешь где-нибудь у лифта, чтоб не смылся. Врачи ж чуткие: завидят больного – и ходу пароходу. Лом тоже чуткий – на тех, кто его караулит.

Уставился на нее, а ей что: пациент – не подчиненный, оберхирург уволить ее не может, только зарезать. Сейчас Виола приятно его огорошит: она – знаменитая на весь Берлин, на всю Германию украинская ясновидящая. К ней звонят даже из Австралии. Пусть херр доктор Лом не притворяется, что у них ничего не стряслось, – стряслось, еще как. В радиологии сегодня убили женщину-радиолога.

Онемел.

Да, убили. А что она из окна бросилась, так это ее зомбировали. Мальчишка-врач, который опухоль на снимке не нашел, ни при чем. Снимков-то было два.

Дар речи, казалось, навсегда оставил Лома.

– На вашем месте я бы в полицию не обращалась, – продолжает Виола. – Не трепайте имя, которое носит клиника.

Лом как фашистский генерал, на которого переводчица (кто бы мог подумать!) из-под полы навела пистолет: делай, что приказывают, или тебе капут. Тот – благородной внешности, весь из себя культурный, а страху в генеральских галифе не меньше, чем у Якова, гнойного-патлатого, разницы никакой.

– Почему я должен верить в этот вздор? (Генерал: «Почему я должен верить, что вы меня не убьете?» Всегда считал большевиков лгунами, а тут вся надежда на то, что ошибался...)

Виола: если херр профессор доктор Лом хочет точно знать, как все было, он должен позвонить в радиологию и вызвать лаборантку. Но чтоб она ничего не заподозрила. Потому что улики у нее в сумке. Она явится с большой сумкой. (Под дулом пистолета генерал тоже звонит куда-то и что-то приказывает – с виду обычным голосом.)

– Лом... Фрау Скржипник, хорошо, что вы еще здесь. Я думал, что вы ушли. А доктор Гейгер? А... ну, это даже лучше. Я бы хотел с вами о нем побеседовать с глазу на глаз... Не могли бы вы ко мне подняться?

Молчание. Чтут память усопшей – пока ее убивица поднимается. Лом стоит лицом к окну. За окном: налево – полиция, направо – церковь. Обе из красномордого кирпича. Преступники туда, жертвы сюда. На первый-второй рассчитайсь!

Стук в дверь, которым сигнализируют, что входят, – здесь такой порядок. Лом даже не обернулся. Виола оценила: сама встречала пациентов спиной. А все же жаль, смазался эффект от показа мод: «Уличная сумка смело контрастирует с белым халатом и с белыми больничными кедами».

Лаборантка сразу поняла, что в ловушке. А больная-то что здесь делает?

– Фрау Скржипник, – не оборачиваясь, все правильно, панику сеет, – как вышло, что доктор Гейгер проглядел опухоль, которую только слепой не увидит? «Бэ... мэ...» – дальше дело не пошло.

Запер дверь на ключ. «Вождь знает: взперти страшно» – интересно, где он этому научился? Недаром отсюда на Тибет многие ездят.

Из немого участника сцены на неизвестно каких ролях Виола превратилась в свидетеля: теперь не заявишь, что в формате один на один шеф тебя домогался – о чем эти бабы только и мечтают.

– У меня есть все основания пригласить господ из дома напротив. Я обещаю не делать этого, если вы добровольно покажете, что у вас в сумке. Почему вы с ней не расстаетесь?

Немки держатся лучше наших, а все равно: поднеси к темени ладонь – обожжет. Не говоря уж о кишечном тракте. Лому Виола посоветовала бы хорошенько проветрить помещение на предмет дезактивации.

Инквизиция, которую Виолиным предшественницам было за что проклинать с подмостков костра, определяла ведьм по неспособности пролить слезинку – выбросить белый флаг раскаяния. У этой глаза оставались сухими, как осенний лист, хотя, как он же, дрожал рентгеновский снимок в руке.

По ее версии, всему виной случайность: «Врачи, знаете, какие они? Им вечно что-то кажется». Фрау Кроковски после воспаления легких тоже стало что-то казаться. Говорить никому не решила. Станут шушукаться: дескать, мнительная. В первый день, как вышла на работу, сама сделала себе рентген – убедиться, что это ее фантазия. Решили, лучше в конце ее смены, а имя вписать последнего пациента: мало ли кто войдет – еще увидит ничейный снимок. Пока санитар не пришел за турчанкой – ну-ка, давай! И в спешке всё перепутали. «Катарина!» Ее уже и след простыл. И как назло Гейгер. Берет снимок – ничего не понимает. Другой на полу валялся, едва успела его под шкафчик ногой. Потом незаметно поменяла, этот спрятала в сумку, так и ходит с ним, куда его выбросишь. Когда узнала, что стряслось, вспомнила: как-то сделали рентген, больной еще не знает, что у него. И Катарина – ей, тихо: «Я бы не стала ждать конца. Все равно это не жизнь».

– Не верьте ей, она это сделала специально, – сказала Виола, не смущаясь присутствием лаборантки. – Скажите, что вы не верите.

– Это останется между нами, фрау Скржипник, но вам придется найти себе другое место, – Лом открыл ключом клетку и выпустил убийцу на свободу.

– Откройте окно.

– Зачем?

– Я знаю, что говорю.

И Лом послушался.

– Я убежден, что это случайность. Зачем ей это надо было?

Конечно, ему так удобней. Виола уже раскусила их хваленую честность. Ставят знак равенства между честным человеком и честным поступком, так что всегда можно сказать с чистой совестью: я ничего не знал. Да какая могла быть причина – одна на другую душевно пашет: «Катарина!..» И вдруг взбунтовалась.

– Вы Стендаля читали?

Но профессор доктор Лом, внук великого Лома, не читал Стендаля.

– Болезнь лишь предлог для смерти. Так и мотив – лишь предлог для убийства.

– Это сказал Стендаль?

– Это говорю я, Виола Вещая.

Лишнее знакомство в медицинском мире не валяется. Да еще главпалач. Если что, снимаешь трубку: «Это говорю я, Виола Вещая». В разведке уже есть свой человек. Теперь и в мире эскалопов завелся. Скоро все будет схвачено.

– Могу ли я вам задать один вопрос: как вы об этом узнали?

– Я же сказала: я – знаменитая на весь город украинская ясновидящая. Если не верите, позвоните к Пазолини, спросите, кто такая цауберин Виола.

Так она ему и расскажет, держи карман шире.

Однажды объяснила, кто да как купал красного коня, – тут же прикарманили. И по русскому радио на весь мир. Этот Фидлер еще книжку хотел написать – вместо того, чтоб ей в ножки поклониться, низенько-низенько. Стыдно, видишь, стало на людях стоять с социальщицей. Да если б не эта социальщица, сам бы сидел на социале. Скрипач... Кто тебя зубы отучил сжимать? Ладно, никому ничего объяснять не обязана. На то и ясновидящая, чтобы все видеть. Точка.

– Знаете, херр профессор доктор Лом, где я родилась? В Виннице, вот где. Это место непростое. Оно стоит на трех термических треугольниках. Вершина черного треугольника упирается в ставку Гитлера, вершина серого – в гроб с Пироговым. А белый треугольник показывает на могилу Уманского Хасида. Винницу еще называют Городом Трех Энергий. Там всегда повышенный радиоактивный фон, и ученые не могут понять, в чем дело.

Вот такие пироги. Лопайте свой кайф, господин профессор. Гут-аппетит.

Вообще-то все элементарно. Включение. Мудро. Поехали: чики-чики-чики... чикенс-чикенс-чикенс... Разгоняемся:

Диккенс-Диккенс-Диккенс,
Стендаль-Стендаль-Стендаль,
Андроповым стал Рыбинск,
Дорожка уходит вдаль.

Диккенс, Диккенс, Диккенс – это тома, тома, тома. Как и подписной Стендаль, Стендаль, Стендаль.

Ту-туу! Поехали с орехами...

У Бориса Борисовича стоял тридцатитомник Диккенса в переводе мужа и жены, любивших друг друга сильнее смерти. И когда у нее нашли *то самое*, они, чтоб не разлучаться, оба приняли яд. Но оказалось, что с «диагнозом раковым» вышла ошибочка. Борис Борисович, знавший Диккенса назубок, провел собственную экспертизу и пришел к выводу, что налицо малафец. Врач был в курсе: ежели че-

го, они уговорилась уйти вместе. Он все и подстроил. Зачем? Может, из мести какой, может, поймал экстрим.

Сегодня Виола блистательно доказала правоту своего учителя, выдвинувшего гипотезу зомбированного самоубийства мужа и жены переводчиков. Когда на одном и том же снимке опухоль то видна, то не видна, естественней всего предположить, что снимков – два. Энерготерапия, к которой она попыталась прибегнуть, преобразует только живую ткань – не рентгеновский снимок.

Минуть тело, воздействовать на его тень – это слишком мало или слишком много? – вопрошают у мудреца. – Это слишком глупо, – гласит ответ.

Теория теорией, а прежде всего Виола прикладной эзотерик: пальцы в клинч, чук-чук-чук-чучка – и в гости прикатил Борис Борисович со своей гипотезой зомбированного самоубийства. Стопроцентное наложение: один и тот же случай. А что малафеец недоказуем, так он недоказуем еще от сотворения мира, которое и само-то больше смахивает на злой умысел: «Сотворение мира – малафеец или стечение обстоятельств? Жертва не того, так другого, человечество бессильно дать ответ».

Но практический результат можно нашарить и в темноте, под шкафчиком. В виде найденного там снимка. Доктор Лом отныне всегда к ее услугам. Кто следующий? Может, бундесканцлер Коль? Или обербургомистр Дибген?

По крайней мере, визитной карточкой херра Хиллярдсена Виола уже воспользовалась (оставить телефончик – это как в первом акте повесить на стенку ружье). Но по порядку. Началось все с телефонного звонка, который не сумела считать.

– С вами говорит... – не поняла, кто, но не стала переспрашивать, все в потоке. – Дело идет о жизни и смерти. К вам умирающий взывает. (Во впендюрил! И у них дома когда-то была картинка: Германн на коленях перед Лизой, у виска пистолет. Бесплатное приложение к журналу «Нива».) Я буду ждать перед входом в культурный центр «Унзер Фрейлахс», это рядом с рестораном «Исаич». Ровно без двадцати восемь, ни минутой позже. В восемь начало, и тогда случится непоправимое. Затычки в нос уже не помогут.

Затычки в нос? Ах вон оно что... Фидлер, скрипач. Ну, дает. Странный звонок. И говорил так же. Напомнило фотографию в разделе «Кримиссимо»: «Кто располагает какими-нибудь сведениями об этой женщине, просим откликнуться». А она уж видно, что мертвая. У мертвого Че Гевары такой же взгляд... Боженьки! Это ж та, что сумку с «Золотым ключиком» бросила. Мужа, боялась, убьет. А он ее опередил, Яков... Всяко... Всяко в полицию сообщила б – «на условиях полной анонимности». Но когда дается абонентный ящик. На деревню дедушке пусть Ванька Жуков пишет, это не ее печаль... Глянула еще раз, контрольный выстрел глазками. Покойница, а тепло. Либо тело не остыло, когда фотографировали, либо газета на батаре лежала.

Но это совсем другой сюжет. Это к слову, что скрипач, позвонивший к ней, Фидлер, голосом был схож с этой фотографией. К вам умирающий не взывает, а *взывает*. Звоночек-то с того света. Чистый Вуду.

Пошла не раздумывая. Новый «Еврейский культурный центр». Когда-то она уже была там, инкогнито, на встрече с Симоном-волхвом, ну, контактером с космосом. «Мудрец век живет и век учится у глупцов».

Смотрит на часы – на свои часики, которые телевизионщик раз смахнул с телевизора. До без двадцати оставалось пять минут. «Просящему отмеряй с лихвой, и тебе будет отмерено без числа». Он наверняка стоит, ждет – так думала, подходя. И потом, самой же любопытно.

Разочарование полное: никто ее не ждал. Как быть, войти внутрь? Люди скажут: чего это Виола Вещая притащилась? Что хоть за концерт-то...

Двухсотлетию со дня рождения Пушкина посвящается

Роняет лес багряный свой убор

Первое отделение:

Вступильное слово – Нелли Бершадская
«Пушкин – антисемит или семит? История одного табу»
Докладчик Ивонна Белкина. После доклада состоятся прения

Второе отделение:

А.С. Пушкин, «Моцарт и Сальери», маленькая трагедия

В ролях:

Вольфганг Амадеус Моцарт – заслуженная артистка
Коми ССР Анастасия Терлецкая
Антонио Сальери – Виктор Любовоз
Нищий скрипач – Анатолий Фидлер
Музыкальное оформление – Сильвия Таль

Вход 5 марок

Вдруг выбегает, в сюртуке, в дырявых чулках. Увидел ее:

– Вы? Вам что, больше делать нечего? Мне сейчас выступить. Вы, наверно, совсем того? – и убежал, как черт от ладана.

Покупка. Другому такой щуп запустит, себе – фиг. Совсем не ведает, что творит. Говорится ж врачу: «Сама себя исцели». Купилась, как последняя лохань. Она уже раз отличилась с ним. На том день рождение. Забыла, с домработницей знаться стыдно. На весь крещеный мир чужое за свое выдавать – это пожалуйста. Противно, что по второму кругу об него же. А говорят, нельзя дважды вляпаться в одно и то же.

Ни на какой концерт, или на что там, не осталась. По долинам и по взгорьям шла коза, поджавши хвост, и коза эта была – она.

Как по городу Берлину шло созвездие Козы...

Утро вечера еще мудрёней. Наутро читает (в траурной рамке):

С глубоким прискорбием извещаем о безвременной кончине известного скрипача и писателя Анатолия Фидлера и выражаем соболезнование друзьям и близким покойного.

Объединение выходцев из Риги

Глазам своим не верит. А под этой рамкой другая рамка... Да их здесь целый эрмитаж!

Еврейская культура в Берлине понесла невосполнимую утрату. На 43-м году жизни скончался Анатолий Фидлер, прославленный музыкант, одаренный литератор, человек большой души. Смерть вырвала скрипку из рук мастера прямо на сцене. Прощай, Толик, мы, старики, всегда будем помнить тебя, молодого.

Еврейский старческий дом в Потсдаме

Боженьки, на сорок третьем году! Урок тем, кто обижают Виолу. Виола, глядишь, и простит, но энергетика обиды влюбчива: «Берегись любви моей», – поет она. Одна коллега, еще по той жизни, хвастала: каждый, кто ее обидел, вскоре умирал не своей смертью. Ну и дохвасталась: утонула в Днепре, совсем у берега.

Универсум свидетель: ни волшебным словом, ни задней мыслью – бантиком своим зла ему не желала. Обиду держала тупым концом.

На девятый день дополнительная информация к размышлению (этих дней вроде бы семь должно пройти у евреев, но какие мы евреи – может, бабушки и бабушки были, а мы совок нерушимый, инди-руси пхай-пхай). Виола в утреннем режиме перед выведением шлаков. Обычная газетная развлекуха: жизнерадостная киевлянка (и прилагается фоторобот), готова переехать на ПМЖ в Германию, социальщиков и бездельников просит не беспокоиться, фотография обязательна. «Я бы с твоей фланелькой, бабонька, была поговорчивей...» 155/92/54 – Виола отдыхает на природе.

Ну что за идиоты! Опять «Вечная». Сами они вечные. Весь город знает, что она – Вещая. Как придет к ним да устроит раздолбон – мало не покажется. Звонить в «Курьер» бесполезно. Там редактор – Слепой. Печатают «кремиссимо» вместо «кримиссимо» – а это реклама «Крем-бомбы» по телевизору. Кретины утробные. Писали б «криминалиссимо» (у нее в классе был мальчик – ему скажешь: «Ты кре-тин», а он: «Я не кретин, а критик»).

Кого Виола не выносила на дух (на нюх, на запах, на вид – на все органы чувств), это контактера с космосом Симона. Уже одним именем мечен: Симон-волхв (Виола берет по номиналу, объявляя сына – скромненькое, а там проплаченные статьи на полстраницы и фотопортрет – хоть в рамку вставляй). Однажды решила сходить посмотреть, как он будет слизывать сливки с чужих слезок. Тихонько села в последнем ряду с краю. Набился полный «Фрейлахс» несчастных. Появляется: чахлык невмырущий. Такая конституция, что на диетах сидеть не надо. И френч-стойка «до пят», как носят в космосе.

Начинает:

– Я не вправе открывать природу тайных сил, дающих мне власть над страданием. Но тайное станет явным для каждого из вас уже скоро. Как оно стало явным для сотен тех, кто благодаря мне освободился от физических и нравственных страданий. Имена этих людей известны: Лиля Шафаревич, пятьдесят семь лет, из Бад Пирмонта. Нина Фисенко, сорок пять лет, проживает в Ганновершминден. Иван Кеплер, семьдесят лет, из Нойбохума и многие другие. За полным списком излеченных мною обращаться по адресу: дабл ю дабл ю дабл ю собака вольф точка де. Еще в глубокой древности люди знали о свойстве небесных тел влиять на происходящее на Земле, начиная от морских приливов и заканчивая организмом людей. Мы даже представить себе не можем, точкой пересечения какого количества лучей являемся, – миллиардов, перемноженных между собой. Все дело в коррекции этих лучей. Мы же настраиваем спутниковые тарелки на прием конкретных программ, так и я настраиваю наши тарелки на нужный канал.

Сразу образовалась очередь из желающих настроить свою телевизионную тарелку – после такой настройки и пропадают часики...

До сих пор фото контактера с космосом Симона давалось в рекламном пакете, за содержание которого «Курьер-газета» не отвечает – и правильно делает: мужик не просто парит мозги, а с веничком. Вдруг то же фото – помельче, прямо-таки уменьшительно-ласкательное. И прижалося оно к «Коленке редактора», тоже маленькой да удаленькой.

«Задолго предугаданная трагедия» – умеет название придумать этот Слепой.

«КГ» уже сообщала о трагедии в «Нашем фрейлахсе», когда во время представления «Моцарта и Сальери» А. С. Пушкина прямо на сцене умер скрипач Анатолий Фидлер. Он исполнял роль нищего еврейского скрипача, чья игра вызвала восторг у гениального Моцарта, к жгучей зависти Сальери. Публика шла на маленькую трагедию, а стала потрясенной свидетельницей трагедии полномасштабной. В минувший понедельник друзья и поклонники Анатолия Фидлера попрощались с ним.

А сейчас я поведаю о том, чему сам был очевидцем. Как говорится, хотите верить, хотите нет. Когда Анатолий Фидлер давал интервью «КГ», мог ли кто-нибудь помыслить себе, что через три недели его не станет. Но есть пророки в нашем Отечестве. В тот день музыкант позабыл в редакции ноты, которые ему не суждено будет доиграть до конца: фантазию «Амадеус, Амадеус» по мотивам «Реквиема» Моцарта. Невольно начинаешь искать скрытый смысл в том, что жизнь музыканта оборвалась одновременно с глотком, убившим бессмертного Амадеуса. Ищешь и не находишь. Этот смысл дано постигнуть только избранным. Контактер с космосом Симон Вольф тогда же побывал в нашей редакции. Как сейчас вижу: вдруг он медленно берет эти ноты, смотрит в них и произносит странно изменившимся голосом: «Здесь бездыханным падет не Моцарт, а другой...» И его палец указал на такт с пометкой: *Моцарт падает бездыханным*.

Муха-бляха! «Задолго предугаданная трагедия»... Да ничего он не мог предугадать, он не работает с энергиями. За свою денежку на правах рекламы печатай хоть чего – что ты снежный человек с Тибетских гор. Но Слепой-то каков! Какую подлянку-блин-орлянку принял на душу. Не побрезговал. А есть действительно несчастные, последнее платят. Не все же замуж выходят по третьему разу, чтоб по третьему разу мужа схоронить.

Попыталась сменить гнев на цигун, только хуже сделала. Плюнула и в пене чувств: тра-та-та-та-та! Сейчас как покажет им, ищово ыткурф. «Виола Вечная» – это же как «дура набитая». А может, специально? Задружились с этим проходимцем. Ну, Слепой, держись, сейчас как возьмет такси.

Уж она себя накручивала – как струну на колок. Не жалела. У нее есть такая черта: мучить личным примером. Борис Борисович прозвал ее террористкой, с чего-то взял, что террорист – это который гибнет и других за собой уводит. «Да с чего вы взяли?» – «С того, что моральный кодекс террориста: первого – себя не жалеть».

Коли так, она и впрямь была террористкой – как тогда на встрече китайского нового года: спела она шикарно под гитару, концовку просто выдохнула: «А шарик вернулся, и он... голубой». Очень душевно вышло. (Это сегодня «голубой» – полные штаны хохота.) На энергии душевности и повсеместного сочувствия Виола ударила перебором по мажору: «Сердце, тебе не хочется покоя...» – «А руки, вы не знаете скуки». Лешка – пришел и все опошлил. Мужчины на людях всегда стесняются своих чувств. А Виола ненавидит и не прощает, когда едут с ней, а сами оглядываются, нет ли контролера. Она тогда на Лешку смотрела и колок завинчивала. Молчит – винтит, винтит... Пэнццц! Струна лопается – и ей в щеку. Даже не шелохнулась, даже не сморгнула. Ни малейшей реакции. Как статуя норны сидит, только струйка крови по лицу побежала. Лешка ей: «Дура! Ты же могла без глаза остаться!» Вот это настоящая террористка: испортила любимое шифоное платье.

И в таком же состоянии она вторглась в редакцию, помещавшуюся на третьем этаже. На третьем – немецком. В Германии кто на первом жил, тех в расчет не принимали, начинали считать со второго. Оттого дышала, как если б в разгар боя ворвалась, – на этаж тяжелее.

– Где Слепой, я – Вещая!

Ей повстречалась на пути московская какая-то неряха на должности Марьянны. Они делятся на секретуток и секретёток, их и считать-то много чести. А это всяка сямка чует – что «много чести». Разобидевшись, вякнула было сямка, но

Виола сявку проигнорировала, безошибочно определив, за какой из двух дверей прячется Слепой.

– Вы знаете, кто перед вами? Я сейчас дверь от вашей лавочки унесу. А ну, кто я?

«Сумасшедшая», – мелькнуло в глазах у Слепого.

– Я не дам впредь наносить мне моральный урон безвозмездно, говоря, что я – Вечная. Я что, на нее похожа? Предупреждаю, я вас привлеку. От Вещей до Зловещей – через дорогу. И это еще только цветочки. Он такой же Вольф, как вы Слепой. Тут для деятельности полиции открываются просторы Родины широкой. Что на самом деле было с этими нотами?

Когда украинская колдунья грозит немецкой полицией, то ей не дашь под зад «Коленкой редактора» в русской газете.

– Слушайте, давайте сперва познакомимся, а уж потом будем ссориться. Я с вами абсолютно согласен: никто не вечен и ничто не вечно. Ни я, ни вы. Вероятно, произошла какая-то досадная ошибка. Если вы мне все спокойно объясните, мы постараемся это как-то утрясти.

А быстро подействовало, так и до уборной добежать не успеет. Тряпка – она и в Германии тряпка.

– Хорошо, объясняю русским языком. Я – Виола Вещая, ко мне обращаются люди. Анатолий Фидлер хотел меня за пятнадцать минут до смерти. Сказал: только я ему могу помочь. Но когда я примчалась, он уже был крепко зомбирован – ничего не помнил. А может, был зомбирован еще раньше: из трубки слышался мертвец.

Вид у Слепого был жалкий: он ни во что не въехал – даже аварийной ситуации не возникло.

Виола снизила:

– Ладно, так и быть, Бэхчик даст примэхчик, – припомнилась нахальная радио-передача. – Как вас звать – чтоб не к пустому месту обращаться...

– Борис Михайлович.

– Я ж говорю, Бэрчик. Нет чтоб Борис Борисович, совсем другой коленкор был бы. Хорошо, нарисуйте картину. Вы человек фантазийный, вам это ничего не будет стоить. (Бесплатное приложение к журналу «Нива»: Германн с пистолетом, нацеленным на Графиню, подпись: «...И это вам ничего не будет стоить».) Ну как, нарисовали? Еще совсем молодой человек – и вдруг умирает. Что нам хотел сказать художник? Если не прямо, то намеком. Умирает во цвете лет...

– Вскрытие...

– Да что вы мне со своим вскрытием! Если министра, президента если находят где-то в ванне, в поганом отеле, и говорят «самоубийство», то уж нашему Мыколке нарисуют смерть от чего хочешь. Сегодня можно закатать человека в асфальт, а смерть наступит от диабета. Зорге якобы тоже предсказал, да почему-то вспомнили об этом, только когда... – заунывно:

Двадцать второго июня, ровно в четыре часа,
Нам объявили: Киев бомбили...

Нет, так и не въехал. Школа вождения по таким плачет.

– Повторяю для особо понятливых. Версия первая. Контактер с космосом Симон вышел на связь. Слетал на палочке верхом. Потому что такая палочка у одного на миллиард – кто владеет не четырьмя энергиями, а сто четырьмя. А Симон ваш вообще не работает с энергиями. Ни с одной. Отмечаем. Верзион цвай. Совпадение. Минус-минус-минус в квадрате с четвертинкой. Без закуски. Вычитание произвели? В остатке шиш. Третья версия, самая, извиняюсь, вероятная. Контактер с космосом пошел на контакт не с космосом, а с вами. Вступил в преступный сго-

вор, как говорили наши беременные милиционеры... а чего? В Виннице милиционеры, начиная с капитана, все на девятом месяце, для них ведомственный роддом открыли. Не понимаю ваших взглядов. Вы, Борис Михайлович, и не с такими знаете. Вон вы некрофилам потакаете: где знакомства, снимки мертвяков печатаете. К вам из «Таторта» еще не наведывались?

Она не понтилась: во второй раз мертвые глаза Саши с шоссе смотрели на нее со страницы брачных объявлений. И жуткое: «Я ищу тебя». Абонентный номер уже другой.

– Что за чушь вы порете, какие некрофилы?

– А вроде ж не знаете. У вас бандюки отмываются, Яков с Приднестровья, Саша со стран Балтии, это же все мои больные. Она убить его хотела за то, что всю выручку у нее забирал, а вышло не по-нашему, а по-вашему, если судить по фото. Эти фото у них за маляву. Они ими переписку ведут.

– Марьконстантинна! Идите сюда! – втащил ее, упиравшуюся, все слышавшую. Не «иванна», правда, но имя отгадала, уже смешно. Значит, галахическая, раз «Константиновна». По тому, как поредели на висках волосы, незамужняя ткачиха – это от произвольного выдергивания, когда перед телевизором сидит. Да ну ее, не будет ее Виола считать.

– Я хочу, чтоб вы товарищу рассказали, как было с нотами.

А распахивался-то, боженьки.

Мария Константиновна недружелюбно посмотрела на «товарища»: почему не хочет ее считать? Ну и что же, что тридцать три аборта, – когда это было, в семидесятые, и потом тридцать четвертого же не делала, родила от дядьки Черномора, иначе хрена лысого сюда было переться, только ради Ксюши-Гоши-Даши – маме-то, Иде какой-нибудь Григорьевне, все равно, с какого погоста воспарять в небесные объятия Константина своего Батьковича, чья невоенная косточка давным-давно уже гавным-гавно, а не военная она, потому что офицерские дочки все вертихвостые и глазурью облитые, замуж выходят всей семьей, тогда как у Марии Константиновны тоска не по мужикам, а, наоборот, от мужиков, и так было всегда, и в семидесятые тоже, а что аборт по числу витязей прекрасных, то именно-то хотелось быть как все, а не чего-то особенного.

На лице у Марии Константиновны написано торжество: пришлось-таки ее считать. А то: «много чести». А еще оттого торжествует, что приготовилась врать. Это как хор прихожан: чем фальшивей поют, тем торжественней звучит.

– Ну, как было... как было... с этими нотами, значит... Симон стоит, голову опустив. Вот тут, посередине. К нам спиной. Вдруг повернулся и сюда подходит. Нагибается, достает их из-под стола. Я говорю Борису Михайловичу: «Смотрите, Толя свой “Амадеус-Амадеус” обронил, хватится, искать будет». Симон молчит, а потом показывает: «Вот здесь, – говорит, – умрет совсем другой человек, далеко не Моцарт». Смотрим, а там написано: «Моцарт умирает».

– «Падает бездыханным», – поправила Виола.

– Ну, или падает бездыханным. Это было... как раз сдала номер с его интервью...

– Чьим?

– Ну, Толи... Совсем недавно. И месяца не прошло. И нет человека.

– А как он сам тогда на это среагировал? Или вы ему ничего не сказали? А, Борис Михайлович?

Очнулся.

– Что?

Нет, он не уверен, что они встречались после этого.

– Марья Константиновна?

– Я уже не помню, как было, – говорит она.

– А куда же ноты эти подевались? Как подложил их, так же он их и унес?

– Кто – он? – Слепой доехал наконец до места назначения. – Да нет же, они потом у меня на столе лежали. След от стакана на них отпечатался, я еще обратил внимание.

– Вы, Борис Михайлович, как редактор, своими собственными коленками... извиняюсь, колонками соучаствуете в космических проектах господина Симона Волка, а сами без понятия, о чем вас ни спросишь. Вы что, не слышали, что Фидлер этот злосчастный никаких нот не терял. Их Симон подложил под стол. Когда фокусник у вас из-за уха достает пикового туза, вы тоже думаете, что пиковый туз у вас был за ухом – интересно... Странно мне, что он их с собой не прихватил. Если только все так и было, как Мария Константиновна рассказывает.

– Клянусь вам, – сказал Слепой. – Я свидетель.

– Не клянитесь, потому что, дорогой мой человек, вас используют с применением высокотоксичных технологий. Вас дерг-дерг за ноточки... извиняюсь, за ниточки, как в кукольном театре... – и отвлеклась. Сама с собой: «На шее золотой ключик, в сумке “Буратино”, ладуси... Ладуси, ладуси, где были – у бабуси...»

Сглотнула и продолжает:

– Здесь в кукольный театр можно и без детей ходить. На «Рики-Тики-Тави», например, – про зверюшку, которая на ядовитых змей охотилась. Я знаю взрослых, которые просто обожают театр марионеток.

Подумала о херре Хиллярдсене с его токсикологией добра и зла: они – яд, мы – противоядие. Позвонить? Мог измениться телефон. Мог уйти на пенсию. Если государственный служащий, то как штык в шестьдесят пять, хоть ты и боец невидимого фронта... а у них у всех к старости адмиральская выправка – прямо на фронт отправляй, следующую войну проигрывать. Не-е, этого они больше не хотят, отбили охоту. Того кафе уж тоже больше нет, «Меццо», где они сидели. Дымящиеся руины. Да и что сказать ему? Помните Виолу, волшебницу из Винницы? Вы еще Андреевского Лешу на нее хотели словить. «Ну гут, – скажет. – Мы и сейчас хотим. Вы согласны?» А она не согласна, почему это она должна Лешку подставлять? Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону... Нет, за то, что он на этой женился – на Марфе, а не на Марии, она его никому сдавать не собирается. Марфа и постирает, и сварит, и детей родит. Борис Борисович тебе правильно сказал, такого отца слушать надо. Живи с ней.

Голос в трубке:

– Hillardsen...

– Херр Хиллярдсен, я Виола, помните? Кафе «Меццо», «Рики-Тики-Тави» мы ходили смотреть. Вы мне свой телефон оставили...

Ах! Виола! Еще бы не помнить.

Условились в «Пазолини», в рабочий полдень. Ну, конечно, он знает это место. Оно немножко специфическое, но если с дамой, то...

– За пять лет я, наверно, изменилась, но, думаю, вы меня узнаете.

– О чем вы? Вас нельзя забыть, Виола.

Во гадюк.

Надо дать почувствовать ему свою заинтересованность, на мужчин в определенном возрасте это действует.

Мысленно перебрала свой гардероб и остановилась на синей юбке тяжелого шелка. Сапожки – черные замшевые на шпильке. Немножко тяжело в них ступала, но это только на большие расстояния. А верх будет абрикосовый, из ангоры, с маленьким платочком на шее. Сбоку кошачий бантик надушенный. Потом, когда примерила, передумала: хватит с нее бантиков душистых. Да и слишком легкомысленно для подключенной к Универсуму. Остановилась на нежно-фиалкового цвета блузе навыпуск. А на плечи накинула отороченную мехом бирюзовую финскую шаль, очень дорогую, – пусть знает, ищово ыткурф. («Чуда на Ниле» так и не про-

изошло, не помогли тонущему бутику и спасательные лодки «Лакосты». Но ей присоветовали «Моду Рубенс» – у них теперь одеваются все бывшие крокодилы.)

С утра еще успела сбегать в парикмахерскую. Ее мастер, м-сье Пьер, настоящий француз, когда ее впервые увидел, сразу сделал предложение руки и сердца. Вот еще! Правда, он быстро утешился с другой русской. Даже французы предпочитают наших женщин – такая у нас во лбу звезда горит. Не где-нибудь, как у других, на самом видном месте.

Что херр Хиллярдсен постарел, заметно было только в первую минуту. Разница между астральным и физическим стиралась мгновенно. Добрый знак, не будет разочарований. Слушал скептически, совсем как «я у мамы дурочку». Пока не дошло до «Купанья красного коня» – как Фидлер по радио врал, что это он просчитал Ельцина. Сперва думала не вспоминать об этом: херр Хиллярдсен и так-то подозревал ее в профессиональной ревности.

– Я вам говорю, Симон не мог этого предсказать.

А она? Она бы смогла?

И она тоже нет. Но он на все сто не мог. Он не владеет самыми элементарными техниками. Он шарлатан. А эти ноты сам принес.

– Как вас еще можно убедить? Вам нужен мотив? Пожалуйста: теперь он для всех – представитель расы Огня. Их сегодня один на миллиард, кто заряжен энергетикой такого градуса.

У херра Хиллярдсена в одно ухо входило, в другое выходило – без того, чтобы обернуться красным молодцем.

– Там был какой-то токсин, – пыталась она воздействовать на его профессиональную чакру. – Вы этого не понимаете?

Нет, он не понимал. Вскрытие ничего не установило... хорошо, он согласен, это ни о чем не говорит. Но и то, что она предполагает, – абсурд. В плане результативности расчет с точностью до нуля. Пришлось бы учитывать миллионы неучитываемых факторов: особенности организма, что и когда человек ел, продолжительность музыкального произведения. Да и потом как установить таймер, если неизвестно, когда хозяйка поставит жаркое в духовку. «Проклятую книгу» Честертона она читала? Там тоже конкретная страница. Легче всего допустить обычную мистификацию. Был фильм Хичкока – не помнит названия: на концерте киллер следит по партитуре, когда стрелять. Выстрел должен совпасть с ударом тарелок. Пусть Виола объяснит технику убийства. Единственно возможный способ: отравитель сидел с нотами, в нужный момент незаметно, над головами всего зала, он пустил из вассерпистолета отравленную струйку. Ни на один из трех вопросов: «как?», «кто?» и «зачем?» у нее нет удовлетворительного ответа.

– «Как» – надо спросить у Симона. «Зачем» – я сказала.

Только пожал плечами.

Они все помешались на мотиве. Зло должно иметь причину, а добро – нет, это норма. Боженьки, как при коммунизме. А еще верующие.

– Если б я знала «как», я бы наверняка знала «кто». Но для вас главное «зачем». А зачем, скажите, он ко мне звонил и говорил, как под диктовку, – чтоб я пришла перед началом. Кто его зомбировал?

С чего она взяла, что это он звонил. Его тоже разыграли.

– А зачем это надо было? Кому?

Херр Хиллярдсен снова пожимает плечами: русские шутят.

Когда мотив важен, он их не интересует: «шутят». Все наоборот. Она твердо знает, что Слепой не врет. Она просмотрела его. Все так и было, как та тетечка рассказывала. Предсказание *было*. Виола откроет ему маленький секрет: у нее имеется персональный детектор лжи. Только реагирует он не на ложь, а на правду.

– А на ложь?

Пришлось признаться, что с этим хуже. Поэтому не исключено, что она-то как раз врала: было завиральное торжество в голосе. Сама не понимает, вроде бы оба рассказывают одно и то же, а правду говорит только один, как это может быть?

Херр Хиллярдсен засмеялся: для него признать, что истина субъективна, значит-ло бы перечеркнуть всю свою жизнь.

– Вы, Виола, очень интересный человек (он сказал «фрау»).

– Вы тоже очень интересный человек (она сказала «манн»).

Немцы скоры пить на брудершафт, а откажешься – «обижжишь, дарагой». Он сделался Вильфридом. Виоле ничего не оставалось, как уменьшиться до размеров Виолыны. Вначале почудилось: он говорит ей «Мальвина». («От Буратины слышу».)

И сразу отвлеклась: золотой ключик, кукольный театр, приехавший на гастроли... Сидит зараза занозой: мама шла по шоссе и сосала сушки.

– Я бы хотел прочесть это интервью, – сказал Вильфрид.

Это уже что-то. Договорились, что она раздобудет экземпляр «КГ».

– Но за прошлый месяц...

Ему все равно, за какой, пусть она ему переведет.

Помня, что редакция на четвертом русском, Виола поднимается медленно в гору, переводя дыхание на каждой площадке.

Мария Константиновна слаще сахарной немки, что улыбается вам в булочной:

– А Бориса Михайловича нет. Но мы уже исправили: Вещая, правильно?

Но Виола не за саечками здесь.

– Мне нужно интервью с Фидлером, со скрипачом. За какое это число было?

– Сейчас найдем. Вот. Отксерить? Интересное, помню, получилось. А вы берите всю газетку.

Взяла – почему бы нет. Сверилась с датчиками: на сей раз не зафиксировано никакой тревожности, не как тогда с нотами.

– Послушайте, мы сейчас без Бориса Михайловича, одни, – Виола понизила голос. – Мне же можете сказать, куда ноты делись. Борис Михайлович ничего не узнает.

– Да хоть бы и узнал, мне-то что. За ними потом приходила одна женщина, знакомая Толи. Она их сама и написала, вроде. Сказала, что Толя забыл, просил забрать.

– А почему вы от Бориса Михайловича скрываете это?

– Да ничего я не скрываю. Просто я, ну, передала ей, что Симон там напроорочествовал.

– И что она?

– Типун ему на одно место, говорит. Я тогда Борису Михайловичу об этом не докладывала, а то бы начал: кто меня за язык тянул. Не сказала – и не сказала.

Посмотреть бы на свет эти проклятые ноты. «Проклятую книгу» тоже не мешало бы прочесть. А тетечку эту Виола прекрасно понимает: сразу не рассказала, а теперь неловко. Она тоже постеснялась признаться, что не читала «Проклятую книгу»... Честерфильтра? И теперь из нее это клещами не вырвешь.

Интервью с человеком, которого через три недели не стало. Чук-чук-чук – чууур! Чук-чук-чук – чуууур! А хвастун-то, боженьки... И то у него здорово, и это отлично. Вагоны покачивает. Чук-чук-чук – чуууур! Газетный шрифт мелок (а у кого-то еще и щи жидкие). Зато его вагон больше не качает, отцепили, а он так и продолжает вести в нем антиматериальное существование. Антиматерия лишена энергетизма, в остальном все то же самое. Иногда даже их замечают в толпе – тех, кто умер. Виола сама читала, как незаконно репрессированные спустя много лет, в пятидесятые годы, вдруг объявлялись по телефону, уговаривались о встрече, ну и динамили, разумеется. С Фидлером договоренность о встрече у них тоже была телефонная. Не он звонил, скажут? А кто?

«Их называют “спящими агентами“», – читает она. «Слышал звон». Но оторваться не может: «Они были погружены в сон гипнотизерами по заданию советской разведки. И они проснутся, когда их разбудят. Известно, что под видом выезжающих по израильской визе в Германию были инфильтрованы...» Выскочила из вагона, еще немного, и остановку бы свою прозвала: «Контплац». Дверьми хвост защемило, газета чуть не улетела на рельсы.

Но это что! Это ерунда по сравнению... (Если б кому рассказывала, то шепотом.) Шепотом: когда, поднявшись, ждала зеленый, чтоб перейти через дорогу, тогда-то и приняла оглушительный сигнал в подтверждение своей причастности. Аж под коленками вспотело... на ветерке просохнет. Буквально за пять минут до этого вспомнила, что умерших редко, но встречают на улице, так? И на тебе: на другой стороне из магазина, куда ей, собственно говоря, и надо («Bücher Grzebin»), вышла та, дважды являвшаяся ей на фотках. «Кто располагает какими-нибудь сведениями об этой женщине?» – спрашивали в рубрике «Кремиссимо». А в ответ со столбца брачных объявлений к тебе тянулись скрюченные пальцы повешенного на нем мертвеца: «Я ищу тебя-я-я».

Проехавший автобус стер ее, как мокрой губкой.

Непродолжительность астральных явлений имеет своей причиной отсутствие энергетического заряда.

Джо Кришна Лоуэлл

– Хотя могло быть и проще.

– От вас только что ушла женщина? – спросила она у продавца-мужчины, смахивавшего рассеянностью на ученого у себя в кабинете: вязаная кофта на больших, срезанных со старого женского пальто, пуговицах, очки.

– От меня... ушла женщина? Мм...

Рассеянных людей трудно озадачить.

– Она «Золотой ключик» у вас взяла.

– Золотой ключик? Ах, «Золотой ключик»...

– А у вас есть «Проклятая книга»? На «че»... черт... вроде «Черчилль»...

Нет, ничем их не проймешь, этих рассеянных с бывших Бассейных.

– Честертон? Это надо смотреть в отделе художественной литературы, а не эзотерической. Но я вас сразу должен огорчить. Рассказ был напечатан по-русски в переводе Фыфкина...

– Кого? – Виола допустила мысль, для мужчины обидную: что у него – *жуб шо швиштом*.

– Фыф-ки-на – первая Федор, а не Шаляпин. В тридцать пятом он вышел в «Антологии странного рассказа» и с тех пор не включался ни в один честертоновский сборник.

– А Лоуэлла, Джо Кришны, «Введения в тайноведение» у вас, случайно, нету?

Хотелось выглядеть покупательницей, которая знает, чего хочет, а не созвездием Козы.

– Еще нет. Мы заказали.

– Извините за нескромность, если что. Про что там в «Проклятой книге»? – и соврала – на случай «если что»: – Вот даже Рудь по телевизору не смог ответить.

– Там? Как на одной древней книге лежит заклятие: каждого, кто пытается ее прочесть, настигает смерть. Впоследствии выяснится, что легенда о заклятии выдумана задним числом, чтобы окружить убийство мистической тайной. Возле тела жертвы находят инкунабулу: огромный черный фолиант, раскрытый на шестьсот шестьдесят шестой странице. На этой странице изображена горящая стрела, пронзающая человека, – такой же убит и несчастный коллекционер. В действительности он случайно проник в планы германской разведки. Ее агенты говорились

взорвать Вестминстер во время выступления там советского наркома по имени Максим Бухарский. Немудрено, что рассказ у нас больше не печатался.

– А чего им стоило просто убить человека, подкараулить и убить?

– Тогда бы не было рассказа.

Виола кротко поблагодарила мужчину-продавца. Продавщица – совсем другое. Ей что книжки торговать, что пельменями. Мужской персонал высококвалифицирован. Там, где книжки не продаются вперемешку с пельменями, продавец даже с виду не уступит доценту, на худой конец, аспиранту. Однажды они сцепились прямо у нее на глазах, доцент с аспирантом: как правильно, «на Украине» или «в Украине»? Спорили-спорили, и тут говорит доцент аспиранту: «А вот как правильно, “на заднице” или “в заднице”?» А аспирант ему на это: «Смотря что хочешь сказать. Если “пошел бы ты”, то “в задницу”, а если “прыщ вылез”, то “на заднице”».

Образованность – наше больное место. Можно уйму всего прочесть, в седьмом классе знать «Онегина» на память и быть необразованной. Чужие знания так и хочется побить козырями своих, но когда такой вот в очках, в вязаной кофте открывает рот, стоишь, краснеешь от ревности и смущения. Что не помешало Виоле самоуверенно протянуть ему свою карточку. Кто не ищет, тот всегда обрящет, – так же и с теми, кто не уверен в себе: им, всем этим кудесницам из Винницы и виртуозкам из Днепропетровска, решительности не занимать.

– Если вам тоже чего нужно будет от меня, не стесняйтесь. Я – Виола Вещая. Отгадываю сны, нахожу выходы из безвыходных ситуаций, соединяю с половинками.

Девяносто девять из ста вручаемых нам визитных карточек отправляется в мусорное ведро. Это только в сказке вскользь упоминаемая визитная карточка дождется своей минуты: если не выстрелит, то, по крайней мере, где-нибудь всплывет.

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Что сие означает? А то, что нет такого ружья, которое рано или поздно не будет пущено в ход, и нет такого лягушонка, который, в решающий миг квакнув на помощь своих сородичей, не достал бы со дна пруда спасительный золотой ключик.

Виола не даст сгнить в безэнергетическую черную дыру ни единой крупнице живой материи. Смерть небытию! Как учил Борис Борисович: «Я – воскресение жизни». Навязчивое попадание в поле зрения «Саши с шоссе», живой или мертвой, ждало своего вознаграждения в виде разгадки – как будто канючило: займись мной.

Ужо займусь!

Приятно сознавать, что еще один пробел в знаниях засыпан. Честертон. Почти что, можно сказать, читала «Проклятую книгу». Скажем, читала, но давно – в школьные годы прекрасные. И никакой заминки не произойдет с херром Хиллардсеном, с Вильфридом, с которым у них сегодня в полчетвертого файф-о-клок.

Посмотрела на время. Хорошенькие часики! Телевизионщик не дурак, губу на них раскатал. Двенадцать с хвостом. Успеваешь провести еще одну выездную сессию. Она уже знает, как возобновить без ненужных объяснений знакомство с Толей-стоматологом. Ежу понятно, что женщина, приходившая за «проклятыми нотами», и Сильвия Таль, «музыкальное оформление маленькой трагедии» – одно и то же лицо. То есть Силька. Позвонить? «Сколько лет, сколько зим! – Да неужто ж не забыли?» Сказал же ей заслуженный чекист Немецкой Федерации: «Вас нельзя забыть, Виола». Но с другой стороны, если просто так вдруг позвонить, то получается «пошто приходил», – и еще не факт, что пригласят, хотя ты давно знаменитость: и из Австралии больные, и откуда угодно. Поэтому лучше, как ни в чем не бывало, явиться на прием. У зубного проверяются раз в полгода. Ничего страшного, покажешь свои большие зубы: это чтобы тебя съесть, Силечка.

Праксис у них все там же, в Цоллендорфе. Давненько не ездила по этому маршруту. А когда-то каждый день пилила напрямик с Невельштрассе, со шпрах-курсов. В первые дни ей слышалось «Небельштрассе» –

А я еду, а я еду за туманом...

Много чего тогда слышалось с непривычки. Сегодня понимаешь, как верна индийская мудрость: то и это одно и то же. Звери все одинаковы, но тут они сидят по клеткам, а там гуляют на свободе. Здесь зоопарк, там сафари. И еще. Здешние звери сами себя посадили в клетки, как трусоватый хулиган: «Держите меня, я за себя не ручаюсь!» Наши до таких высот еще не доросли. Все впереди, дорогой мой человек.

«Зубной врач Анатолий Таль». Ничего не поменялось. Силька в регистратуре – в маленькой трагедии принимала участие на общественных началах... Нет, поменялось, сразу не заметила. Неброско так: «Зубной врач Даниэль Таль». Один держит, другой рвет.

Сильки нет – другая, льняная. На ее стороне прямоугольные ногти, молодость. И ни стыда, ни совести: на русский с Виолой перешла без спроса. Как турецкая медсестра, которая с Айшой чешет внаглую по-своему. Это швестер Елена: шу-шу-шу, на ушко – а так будет с тобой только по-немецки.

– Вы у нас в первый раз?

Пока заводила на Виолу дело, зазвонил телефон:

– Цанпраксис доктор Таль, гутен таг... Сейчас... – нажала на кнопку.

В дверях показался доктор Таль, чье поприще – счастливейшее в медицине: ни тебе летальных исходов, ни тебе диагнозов раковых. Подвязанная щека – и зал хохочет.

– Чего там?

– Малгажата.

– Не могу. Скажи, я во рту.

Вдруг затряс головой, допуская, что Виола от этого рассеется.

– Нет, глазам своим не верю. Какие люди! Хоть рекламу давай: «Ясновидящие наперед знают, к кому ходить». Виола Вещая нам тоже свою пасть доверяет.

А кто еще?

– Слышишь, Леноч, это же сама Виола Вещая. Сколько лет, сколько зим!

Так и думала. Куда, разлучница, Силькин труп дела, скажи?

– Извини, старуха, больной слюной изойдет. После поговорим. А это наш Леноч – хороша? Данька мой в бабах толк знает. Все, чао.

– Так вы Виола Вещая? Как же я сразу не заметила. Какая-то Виола Шпильман пришла.

– Мы квиты. Я про вас тоже сразу не сообразила. А Сильва что?

Коггистая Лена почему-то посмотрела налево.

– Они уже два года как расстались.

– Я так и подумала, когда вас увидела, – Виола «брякнула» с намерением. Небольшая динамитная шашка в расчете на информационный взрывчик. Эти свеженькие – необидчивые.

– Не-е, я не по этому делу. Да и там мощная баба – Малгажатка.

– А что сын, страдает за мать?

– Чай, нет, она же первая с кем-то там спуталась.

– Она? В наши лета? Ничего себе.

Да что ты, Таня, в наши лета
Мы не слыхали про любовь.

Лене интересно:

– А не могли б мне предсказать...

Это за отдельное спасибо.

Шутит. Пусть приходит к ней. По такому случаю она угощает – по какому «такому», Виола не уточнила.

– Я должна видеть проблематику, а не так, на пустом месте.

Небось охота знать, как у нее дальше пойдет с парнем. «И ваще... – передразнила про себя. – Па-маасковски».

– «Пазолини», кафе, слышала?

– Чай, да.

– Приходи. Когда ты можешь?

– Но об этом ни одной...

– Смеешься? Медицинская тайна.

Нехорошо, что она всех в одно место приводит. Пора открывать филиалы, сегодня здесь, завтра там. «Мужской день», «женский день», «коктейль-день», «для узкого круга». Это в сауне – пролетарии всех стран соединяйтесь.

Когда пришла в «Пазолини», ее уже дожидались. Нормально. Раз они теперь «Вильфрид» и «Виолина», то мужчина должен приходиться первый. И смотреть на нее вот так – как кот на сметаночку.

«Ах да, газета...» – вспомнила, переводит:

Я о многом догадался

Беседа главного редактора «КГ» Бориса Слепого с Анатолием Фидлером. Известный скрипач демонстрирует новую грань своего дарования. «Нет ничего тайного, что не стало бы явным, – говорит он. – В то время как разведки всего мира охотятся за информацией, имена тех, кто ею располагает, ничего не стоит отыскать в телефонной книге. Надо только уметь ею правильно пользоваться. Другими словами, знать код».

Трепло. И треплется, и треплется. А Вильфрид, который при этом ест послеобеденный торт с кремовой базой данных, и слушает, и слушает. И этим еще больше напоминает кота Васку.

– Всё? – с некоторым разочарованием. Только непонятно, к чему это относилось – к воспринятому на вкус или на слух: то и другое подошло к завершению одновременно.

Кончив, Виола, чуждая кондитерских утех, отпила «Валенсию», крася нежным цветом своей помады апельсиновую желтизну до краев налитого стакана: испанский флаг, кровавый след на песчаной арене... Вздохнула: я не могу сыграть тебе мотив убийства, хоть и зовусь Виолой, даже Виолиной – но консерваторий не кончала, лишь так, по слуху, на гитаре: «А Тузик вернулся, и он... голубой».

Она ждет, что он ей скажет.

– Что касается мотива, лишь параноик мог бы усмотреть в этом гейgere, в этом виолинисте, в этом фидлере какую-то для себя опасность. И лишь параноиком может быть контактер с космосом или человек, способный из телефонной книги вычитывать имена агентов. Это для психиатра, Виолиночка, дорогая...

Тогда пусть и ее считают за параноика! Ее, Виолу Вещую!

– ...Но факт остается фактом, – продолжает он, – Фидлер был отравлен.

Виола не верит своим ушам, хотя верит в свою правоту.

(Пример палки о двух концах, заметим мы от себя. А еще пример того, что факту злодейства всегда обрадуется заподозривший его. И для этого вовсе не надо быть злодеем. Палач, состоящий на государственной службе, не является убийцей, если не подрабатывает по ночам. Он выполняет свою работу и, подобно

мсье Пьеру – не парикмахеру, другому, но тоже специалисту по стрижке головы – вправе гордиться тем, что не делает зарубок. И следователь хочет, чтобы его подозрения подтвердились. Он готов для этого сделать все, что только можно. А порою – и чего нельзя.)

– Как! – Виола просияла: Фидлер был отравлен.

Вот так. Экспертиза на наличие того-то, того-то – в общем, благодаря Виоле все подтвердилось.

Молчит, ей это приятно. А они оперативны, надо отдать им должное.

– Повезло, что у него никого нет, – говорит Вильфрид. – Близкие противятся обычно эксгумации.

Виола кивнула.

О мертвом никто не знает, насколько он мертв, покамест он действительно не подвергся распаду. Ибо существуют такие глубины сознания, в которых, даже если целиком выключены наши органы чувств, можно страдать. «It was much worse than I thought, – произнес моими устами некто – слова, смысл которых я не понимал, – I suffered too much».

Фома Муж, «История истории»

Вильфрид говорит, что так и не удалось установить, чем же был отравлен Фидлер. Это не для полиции. Но Вильфрид и не полиция: это у тех с бору по сосенке, а в его конторе сбор информации ковровый.

А когда в последние дни месяца мая цветущим ковром покрывались поляны, лесные луговины с их первым с прошлого лета медвяным дурманом, тогда Елосич надолго исчезал из дому; превратившись совсем по-летнему, в промокшей до черноты синей рубашке, ползал он по земле, собирая в пучки лекарственные и ядовитые травы, по-собачьи дрожа носом и приносясь, слыша над собой гул проносившихся шмелей, звонкие голоса цикад...

Это прочитался по памяти какой-то школьный отрывок. У Виолы память – острая, как сканер. Про кого-то говорилось: не голова, а Дом Советов. А про нее: не голова, а фотоателье. Даникова Лена, с которой они спустя два дня сидели за этим же столиком, ахнула. «А что сережки, – спрашивает Виола, – еще не готовы?» С того раза заметила, сколько у нее в цепочке звеньев, и теперь, когда на два меньше стало, прикинула: Ленка, значит, отнесла к ювелиру, чтоб сделал серьги.

Лена рассказала свою жизнь – на каком ее сучке познакомилась с Даниилом. Хочет знать, что ей светит с ним. Виола задавала вопросы совсем не в дугу. А как воспринял Толик-врач, что умер Толик-трепач... «скрипач, извиняюсь, хотела сказать». На ровном, можно сказать, месте. А что это за драма на охоте с Силечкой? Что за страсти такие мордасти? А кто эта Малгажата, откуда она взялась?

– Ну, Малгажата – это, я тебе скажу, нечто. Его – бульдожьей хваткой. До этого он был год на вольных хлебах. Немки – и те случались. Но куда им всем до Малгоши. Она художница или в типе. Кукол шила.

– Молодая?

– Ну, посередке между тобой и мной.

– Волосы...

– Зимой и летом одним цветом. Мы с ней в масть.

– К мсье Пьеру ходите?

– А это как ты доперла?

– Да уж доперла. Рука видна. К нему все ходят. У него энергетическая зависимость от русских женщин.

– А я-то думала: чего это он ко всем лезет?

– А Малгажата, она что, полька? Давай-ка про нее.

– Она из Литвы. Из говна... Ковна – она сама так говорит. «Кака у нас, – говорит. – Какаунас». В музее художницей работала на какое-то чюрло. Добралась до Германии попутками. Здесь подала на азыль. Потом легла в нелегал. Кончилось тем, что вышла за немца, в Дании расписались. Через год счастливо разошлись. Работала в театральной мастерской, знаешь, баба, которая все своими руками делает.

Ленке и помыслить о таком в лом – с ее ногтями цвета ежевики. Своими руками... А Сильвию она видела только раз. Повстретили в Потсдаме, когда ездили с Даниилом проведать бабку в доме престарелых.

– Боженки, еще жива?

– А чего ей делается? Она там как заспиртованная в банке. Как Сильвия к этому мужику слиняла, так Толик ее туда и засунул.

– А что за мужик?

– А вот такой! – пальцы в растопырку, губы в разяп, язык не ворочается: – Бизнес-сообщество.

– Совсем такой?

– Почти. Мы с Даниилом приехали, и они там на шестисотом «мерсе». После поехали все к «Исаичу» пожрать. Ну, посидели цивильненько.

А ведь Силька ровесница Виоле. И чтоб такой загул. Ну, с женщинами и в нашем возрасте случается. Но вот он-то чего? Крутые, они же с телками гуляют.

– А как мужик этот? По тебе глазами стрелял?

– Он пленный дух. Сильвия – она как Малгажатка. А чего Толик с той, думаешь? Узнал автомобиль, который у него увели. Есть мужики, которые мамочек себе ищут. Чтоб воспитывали.

– Что, этот, с «мерсом», ее младше?

– На червонец, это уж точно.

Такие вот интересные шашлычки, Виолочка.

– А как тебе скрипач?

– Который дуба врезал?

Нет, скрипач ей никак. Раз заходил. Ну никакой. Он больше со стороны Сильвии, чем с Толиковой. Когда это случилось с ним, Толик сказал Малгажате: «Ну, теперь плакала скрипочка. Сильке не доказать без меня, что это ее, а я вот хрен ей собачий подпишу».

– И не подписал?

– Да куда он денется. Сильвия горло перегрызет – за антиквариат. Ну, так что мне с Даниилом светит?

– Я к тебе позвоню и все, как зеркальце, скажу. А пока... – заунывно:

Наш костер в тумане светит-и-ит...

Действительно – в тумане. И ежик ходит вокруг да около, которому всегда все понятно. А ведь есть и другие дела, люди ждут их безотлагательного решения.

Вчера звонила Райка: брать ей «айву» – кредит по-ихнему. В самом центре, под квартиру угол Арлозорова. Названия все наши: одни арлозоровы да невзоровы. Когда дают подо что-то – брать. Это беспроигрышная лотерея. Класть на программы, под проценты – нет: придет серенький дефолт и утащит во лесок. Бери «айву», Райка. Нет, так варенье из нее сварить. Скормишь своим клинеткам, на весь «салон красоты» хватит.

С тобой, Райкин, все ясно. А вот как можно кого-то насмерть приколоть точкой к нотной бумаге? Если понять это, то и «кто» и «зачем» будут бесплатным приложением к журналу «Нива», угощая, Вильфрид. Только бесплатных приложений, как бесплатных угощений: чем-то да расплатится. Конечно, с ним легко: где? кто? куда? – тут же выдается информация: Лаптев, Морей Александрович, почетный

гражданин Кипра. Квартира на Муттерштрассе – на бывшую тещу, которая сама живет с дочерью и внуком в Констанце. Много разъезжает, и с Силькой и без. Сейчас улетели в Украину с льняной болоночкой: наф-наф, нуф-нуф и тяф-тяф – небось тоже у Пьера стрижется. Назад – открытая дата. («А ведь Альексией Антре-евски там живет...» Вильфрид, не трожь, это святое.)

Известно, что Виола входит в ключ с половоротом. И выстукивает этим ключом: «Как отравленную наживку насадить на крючок в нотах?» Если б ключ был скрипичный или басовый, или альтовый, или теноровый. Но Виола нот не знает, все по слуху.

(«Hillardsen...» – “Вильфрид“, а Симон Вольф – кто он по профессии?»).

Нет, конечно, с ними удобно работать. Они как китайцы: сделают все, что скажешь, а сами придумать ничего не могут.

Симон Вольф работал в областной челябинской филармонии... Спасибо, вы свободны. Чук-чук-чук-чук-чук!

Наш паровоз, вперед лети,
В коммуне отановка.
Другого нет у нас пути,
В руках у нас винтовка.

Тпру!

Интересно знать, он сейчас дома или на гастролях? Всюду дается его сайт, а телефон... и телефон дается.

Чук-чук-чук!

Наш бронепоезд, вперед лети,
А не запасном стой пути...

Ну, пожалуйста, милый сфинкс. Две отгадки – и дело в шляпке. Ответ, как точечка на бумаге может сделать бо-бо отравленной иглой, – раз; и кто ей сказал: без двадцати восемь и ни минутой позже – два. В трубке она бы сразу узнала голос Германна: «К вам умирающий взывает».

Вот когда глупое рассудочное «зачем» – победитель. Вот когда, поняв «зачем», понимаешь «кто». И тогда «как» – это уже вопрос техники. Как с теми фотокарточками в газете. Она дает голову наотрез, что первая фотокарточка – деза: мол, скапустилась девушка, не ищи ее больше. А ей в ответ: кому другому рассказывай, от меня не спрячешься. И ту же карточку – в отдел знакомств для некрофилов.

Позвонить к Симону Вольфу? Использовать фактор внезапности? Это еще вопрос, дает ли он преимущества. Но, по крайней мере, ответ на вопрос, чего стоишь ты, он дает.

Не готовишься к бою – рассчитываешь на слабость врага,
Который введен в заблуждение твоей беспечностью
И изведет себя наступленьем во тьме.

Мастер Дзэн

И какие картины в мечтах не являлись! Единоборство доброй волшебницы из Винницы и чахлыка невмырущего из Челябинска. Состязание двух бардов: один пел с утра до ночи и до кровавых мозолей бил по струнам, а другой только встал, как первый тут же признал себя побежденным. Это известная картина. А еще одна, «Сказка двух королей», как они разыгрывают шахматную партию. Малгажата, раз она художница, должна ее помнить. Да только какой из чахлыка король? Она ему мат с первого хода пропишет.

Женский голос:

– Вы позвонили по контактному телефону с космосом, – звучит музыка, та, что в фильме, где вначале про обезьян – когда восходит солнце. А затем голос космического Одиссея: – Люди зовут меня зовут Симон, по крови я Вольф. Я озарю ваши радары космическими лучами. Вы неподвластны отныне темным снам земли с ее пороками, болезнями, несчастьями в личной жизни. Для этого вам надо только три раза нажать цифру шесть. Одна минута разговора со мной стоит, – вклинивается женский голос: – Драй кома ахт цвай марк.

Стоп, не дурак ли я. Положила трубку, и в мудру. Все предстало в новом, космическом свете. Нет, не потому что минута стоила под четыре марки. Назвавшийся Симоном говорил голосом покойного Фидлера. То есть наоборот. Или как раз не наоборот, за Фидлера тогда говорил Симон. То есть неважно, кто – за кого, важно, что тот же голос. Она еще подумала: прозомбированный. А он из космоса.

Поединок закончился, не начавшись, чего и следовало ожидать.

Снова набрала номер, послушала музыку, нажала число зверя – как в «Проклятой книжке», приятное совпадение, – и по бумажке все прочла. Записала, чтоб не запинаться.

– «Я не умирающая, которая взывает, и не буду ждать перед входом в культурный центр “Унзер Фрейлахс”. Надо сказать таксисту, чтоб ехал в кафе “Пазолини”. Ровно в семь сорок, ни минутой позже. Иначе случится непоправимое. Затычки в нос уже не помогут».

Э, так он читал по бумажке чужое, вот почему неживым голосом. Есть одна подсказка: кто написал, тот про затычки знал. Сколько лет прошло, сколько зим! Толя? Через несколько минут звонок. Не удивилась: отпечатался ее номер. Естественно, не подошла: раз сказала, что в «Пазолини», значит, в «Пазолини».

Звать Вильфрида в понятие? А если космонавт навострит лыжи? Вырулитесь у него в башке, что это – явка с повинной, а так я не я и корова не моя. И будет она на своей свадьбе гулять одна, дура дурой. Какова вероятность, что придет? Если в процентах, то как на выборах в Верховный Совет. А чтобы Вильфрида звать на реалиштишоу, нужно быть уверенной на все сто. Нет.

И не пожалела, что не позвала. Чахлык влетает – такой испуганный насекомый, что победа над ним в глазах Вильфрида, разве что если б в глаз попал, чего-то, может, бы стоила. Суетится: где? где? где? Она – Виола Вещая? Он должен ей сказать...

– Да, я Виола Вещая, а что?

– Вы звонили, и я хочу...

– А, так это вы космонавт? Я же не знаю, дорогой мой молодой, вы же не представились. Или воображаете: раз ваш фоторобот каждый день в газете, то я знаю вас в лицо? Подсаживайтесь. Чай, кофе, капучино, «Валенсия»? Я недавно приняла телефонный звонок из космоса. Читали по готовому. Кто вам написал?

– Я сейчас все объясню.

– Не объяснять нужно, а отвечать. Повторная экспертиза установила, что Фидлер умер насильственной смертью, а вы ее предсказали. Вы обрываете мне телефон, а токсин иностранного производства. Этим заинтересовались компетентные органы, меня как честную ясновидящую попросили оказать содействие. Кто передал вам ноты?

Не знает. Ему прислали суп-с...

– Что он мелет, какой суп?

– С УПС. «Юнайтед Пакет Сервис». Это по-английски.

Упс-шмупс...

– Хорошо. Какая первая мысль: пакет от мужчины или от женщины?

– От женщины. В форменной одежде была. (Дурак.) И записка вложена.

– От руки или на компьютере?

– На компьютере. Я эти ноты должен якобы в редакции найти и сказать: здесь умрет не Моцарт, а другой. И все сбудется – я же хочу, чтоб все сбывалось, что ни предскажу. А кто не хочет – вы, что ли, не хотите?

– А почему в нотах одни кружочки беленькие, другие черненькие? Это связано с черными и с белыми клавишами?

Он уже не помнит, им когда-то сказали на уроке пения, сто лет назад. (Что, Кощей такой бессмертный?)

– А кем же вы тогда в челябинской филармонии работали?

– Иллюзионистом-эксцентриком.

– У кого-то что-то из-за уха стибрить? Или из-под стола, да, молодой мой? А фокус «Спящую красавицу» знаете – как уколоть отравленной иглой на расстоянии? Это элементарно делается.

Боженьки, чудо: невмырущий помертвел.

– Вот «Валенсия». Пейте соков натуральных, а то бык забодает. (Когда отпил.)

А ко мне позвонить?

– Это в другой раз.

– Тоже суп?

– Нет, заказное. Надо позвонить и прочесть вслух что написано. А потом повесить трубку.

Заказное из Ростова... Пастернак Борис, борись, получи и распишись... чингачук-чингачук-чингачук... поехали с орехами...

Приехали! К Фидлеру звонила женщина. «Шершавь ля-фа», – так слышалось, когда Борис Борисович поучал по-французски: ищите женщину. Вот Лешечка и нашел себе... Позвонила и, наверно, в любви признавалась. А Фидлер размечтался: вдруг шестнадцатилетняя. И тут Виола. Стыд какой. Силька ведь тоже о затычках наверняка помнила. И музыкальное оформление – она же. Мужской голос, чтоб к Виоле звонить, позаимствовала у космонавта, а женским мы и сами с усами. Вот сейчас, вещенькая моя, задействовали-ка фактор внезапности.

– И что же Силька говорит?

– Кто?

– Дед Пихто. Этот кадр вам знаком? – показывает газетную вырезку: «Кто располагает какими-нибудь сведениями об этой женщине, просим откликнуться».

– Но она мертвая.

– Я не о самочувствии ее справляюсь. Знакомы?

– Никогда не видел.

«Никогда не говори “никогда”», – гласит китайская мудрость.

– К зубному вы к кому ходите?

– К Толе Талю. А зачем вам?

– А затем, что принадлежность трупа устанавливают по пломбам и коронкам. У зубного врача хранится вся документация, все рентгены. И Лаптева не знает, Морейя?

И Лаптева не знает.

– Спасибо, вы свободны... Нет уж, «Валенсию» свою допейте. Я за вас допивать не буду... бээ...

Чего это все к Толику ходят?

Может, далеко и не продвинулась, но на винницком плацдарме закрепились. Надо бы и впрямь слетать к Райке, в «салон красоты» сходить.

Винница-красавица, всем евреям мать,
Мы тебя и в Африке будем вспоминать.

слово, любое предложение могла тут же справа налево вывернуть. Ей учительница, русская, шепотом сказала: «У тебя, Шпильман, генетический атавизм».

А на самом деле Виола ее научила. Они маленькие были, еще на Гомельской жили, это потом на Города-героя Ленинграда квартиру дали – как инвалиду ВОВ. Гомельская – самый центр, тридцать пятая школа. Окно в окно продуктовый подвальныйчик, где они с Райкой сок пили, – вишневый дорого и кисло, а яблочный – им тетя Лара по полстакана разливала – и слаще, и в два раза дешевле. Всегда чего-то фруктового хотелось выпить. Вот томатный – нет, а яблочный – да. Если бы ей сказали, что она когда-нибудь будет пить «Валенсию»...

«Райка, а знаешь, ищово ыткурф?» – «Ищово?» – «А вот читай», – и пальцем ведет по вывеске «фрукты овощи», но с другого конца.

Райка с тех пор только так стала читать, даже на нервы действовало. Стихи тоже так насобачилась писать – туда и сюда, без разницы. Пифагоровы штаны во все стороны равны.

«Я тебе язык иврит тут же выучу, у меня генетический атавизм». А в Германию не захотела, черного треугольника испугалась. Вот переселится Райка на угол Арлосорова, тогда она слетает к сестре, вспомнят, как в тридцать пятую школу ходили.

Винница-красавица, всем евреям мать,
Мы тебя и в Африке будем вспоминать.

А если еще допустить, что Африка и Азия это в общем-то один черт, то поток обращений к ней, получается, шел со всех континентов. Израиль занимал в нем почетное второе место. И «Арлосоров стрит» помнит сзади на конверте. А письма из разных городов – значит, он там как Ленин. В одной книжке прочтет: вождь еврейского рабочего класса. Самый короткий анекдот: еврейский рабочий класс... Нет, еврей-самурай, пожалуй, короче.

А читала она о нем, где б вы думали? В богадельне в Потсдаме. Что пулей вражеской сраженный, он песню допеть не успел – читала. А еще, что эту тель-авивскую Фанни Каплан так и не поймали. Это случилось в тридцать третьем, когда век был ровесником Христа. У них в Потсдаме богатейшая библиотека – для пополнения знаний. Полоумным старухам из бывшего Со-Со она нужна, как сбоку бантик... или уж где он у кого расположен.

Не получилось встряхнуть банку, в которой «наша мама» была заспиртована (как правильно заметила девушка Лена).

– Да что вы, она родную дочь не узнаёт, – сказала заведующая. Еврейскими богоугодными заведениями в Германии заведуют только русские: а по-каковски иначе прикажете общаться с экспонатами?

– Понял. А я здесь по делу. Ну и думаю: навещу заодно и бабулю, тряхну стариной. Силечка на месяцок отъехала до Крыму.

Про дочку заведующая знала лишь, что там «шестисотый мерс».

Виоле, снискавшей известность на всех континентах, достаточно намекнуть, кто она, и кругом море подобострастия, океаны радушия. Угрюм-реки словно не бывало – того чувства собственного достоинства, как оно понималось обслуживающим персоналом.

– Так это вы тогда нашли Антона, сына наших друзей? Он уже большой, наш Антоша.

Лягушонок квакнул на помощь других лягушат, и не прошло минуты, как Виоле поднесли золотой ключик с голубой каемочкой.

– А это у нас библиотека, – квакал лягушонок с гордостью, – люди поступают к нам со своими книгами. А здесь у нас концерты проходят.

– У вас Фидлер играл...

– Да. Какой ужас, а? У меня в кабинете его скрипка хранится.

– Не понял.

– Очень просто. Принадлежала вашей знакомой бабушке, еще ее отцу. Дочь отвезла эту скрипку сюда.

В кабинете между шкафом и стеной обыденно стоял скрипичный гробик, как будто заведующая и сама грешила этим делом.

– А можно посмотреть?

Все-таки не гитара. Гитару хоть раз в жизни каждый подергал за струны – в турпоходе у костра, Девятого мая у вечного огня:

Землянка наша в три наката...

– Это огонь – вечный, а Виола не вечная. Вещая – да.

Заведующая кивнула. А правда, что она видит с закрытыми глазами?

– Ну, это и есть вещая. А они мне: «Вечная». Вещая – это кто выход в темноте находит.

– В переносном смысле?

– Только в переносном. В прямом кто хочет найдет. Особенно если знать расположение. А это что, те самые ноты?

– Да, те самые.

Написано от руки черной тушью. «Амадеус, Амадеус. Концертная фантазия для скрипки соло на темы “Реквиема” В. А. Моцарта». Как сбоку бантик, имя автора: Сильвия Таль. По центру: «Первому исполнителю А.Фидлеру». (Бойся данайцев.) Интересно, рискнет еще кто-нибудь исполнить. Вот она, надпись: *Моцарт падает бездыханным.*

– Я хотела бы взять на несколько дней эти ноты? Не беспокойтесь, я верну.

– Думаете, сможете понять, как ему это удалось?

– Кому – «ему»? Ах этому – накаркать... Ну, конечно, смогу.

Библиотеку осмотрела из чуткости, уж очень заведующая ею гордилась. И чуткость, как всегда, не подвела. Книжка называлась «Одинокий волк» или «Степной волк». Полистала и напоролась на этого Арлозорова – как его убили. Улицы сами просят, чтоб их называли в честь убитых. Хотя еще неясно, будет ли дом престарелых евреев в Потсдаме стоять на Фидлерштрассе. Все зависит от мотива, который в отношении деяния первичен, – мы же на родине классического идеализма. За справками обращаться по телефону...

– Hillardsen...

– Это Виолина. Я видела скрипку, я взяла ноты.

Если не в «Пазолини», то где они еще могут встретиться? В Берлине число столиков на душу населения растет.

– Что? – на вопрос, а не поужинать ли сегодня вместе. – А где?

У Вильфрида страсть к ядам, а она знает пару местечек, где кормят отравой.

– Что? К «Исаичу»?

Отличная мысль: то, что ему доктор прописал.

На прощанье Виола попросила взять этого «Волка», она вернет вместе с нотами.

– Что вы, конечно, берите, – обрадовалась заведующая.

Виоле что-то в убийстве вождя еврейского рабочего класса не понравилось, надо прочесть повнимательней, но это уже после ужина в типичной русской обстановке. «Исаич», обещавший ее, свое слово сдержал. Мрак, под музыкальную программу по стенам кружатся снежинки от двух шаров.

Свеча горела на окне, свеча горела...

– пел клавишник Александр, а три девушки «это» танцевали: Вера, Надежда и Любовь. Это за одним столом, составленным из двух, отмечают Филиппов пост. Большой выбор мясных и рыбных закусок, в салатницах титульный салат «исаич» и салат «оливье». Хорошо идут под «премиум-платинум», вчера собранные в бело-русском лесу и посланные с проводником маринованные подосиновки. И уже несут солянку по-киевски.

– Ну, что ты посоветуешь? – Вильфрид отдался по-детски доверчиво изучению меню. – А что значит «вологодский блин»?

Виола переадресовала вопрос бравшей заказ «Аленке» – как было написано у нее на значке, а официант-парень носил значок «Кузька».

В ответ смиренное блеянье двоечницы:

– Ну, такой... с начинкой... печенка там, шпек, грибы, лук-еврей... («порей» – слово спутала).

– Это вкусно?

– Очень... – Неожиданно прочувствованным шепотом, которому только очень дурной человек не поверит. Даже закрыла глаза.

Хорошо, ему вологодский блин.

– А я только пить буду. Соки какие у вас есть? «Валенсия» есть? Давайте. А что у вас на сладенькое? А торт «Прага» есть?

– Вот ноты, – сказала она, когда заказ унесли. И пока не принесли заказанное, Вильфрид изучал их почти как меню.

– Вот здесь, – она ткнула ножом куда-то вниз нотного листка, – видишь, по-русски написано? – читает по складам, словно от этого ему станет понятней: *Моцарт падает бездыханным.*

Кивнул, скорее с выражением понимания, чем недоумения:

– Ля первой октавы, – нотная грамота для него не филькина грамота. – Фортиссимо...

А этого он не понимает, специальное обозначение – он имел в виду римскую четверку.

Виола высказалась за проведение следственного эксперимента при условии, что скрипач не будет русским.

– Боишься рисковать жизнью соотечественника?

У немцев ироническое чувство юмора, уже привыкла.

– Нет, он может догадаться. Об этом в русских газетах писали.

– Японка подойдет?

Шутит. Нет, оказывается, и вправду есть одна японка, которая играет на скрипке. Ее отец – работник посольства, а она здесь учится.

– У каких-нибудь русских?

Он выяснит. Вряд ли. Учиться у русского японца будет в России. В Германии он предпочтет немца. Людям подавай оригинал, особенно японцам.

А он сам не боится рисковать жизнью дочери своего японского коллеги?

– Я не говорил, что мы коллеги. Нет, не боюсь. У нее будет только два слушателя, ты да я. Надо ноты переснять.

– На экспертизу их не надо отправить?

– Куда, во всемирную ассоциацию чернокнижников?

– Ну, блин... – ахнула Виола.

Он был огромный, сложенный конвертом, с печенкой, шпекком, грибами, луком-евреем, – все как обещано. «Аленка» держала тарелку с краешков, так горячо.

– Где это – Вологда, на севере? – спросил Вильфрид, мыслящий глобально, а не в масштабе дистрикта.

Он по-детски доверчив не в том, что касается географии, – этот урок уже усвоен: снаряжать экспедицию в Вологду Вильфрид начнет с приобретения собачь-

ей упряжки и валенок. Но непосредственно на месте вдруг выяснится, что сами местные про свой блин и слыхом не слыхивали, не говоря о том, чтобы вкусить. Зато, предприимчивые и гостеприимные, вологодичи предлагают приезжему исконную свою специальность: шпш с вологодским маслом. «Но он точно оригинальный?» – спрашивает приезжий.

После чего ест и не морщится: для гастроуриста туземная кухня не делится на «вкусную» и «невкусную». Наша позиция по данному вопросу неизменна: критерием является подлинность. Как несть еллина ни иудея, так несть великих ни малых национальных гастрономий. Недаром для нас «кухня бушменов представляет не меньший интерес, чем французская». Так сочетаются в одном лице глобалист-политик и антиглобалист-культуролог.

К этому бы еще стопку настоящей русской водки. «Ельцин» – настоящая, как по ее мнению? А «Горбачев»? А какая настоящая, «Путинка»? Эй, «Аленка!» «Кузька!» «Путинки» у вас нет?

– Вильфрид, – сказала Виола, – ничего, что я пока буду есть «Прагу»? Я ем очень медленно, тридцать раз прожую, прежде чем проглотить. Ты еще успеешь у меня попробовать. Ах да! Ты же не знаешь, я встречалась с Симоном Вольфом. Сейчас расскажу тебе историю...

Такие истории хорошо закусывать «вологодским блином». В завершение Виола дала высокую оценку проделанной ею работе:

– Вещенькая это вещь, как видишь.

Имеет право. Все было сыграно ею как по нотам. И при этом доиграла до конца, не то что некоторые. До самого доньшка: Симон больше, чем он рассказал, действительно не знает. И на том спасибо. А то ведь с трюху нагородят больше, чем знают, потом иди свищи. Что яд вводился посредством телекинеза, это ему хоть ясно? И что Силька не одной лишь музыкальной частью ведала...

– Кто?

– Дед Пихто... Сильвия Таль, что с бизнесменом Лаптевым. Уж она-то хорошо знала, что Виола Вещая никому не отказывает в помощи. А тут умирающий взывает. Свинство. И не разубедишь его. Ту-ту, поезд ушел. Он остался сидеть в отцепленном вагоне, и в памяти это уже навсегда. Как лицо убийцы в зрачке убитого...

Что она имеет в виду?

– Ты что, никогда не слышал о феномене мертвых глаз?

Достаёт газетную вырезку.

– Хотел бы с ней познакомиться? Предлагают.

Вильфрид покачал головой: загадочные славянские шутки. А почему она так уверена, что это была фрау Таль?

– А затычки в нос – то, что они не помогут. Кто еще мог о них знать? Либо она, либо Толик, ее муж. Фидлер сам об этом никому бы не стал говорить: «Такая вонь, ребята, идет от моей игры, что затычки в нос понадобились».

– Какие затычки, в какой нос?

Объясняем, доступно: Моцарт, когда на своей старенькой скрипочке играет, испытывает боль в плече, нестерпимую. Виола просчитала ее четко: Моцарт стискивает зубы, как припадочный, вот где-то и зажало нерв. Ну, прописала ему затычки в нос: чтобы ртом дышал, когда выступает с концертами. И все прошло зимой холодной. А то был бы привет горячий.

– Но этот зубной врач, он тоже знал, не только его жена.

– И говорил по телефону подкованным голосом: здрасьте, я Виола. При том, что они с женой уже два года врозь. А Фидлер всегда водил компанию с Силькой, он – ее подружка. Вместе учились. И даже играл на скрипке ее деда, на старенькой. Между прочим, антиквариат. Я тут от Леночки одной приняла сенсетив-сигнал, должна еще отследить источник.

Справившись с «вологодским блином», Вильфрид заказал себе «чай по-купечески», но без баранок, а попробовал кусочек «Праги» у нее. Расстались на том, что о времени и месте проведения следственного эксперимента условятся, как только он войдет в контакт со своей японкой.

Говорится, место встречи изменить нельзя, а здесь место смерти изменить нельзя. Не время смерти фиксировано, а место. Мир полон чудесных явлений. Японка – и играет на скрипке, это ли не чудеса в решетке? Посильней, чем еврей-самурай. От Карабаса-Барабаса куклы прятались, а он их выманивал. Как с Фидлером. Правда, те прикидывались неживыми, а Фидлер наоборот: игрушечный человек хотел казаться настоящим.

– Знаешь, одно просчитано мною четко: зачем-то Фидлера понадобилось перед самым началом выманить оттуда, где он находился. Тут и пошли звонки.

На этом они расстались, обменявшись энергичным рукопожатием.

К слову, о рукопожатии: сенсетив-сигнал от «одной Леночки» относился к делу Фидлера лишь косвенно – в подтверждение того, что мир тесен, и дела в нем трутся одно о другое. Но в трении рождается истина. Разумеется, «если считать истиной то, что ею является» («Камасутра»), а не изобретать велосипед. «Сколько тебе? – спрашивала Виола у Лены. – Уже пора перестать предохраняться».

Она ей сперва назначила в кафе. Это было накануне, но та приболела, даже в праксис не пошла, осталась дома. И впервые за много лет Виола пришла снова в этот самый дом. В комнате, где когда-то рос фикус «нашей мамы», спят Даник и Леночка. Ниже обретался Толик со своей «новой мамой». А кстати, где она? Да кто ее знает, Малгажата дома редкий гость – вечно носится по своим кукольным делам.

Гостиная внизу сплошь была увешана ее работами. Колготки, начиненные ватой, превращались в живых существ, которым не повредила бы диета. Пугала, бородастые, патлатые... те самые Яковы.

– Музей кукольных фигур, – сказала Виола, осматриваясь. – Ну и морда! Карабас-Барабас.

– А это он и есть. Для спектакля «Золотой ключик». Московский театр, когда приезжал, ей срочно заказал. Своего им на таможне разломали.

–А она с кого-то делает или из головы? Это Толик, верно?

Лене весь ее расклад, как в зеркале, показала:

– Тебе уже сколько? Раз приболеешь, два приболеешь. Не предохраняйся, слышишь? Это по-любому, будешь ты с ним или с кем другим. Не откладывай, рожай. А то смотри, поезд – ту-ту. Не думай, что молодая. У Лоуэлла сказано: «Вопрос “быть или не быть?” сменился вопросом “иметь или не иметь?”». Что это значит, если популярно: одни боятся иметь детей, другие боятся их не иметь. Тебе надо бояться не иметь. Вообще я тебе вот что скажу. Даник – парень для тебя подходящий, но скоро здесь дурдом начнется. Его мамаша в негативе, смотри, чтоб это не вызвало энергетический кризис. Данику новая мама нужна. Толик себе маму благововременно выбрал. Вспомнишь, что я тебе сказала. Поэтому либо ты в ближней перспективе родишь и будешь обоих нянчить, либо сваливай к другому. И помни: женщина рождает для себя. Не чтоб мужа осчастливить, и не для матери-родины, чтоб та бездетной не осталась. Женщина рождает, чтоб не было мучительно больно за прожитую черт-те с кем жизнь.

«За прожитую черт-те с кем жизнь...» Саша, сосавшая сушки на шоссе, тогда грозилась мужа убить. Сливали информацию. В расчете, что он следит за ней и тоже сунется к Виоле: мол, баба моя чего от тебя хотела? Ну, забашляет – Виола и выложит: так и так, боится, что убьет тебя, патлатого. А он струхнет и отстанет. Думали, за бабки Виола Вещая медицинскую тайну откроет. А вот флаг тебе. Это к Матрене Львовне надо было обращаться, которая в платочке.

Сорвалось через Виолу пугнуть патлатого, давай ломать комедию с фотографией. Небось Малгажата надоумила. Художница. С ее помощью чего стоит покойницей на карточку сняться. Термопоток слабенький, кто там уловит.

Стыдно сказать, Виола опростоволосилась с Приднестровьем: видит, цыган, ну и не стала считать. А в Каунасе ихнего брата тоже немерено. Просто с Приднестровья можно было на азыль подавать, а прибалтам с какой стати азыль просить, к ним самим просятся – те же армяне.

– Ну, смотри мне, не болей.

– Спасибо тебе громадное.

Прежде чем уйти – как перед Сикстинской мадонной – долго стояла перед Карабасом-Барабасом. Действительно он – или совпадение? С одной стороны, тождество миров, клеток, атомов – это базисный принцип дзен-буддизма. Отсюда «то и это одно и то же». Отсюда «самопознание через познание других, и познание других через самопознание». С другой стороны, у Якова, того, была в точности такая же бородавка угол носа и косматой брови. А людей с бородавками на лице сегодня раз-два и обчелся: у всех водопровод, колодцев больше нет в заводе. Откуда взяться жабам бородавчатым, главным их разносчиком?

«Была не была», – сказала себе Виола по размышлению, сопровождавшемся верчением со скоростью белки в колесе одного большого пальца вокруг другого. То от себя, то к себе – то как наверчивают тфилин украинские хасиды, то как это делают белорусские ли'тваки. На конверте, который она запечатает, будет номер почтового ящика, указанный в газетном объявлении, первом из двух, чей смысл убедился к почти евангельской заповеди: не ищите, да не найдены будете.

Виола писала:

Здравствуй, дорогая «Угадайка»!

Пишет тебе твоя бывшая слушательница, которая не пропускала ни одной твоей передачи. Почему нельзя было честно спросить совета? Мамы всякие нужны. С сексуальном рабством надо бороться законными методами. С моей помощью закон всегда будет на стороне ребенка. А теперь мой совет Саше с сушками: не запирать Риту на золотой ключик в сказочной стране. Имеющий ушки да услышит. Как честная ясновидящая, берусь оказать содействие – парни, парни, это в наших силах. А теперь мой совет Малгажате: всякий шантаж тоже имеет срок годности, а Яков трус. Он, как кукла Карабас-Барабас, видом страшный, а скажешь: «Чтоб у тебя борода отсохла», сразу врассыпную. Пасть можно только низко, только это падшие создания, остальные по истечении срока годности амнистированы. Ну, подумаешь, поработали вы с Сашей на шоссе двоечкой. Это было время попутных машин с востока на запад. В мирной жизни страх разоблачения хуже самого разоблачения. Малгажата местоблюстительница той, которая скоро убедится в этом на собственной шкурке: «Сильва, ты меня не любишь, Сильва, ты меня погубишь».

Привязался мотивчик из оперетты. Кто-то поверил Фидлеру, что он с помощью телефонной книги умеет превращать абонентную сеть в агентурную (не иначе как экспертиза подтвердила подлинность «Купанья красного коня»). В смысле мотива ситуация становится под контроль. Сама видела детектив: украли антикварную скрипку за миллион и хотят вывезти ее за границу. А не краденую, доставшуюся от дедушки, что, ее дали б вывезти за просто так? Фидлер знал, что нет, потому и играл на ней сколько влезет.

Скажут: «Наша Силька? Кончай, сколько ей было, когда она уехала, сколько лет прошло?» А вот с таких и брали подписку, с дальним прицелом, а за это дедушкину скрипку разрешали взять в самолет. Шабтаю Калмановичу и вовсе двадцати не было, когда уехал – из той же Прибалтики, не из Каунаса ли? Чуть помощником министра не сделался в Израилевке, миллионы нажил, пол-Арлозоровки мог ску-

пить. И нате вам, шпиён. Так бы и сидел, если б не Иосиф Кобзон, добрая душа. Об этом все русские газеты трубили.

Силька над скрипкой трясется, а трепло это ее возвращать не спешит, может, на что и намекнул даже. Она просигналила: скрипач опасен, даешь антисептику. Мотив Виола подарит Вильфриду. Не жалко. Ей мотивы даром не нужны. Райка двести тысяч ихних тугриков должна банку. Случись что с инкассатором, она под подозрением: у нее был мотив его ограбить.

Почему не нашли убийцу Арлозорова? Да потому что мотивов уйма, а убийцу выдавал лишь способ – единственный, которым он мог воспользоваться, чтобы остаться вне всяких подозрений. Но танцевали от мотивов, спорили о мотивах. В результате убийца дожил до седых волос. Не было на них Виолы в ту ночь, 16 июня 1933 года. Вот слетает к Райке на новоселье, тогда и скажет им, кто на самом деле грохнул вождя Сохнута. Ахнут.

Только подумала о мотиве убийства, который будет презентован Вильфриду с выгравированными на память ее и его инициалами: VW, как он уже звонит. И пусть после этого твердят о случайности сцепок.

Все сущее имеет быть токмо в озарении нашего о нем помышления, а посему, явленное нам, всенепременно удвоено собственной же тенью.

«Так говорил Дао»

И тут же, не отходя от кассы: Вильфрид звонит сказать, что сговорился на сегодня со скрипачкой-самураем, а сегодня у нас «изречение дня» («Земели» их теперь в каждом номере дают, эпиграфом к «Дао»):

Поощрение столь же необходимо виртуозу, сколь необходим канифоль смычку его.

К. П. Прутков

Виртуоз, виртуоз, ты куда нас привез?

Вильфрид заехал за нею в три. Сердце билось в параллельном режиме. Сама виновата: попробовала обойтись без цигуна. Вот и получила – любовь и здоровье не испытывают. А Вильфриду хоп что. «Стареет гадюк, – подумала не без раздражения. – И ездит на таком же вылизанном до бесчувствия “скарабее-кабрио“ с тридцатилетним стажем работы».

– Вильфрид, а у вас на пенсию уходят?

– Еще как.

– И что ты будешь делать?

– Поселюсь на Канарах и буду писать детективы под псевдонимом «Канарис».

«Мотив, что ты мне подарила...» – такой запоминающийся, что сам собой напеваешь со словами: «Низы психанули или сверху дали отмашку – не суть (может, нету ни верха, ни низа, а есть предоставленная себе самой горизонталь, испугавшаяся за свою шкурку). Их переполошили новейшие достижения в области алхимии: поколдует Фидлер над телефонной книгой, и проступят в ней все имена. Золотыми буквами».

К своей чести, Вильфрид пересилил в себе профессиональную ревность. До сих пор было так: на все, что б ни говорилось ею, семь раз отрежь «нет» и только на восьмой отмерь. «Дорогой мой чоловік, – думаешь, – на крайнем скепсисе далеко не уедешь, разве что в собачьей упряжке». Но на этот раз, выслушав, он не ударился в амбицию, а сделал лицом, что, мол, все возможно.

Проезжая Генерал-Рюдигер-Баннхоф, влетели в цветочный магазин – и через секунду вылетели оттуда с пятью белыми хризантемами. Ровно в полчетвертого

(классическое время их с Вильфридом файф-о-клока) его указательный палец нажал кнопку звонка – и через секунду отпустил. Четкость во всем до последней мелочи. Кажется, ты на боевом задании.

Виола, понятно, не узнает, как, каким мотивом отозвалась кнопка звонка в квартире сотрудника японского посольства. Он жил на втором этаже обычного дома, без признаков экстерриториальности.

– Квадтида Мудаками, – и не дожидаясь ответа: – Откдываю.

Зеркала, красная дорожка, сверкающие перила, жильцы, когда встречаются на лестнице, взаимно вежливы, в доме ни одного иностранца. То есть что значит ни одного – а сотрудник японского посольства?

Дверь приотворена... А хозяин-то в одних носках, ну, там в брюках, конечно, но без тапок. Не догадалась спросить, ноги мыть на большое декольте или на малое. Как учил Фрейд, в каждой шутке есть доля страха. Пусть даже чулки заведомо целые, все равно в разутом виде, когда ты в гостях, испытываешь неуверенность. Экспериментально доказано, что нисходящий поток через пятки уходит в пол, и человек превращается в бездонный сосуд: сколько его ни наполняй, все ему мало. Об этом же пишет один русский раввин в книге «Почему мы не мусульмане?», Райка прислала. Дома у них всегда гостям давали тапки. Не говоря уж о том, что ноги мерзнут. Ладно, закаляйся как сталь.

После обмена приветствиями, любезностями, улыбками, рукопожатиями, словом, всем, чем можно меняться, оставаясь при своем, вошли в комнату. Прямо чувствовала, как палас одновременно с пылью всасывает и энергию. Слава те, боженьки, не пришлось на нем сидеть. Если отбросить хождение в «одних носках» и сильный национальный привкус у сладенького, то все было как в лучших домах Филадельфии: столы, стулья, диваны.

Самурай-девица выглядела разгоряченной, перед их приходом упражнялась в искусстве восточных единоборств. Стоя посреди комнаты и сжимая скрипку, она улыбнулась Виоле так, словно приглашала помериться силами.

– Кдасивое имя Виолина. Дусьское, да? Дучше дусьских скдипасей никто не игдает скдипке. Коган, Ойстдах, Кдыса.

Но учится она, тем не менее, у немца?

Нет, Виолина ошибается. Ее учитель поляк по фамилии Венгр. Она уже семестр как занимается под его руководством в Институте Боевых Искусств.

Никаких следов третьего лица не обнаружено, похоже на неполную семью. Может, ее мамик перебежала к какому-нибудь японскому Лаптеву? (Позже выяснится, что фрау Маракуми с ведома семьи добровольно ушла из жизни – с диагнозом раковым. Прыгнула с Вавилонской Башни – Бабель-Тауэр – тридцатиэтажного небоскреба в Осаке.)

Даром, что служит в разведке дружественного, да не нам, государства («Ты за луну или за солнце?» И кто за луну, тот за советскую страну, а кто за солнце, тот за пузатого японца), даром, что племянник знаменитого адмирала – херр Мураками – сейчас вылитый дядя Гриша, когда тот слушает Зиночку на отчетном концерте, бросая косые взгляды на соседей. Знать, никаких японцев нет, а все мы русские.

Штурманский палец Вильфрида водил по ноткам, указывая Виоле местонахождение скрипачки: вот мы здесь... а вот уже здесь... Смертельная точка неумолимо приближалась. Чтобы в последний момент не завизжать, как та актриса в фильме, пришлось вцепиться зубами в кончик платка.

На лице у нее улыбка, а пальцы рвут платок.

Вильфрид вспоминал про этот фильм, а она видела его буквально днями. По «Нашему кино» – по ихнему, в смысле, – началась неделя хичкоковского фильма. Во вчерашнем тоже убийство: два часа подряд, пока не находят труп в сундуке, киноглаз не мигает. Это и есть снимать кожу чулком.

Совершилось! Палец Вильфрида в черной дыре. Самурай-скрипачка быстро-быстро, коротко-коротко жужжит смычком – палец Вильфрида ни с места. Как пророс. Как в водоворот попали. Наконец вынесло. Так никто и не пал бездыханным, ни Моцарт, ни кто другой.

Виола перевела дух.

Фантазия «Амадеус, Амадеус» сыграна. Вильфрид отложил ноты и стал аплодировать. Виола присоединилась к нему, хозяин тоже, бросая «косенькие» взгляды на гостей: ну, как им его Кэйко? Пока дочь, по-заячьи насупившись, играла свое «хряп-хряп» и «бекицер-бекицер», он сочувственно кивал в такт – так берут интервью у какого-нибудь людоеда-правителя.

Венгру она «Фантазию» еще не показывала, но как только начнутся занятия, обязательно покажет: интересно, что он скажет. Лично ей очень понравилось: «Сильвия Таль дусьская, да?» Может, из вежливости, чтоб не обидеть?

Слушатели интересуются: а вот что значит римская четверка?

А то значит, что надо играть на соль струне. Это ля первой октавы (Вильфрид со знанием дела поддакнул: он же говорил), его можно сыграть и на ре струне, можно просто провести смычком по струне ля, а можно и на струне соль.

Кэйко проводит смычком по разным струнам, трижды издав один и тот же звук. На соль струне он расположен аж вон где – у нее маленькая рука, японская, ей трудно дотянуться, но таково желание автора. Зато сразу жутковатое звучание. А тут еще фортиссимо, тремоло, фермата. Слышите?

Скрипка визжит как зарезанная.

Вильфрид понимающе кивает. Но и Виола в грязь лицом не ударила:

– Фермата – это автобусная остановка.

Она ездила в Италию с экскурсией, а память у нас, слава те, боженьки, – не девичья.

– Фермата – это значит надо задержаться подольше на этом звуке, – сказал Вильфрид. – А здесь впридачу тремоло, имитирующее барабанную дробь, как перед казнью... – умолк, пораженный тем, что сказал.

Но внимание Виолы привлекло другое: а вот это, это что – то, что она сейчас вытирает фланелькой?

Струны и что под струнами припорошило снежком. Кончившая играть скрипачка его счищала.

– Это канифоль, это от смычка.

Нет, ты подумай, только сегодня читала: «Поощрение столь же необходимо виртуозу, сколь необходим канифоль смычку его». Ай да «Земели»! Изречение дня. В точку. Чу-чу-чу-чкучма... Паровоз, паровоз, ну, ты и даешь... даешь Борис Борисыча... сыча... сыча... сыча... ищи-свищи женщину, Лешечка... шершавь ля-фа... уже нашел, уже шершавит, сукин сын...

– А вот эта нота, скажите... ля первой октавы, да? Она здесь и раньше встречается?

– Конечно, полно.

И русских головок на золоте речки, как белых грибов на полянке лесной. Неужто ошиблась, ведь все сходилось...

– Вот эта самая нота? – умоляюще переспрашивает Виола, даже указала то место на скрипичной полянке.

– Ах здесь, на соль струне? Здесь нет, только когда тре...

Дальше Виола уже не слышит. Барабанная дробь! Тррр! Тррррррремоло! Криминалиссимо! Смертный приговор прочитан: «Здесь умрет...»

Собственно, можно было уходить, фокус раскрыт. Но это некрасиво по отношению к внучатой племяннице повешенного американцами адмирала и жестоко по отношению к ее отцу, который вернулся с холода, продрог, хочет отогреться, согрейте ему душу, похвалите Кэйку, которая играет на скрипке, они вдвоем остались – он без жены, она без матери.

О'кэй, Кэйка-самурайка – хорошо. (А Райка-самурайка лучше.)

– Значит, было так, – сказала Виола, едва за ними закрылась дверь.

– Погоди, ты что, все поняла?

Да, она все поняла. Значит, было так... И пусть Вильфрид не думает, она тоже играла на гитаре, хоть и по слуху. Когда-то у нее лопнула струна – на зло одному человеку, неважно. Даже шрамик остался. И долго с шестью струнами гитара провисела на стене. Пока кто-то не натянул потом, старую совсем. В одном месте такую шершавую, что можно было оцарапать за милую душу. Один аккорд, помнит, перестала брать: «А шарик вернулся, – пэнц, перебор такой щемящий, – и он голубой». Пришлось без этого аккорда. Зачем Фидлера надо было выманить к ней? Только один раз палец прижимает это место. Зашершавить металлическую намотку – полсекунды. Дальше по части Вильфрида, он на токсинах собаку съел. (А вот Лешечку от нее не дождетесь – Сильку берите, режьте ее, ешьте ее с маслом.)

Как она догадалась? А очень просто: сместила точку сборки. Как на тоненький ледок выпал беленький снежок. На скрипке, которая в доме престарелых, беленькое было только на трех струнах, одна струна без ничего. Значит, на ней не играли. Натянула другую, новенькую, на скрипке же училась, ей это влегкую, и с глаз подальше, пусть полегит у стариканов. А ту струну куда-нибудь выбросила – долго еще в сумке таскала, надо же найти, куда выбросить.

Виола усмехается: ребусы им только сообща решать. (Вырежь их инициалы на скамейке: галочка и еще две галочки, а вместе марка его автомобиля.) Без нее теперь не обойтись. Ну, ты, гадюк, подсел. Она им такую службу сослужила, еще наградят орденом «Золотой рыбки». Выйдет на берег морской: «Смилуйся, Виолина». – «Чего тебе надобно, старче?» Надобно ловить кильку. Уже выяснено, когда она с Крыма прилетает. Ловись, Силька, ни мала, ни велика...

– А я в конце месяца лечу к сестре погостить.

– Это в Израиль? К Раисе?

Когда узнал, что у нее сестра в израильском Тель-Авиве, – проникся.

– Знаешь, где они квартиру купили? В самом центре, угол Арлозорова. Был такой деятель, не слыхал?

Как – не слыхал? Вильфрид свою шпионскую школу закончил с красным дипломом, только ударения подкачали.

– Арлбзоров? Которого убили? Глава политотдела Сохнута?

– А кто убил?

– За голову убийцы назначено вознаграждение исключительно в расчете на то, что оно никогда не будет выплачено. Это история, которую время от времени берутся распутывать без риска докопаться до правды. Тебе бы ее не поручили.

Ей бы не поручили... Так она их и будет спрашивать. Ей уже сейчас есть что сказать об этом убийстве.

– Вильфрид, у меня к тебе одно дело будет... может быть. Из другой совсем истории. Еще неясно.

Полная неясность. Она отправила письмо когда – на прошлой неделе? Ну, которое на абонентный ящик, «Здравствуй, дорогая “Угадка”». И ни ответа, ни привета. Получается, Виоле больше всех надо.

Вдруг, здрасьте-пожалуйста, телефон посреди ночи.

– Гутен таг, – посреди ночи-то.

- Гутен.
- Вечная?
- У Малгажаты заскок на нервной почве.
- Вечная бывает память. Ну, чего вам? Только я уже чемоданы пакую. В путь-дорогу.
- Как? Куда?
- Какая вам разница – во французский Лион, на всемирный собор ясновидящих. Так что случилось?
- Я вынуждена была ему все рассказать. Он знает, где Рита. У него есть на нее покупатель. Сашка еще ни о чем не подозревает...
- Не подозревает... Кончай врать. Чего ты боишься? Я знаю такие обереги – ни тебе, ни ей ничего не будет. Сперва ты Ритку сдаешь, а потом к ее матери бежишь: что делать? Сколько Ритке?
- Одиннадцать.
- Берите ее и езжайте ко мне.
- Уже не успеть. Они там будут раньше.
- В полицию! Немедленно! Я тебе гарантирую, никто тебя не вышлет. Ты амнистирована, слышишь? (Молчит.) Я тебе скажу обереги атлантов. А если девчонку увезут, сгинешь на фиг. Ее звездочка закатится – как червяка тебя раздавит. Где вы ее спрячете, давай по-быстрому.
- В «Гейдельбергской бочке».
- В бочке!?
- Это театр кукол на Димитровштрассе. Там же склад декораций. Какходишь, задник из «Пиноккио». Ну, из «Буратино». Нарисованная кастрюля с супом на огне. И если зайти с той стороны, железная дверь. Надо сильно постучать три раза, гулко так. Подождать, снова пять раз. Он про тот условный стук тоже знает. Сашка сейчас там, она подумает, это я.
- Ты у себя в Цоллендорфе? (Номер высветило цоллендорфский.) Я к тебе сейчас отзвоню.
- Я сама перезвоню, не надо.
- Сама. Все сама. Просто чтоб знала: и телефон, и адрес – все имеется в наличии.
- Ну, Вильфрид, долг платежом красен. Сейчас посмотрим, на что годится ваша контора... Ну, бери же трубку... Ты что, умер в самый нужный момент? Воскресни, черт побери...
- Спросонья, хрипло:
- Hillardsen...
- Вильфрид! Айне Катастрофе! Ты помнишь кукольный театр, где мы были? Среди декораций одна нелегалка прячет ребенка от шоссейных сутенеров. Те узнали. Нельзя терять ни секунды, понял?
- Хорошо. Точно где, можешь сказать? Там сейчас будут.
- Все объяснила.
- А лучше если б ты за мной заехал.
- Через три минуты на другом конце улицы: ля-фа! ля-фа! Но Виола была внизу еще раньше. Малгоша позвонит, а никто не подойдет к телефону. Боженьки, что станет с ее трусиками. Сама виновата. Все сама. Мало ее кишечнику стрессов было.
- ЛЯ-ФА! ЛЯ-ФА! Забралась на заднее сиденье, и дальше рванули. На Кронверкергартен подхватили Вильфрида:
- Они уже там.
- Не стала уточнять, кто – «они». Кто бы ни был, другие тоже там, иначе откуда б он знал.

Уже Димитрова. Под «ля-фа» ездить по городу лафа: машины жмутся по стеночкам, как девчата. Хорошо быть первым парнем на танцульках. Райка ходила по субботам, Виола – никогда.

Странно, им навстречу проехал мотоцикл без мотоциклиста. Это было как во сне.

– Ты видел?

Мотоциклист задел бровку. На колесе нет глаз. Спасавшийся бегством, он достиг противоположного результата: лежал на тротуаре, ногами вперед – Карабас-Барабас, у которого разбежались все его куклы. Был бы в шлеме, остался б жив, но, как известно, теряющий голову теряет ее дважды. Это сказал... Да кто бы ни сказал, важно, что прав.

Останавливаться не стали: уже подъехала другая полицейская машина. Сколько же их тут! Виола насчитала три полицейские, еще две без опознавательных знаков, и в придачу то потухнет, то погаснет «скорая». За компанию с ней растерянно мигал аварийными глазками автомобиль незадачливого покупателя, который завидовал небось продавцу: ушел. Когда узнает, куда ушел, будет приятно разочарован – без всяких кавычек приятно: чем только люди не тешатся, чтобы не плакать. Есть целая техника, которой пользуются психологи, работающие в горячих точках.

По виду это был нормальный мафиози, не местный, но и не русский – в сером гангстерском костюме в белую полоску, в наручниках. Может, Польша, может, еще чего. Когда они с Вильфридом вошли внутрь, сразу его заметила. Но преступный мир, стрельба, любовницы – это для широкой публики. Подключенные к Универсуму склоняются над жертвой. Где жертвы?

Скрывавший железную дверь холст с изображением дымящейся похлебки валялся сорванный. Виола спустилась по ступенькам в подвал, затхлый, как все подвалы, зато расписанный яркими красками – даже потолок был выкрашен в синее небо.

Малгажата потрудились, что твой Ривера. Поверх театрального занавеса, почти настоящего, был нарисован золотой ключик, повторяющий форму складок. Это ключ от города Берлина, судя по Бранденбургским воротам, по полусфере Жан-дармского рынка, по церковному жерлу и переплюнувшей его в высоту Останкинской вышке.

Число двухэтажных автобусов в разы превышало число легковушек, а на каждого прохожего приходилось столько детей, что можно было смело рапортовать о многократном перевыполнении горожанами демографического плана.

У некоторых из пешеходов были прототипы. Двух Виола узнала без труда: особу в кожаной набедренной повязке, именуемой юбкой из чувства приличия, – она протягивала Ритке (а кому же еще) трубочку с развесистым мороженым, тогда как персонаж карабас-барабасовской наружности отправлялся в зеленый воронок. На тех, кто сажает его в чудо-птицу, кожаные форменки – с кожаной набедренной повязкой эти форменки связаны общим прародителем: если люди произошли от одной единственной парочки, то животные и подавно.

– На сто первый километр вас не вышлют, – сказала Виола.

Это относилось к сидевшей на топчане – с таким лицом, с каким на нем лежат третьи сутки, после чего это лицо фотографируют – и на доску почета. Или в газету.

– Да оставят вас здесь, оставят. Пойдешь в школу, будешь играть с другими ребятами. Я договорилась, – это уже относилось к девочке (с того же топчана). – А мне с вами тут не фиг делать. Мне завтра улетать.

И ушла.

Видит: на улице останавливается такси, и появляется еще одна – тоже краше в гроб кладут.

Виола крикнула:

– Садись обратно и езжай откуда приехала. И не суйся.

Что Малгажата, что Силька: на всё большие глаза, не устоять. А кажется: Силька – силища, Малгажатка – мощная баба. Ну да, не без способностей, музыкальных, или нарисовать чего. Это всего лишь рукоделье, народные промыслы – там литовские, здесь еврейские. Правда, Сильке легче было: за нее кровь предков потрудились. А Малгажате самой пришлось шуровать. Поэтому за одну Малгажату двух Силек дают.

– Вильфрид, а что ей будет? – спросила Виола.

Он заехал за ней на своем доисторическом «жучке» – отвезти в аэропорт. Сумку пришлось поставить в кабину, до того маленьким оказался просивший каши багажник, тогда как мотор сидел в пятке. Кто хранит верность туалетам своей молодости, кто – маркам ее автомобилей.

– Это кому? Фрау Таль что будет? Чтобы ей что-то было, надо сперва доказать, что она что-то сделала. Этим занимаются коллеги из полиции. От фрау Таль самой зависит, насколько преуспеют наши коллеги. Например, они могут узнать, что нет следов канифоли на одной из струн – как будто на ней не играли. А могут и не узнать.

Ага. Вот как он мыслит. Когда Сильку возьмут за одно место, лучше чтоб какой-то прок от нее был, чем без толку сгорать ее энергетическим полям. По Райкину: балерина чтоб не просто крутилась, а подсоединить к чему-нибудь, и пусть ток вырабатывает.

«Начинается регистрация пассажиров на рейс...»

– Вильфрид, смотри, ты мне обещал. Эта женщина с девочкой на твою ответственность.

– Не беспокойся, о них позаботятся.

В отсутствие Виолы телефон попугайствовал ее голосом:

«Вы позвонили к Виоле Вещей, и я, Виола Вещая, желаю вам доброе утро, добрый день, добрый вечер, а также доброй ночи – смотря по тому, в какое время вы позвонили. В настоящий момент я в командировке и приложить меня, как пластырь, невозможно. Мой совет: упражняйтесь в цигуне. Лучше всего это делать перед завтраком. Пособие по цигуну можно приобрести в магазине “Книги Гржебин”...»

Для одного из позвонивших это было, как почесать зачесавшееся место – а там прыщик или укус, такая же нечаянная острота. Сейчас вспомним его: вязаная кофта, пуговицы от женского пальто. Рассеянный с Бассейной, нынче Некрасова. Человек из книжного магазина – и вдруг слышит про свой магазин.

Никогда б не подумали, что он позвонит? Обязывала, очевидно, визитная карточка в первом акте: Виола Вещая, номер телефона. Мол, звоните, если что. Причиной –приснившийся сон. Вначале и не помышлял ни о каких толкователях снов. Сдетонировало то, что ее визитной карточкой была заложена четыреста девяносто четвертая страница второго тома «Иосифа», томасманновского.

А сон и вправду из тех самых «чудных снов». Он перешел Аничков мост, но идет не по солнечной стороне, а мимо Аничкова дворца: служит в Публичной библиотеке. Но прежде надо зайти в «Книжную лавку писателей». Перебегает Невский (ну, это, положим, читал накануне некролог Жожаяна). «Скажите, – спрашивает у продавца, интеллигентного старичка, – я ищу “Образы Италии”, первоиздание». – «К сожалению, мы не можем вам его продать. Наш экземпляр, в прекрасной сохранности, предназначен победителю литературного конкурса. Вы не подходите по возрасту». – «Жаль». – «Очень жаль. Может, вас заинтересует “Эгерия”, могу предложить», – снимает с полки. «А сколько это будет стоить?» – «Косая», – резким, изменившимся голосом. Похолодел: да и впрямь ли это старый интеллигент – вон какие лапы, вон какие когти. «Но я не знаю, сколько это, я давно не жи-

ву здесь. И потом, в каком она состоянии... Что это, след от пули?» – Открываю и читаю: *Адольфу Гитлеру – Павел Муратов.*

Декабрь 2006 – 22 апреля 2007

ПРАВЫЙ САПОГ ДЛЯ СТАРУХИ ТУМАРКИНОЙ

РАССКАЗ

Старухе Тумаркиной минуло восемьдесят пять, и охота жить в ней была сильно ослаблена. Тем более – охота к перемене мест. Все ее желания сводились к одному: дожить остаток дней, сколько ей там отмерено, среди привычных лиц и предметов.

Однако привычные лица: внук, в коем она души не чаяла, и его мать (ей, стало быть, невестка), каковую она, наоборот, не любила в тайне души, но наружно с нею была любезна, став целиком от нее зависимой после смерти сына, – привычные эти лица теперь были устремлены к Земле Обетованной, в открытый шлюз репатриации. Привычные же предметы – сплошь упакованные, увязанные, меченные тряпичными ярлыками с порядковым номером и иностранными литерами, – громоздились вокруг нее, сидевшей на последней в опустевшем доме табуретке, и, казалось, были с ней заодно. Она была, в общем-то, таким же безгласным предметом, тюком, хоть ярлык нашивай, и не хотелось ей никуда, в том числе и в Землю Обетованную.

Но уже подкатил под окно проклятый автобус и с пневматическим выдохом раздал двери; уже пустились со всех ног, засновали, засуетились приятели покойного сына, хватая на вынос чемоданы, саквояжи, баулы, тюки; уже разводил пары на железнодорожном вокзале скорый Киев – Будапешт, и бригады хищных носильщиков отслеживали среди пассажиров евреев-репатриантов с их горами поклажи; уже заправляли керосин в баки авиалайнера израильской компании «Эль Аль» где-то в будапештском аэропорту; уже ненавистная невестка, сделав последний стезок на последней пришитой к баулу тряпице с нанесенными на нее чернильными буквами TUMARKIN, ISRAEL, торопливо перекусила нитку – все было готово к последней поездке из этого города, из этой страны, где худо-бедно, но существовало с десятков поколений Тумаркиных, три из которых (вернее, то, что от них осталось) теперь готовы были к убытию, переселению, историческому исходу, возвращению в родные пределы.

Только вот старуха Тумаркина – не совсем.

– Мама! – пронзительно крикнула невестка, заметив эту ее неготовность. – Вы все еще в одном сапоге! Люсик, где второй сапог?

Окрик адресовался старшему старухиному сыну, приехавшему проститься с матерью из Уфы и теперь бродившему меж тюков и чемоданов, коими уставлены были обе комнаты, в поисках запропавшегося сапога.

И тут старуха Тумаркина, до сих пор сидевшая безучастно и сгорбясь, старуха Тумаркина, плохо отличимая от узлов и тюков, обутая в один левый сапог, старуха Тумаркина после многодневного угнетенного молчания расклеила губы и отчетливо объявила капризным тоном примадонны:

– Не найдется сапог – никуда не поеду!

Старухе Тумаркиной вдруг блеснуло спасение в пропавшем сапоге, блеснуло и тут же увяло. Потому что старуха Тумаркина была умной старухой и понимала,

что даже не отыщется сапог, потащат ее и без него, потащат босой по снегу, как Зою Космодемьянскую, ну, не потащат – понесут, повлекут, устрелят, не босой, конечно, – в галоше, ботинке, в обмотках, но увезут, не бросят, хотя и обуза она им, бремя. Что ж, сама виновата – зажилась на белом свете, муж умно сделал, что помер загодя. Из-за ее долгожительства они и без того пересидели здесь. Кто поумнее – давно там, на исторической родине, поосвоился, прижился, балагурит на иврите.

Оставлять ее, в общем, есть на кого. Есть ведь еще один сын, старший, первенец. Вот он, только что сидел рядышком, печальный, безразличный к суете сборов. Его никто и не беспокоил, не звал на подмогу; нельзя – он здесь наиболее драматическая фигура, пусть побудет напоследок при матери, что убывает навсегда. Навечно. Как можно суетиться, снаряжать родную мать своими руками в последний путь? Но прибывший автобус и всеобщая взвихренность подняли и его на ноги, и он, не переменяя горестного выражения на лице, повел печальными глазами по углам в поисках сапога, как бы невольно включился в хлопоты – конечно, без той энергии и хваткости, которая владела всеми в эти минуты, включился только ради заботы о матери, разутый ее ноге, стынувшей среди гулявших понизу ледяных сквозняков. Старуха же Тумаркина получила совсем обратное впечатление: когда он сидел рядышком с нею, еще оставался какой-то шанс, что вдруг он возьмет и скажет: не едь, куда тебе такой, заберу к себе. Теперь же своей, пусть как бы и вынужденной, включенностью в сборы, в поиски последнего предмета ее дорожной экипировки, он исключал возможность чудесного для нее оборота дел. Она, конечно, не сильно на это рассчитывала. Хотел бы – мог бы дать ей приют еще после смерти младшего брата, не бросать на невестку. О! она бы всю душу. Несмотря на уфимскую невестку, которая тоже не бог весть что – не очень благоволит к евреям, тем более к свекрови. Она и к мужу-то своему, когда отрезвела от любви, не сразу притерпелась. А как не притерпеться – красавец, умница, главврач города, всеобщий любимец, коммунист, депутат. Она теперь и евреем-то его не числит. Иной раз даже делится с ним своими юдофобскими мнениями. Он ничуть не в обиде. Наоборот: считает актом полного доверия. Он там, в глубинке, и в самом деле несколько не ощущает себя евреем. Здесь толком и не знают, что оно такое, еврей, с чем его едят. Знают лишь, что евреи – плохие люди, *жиды*, но к конкретным, редким здесь евреям, с коими бок о бок живут и работают, понятия этого не прилагают. Еврей для них – некий фантом, жупел, не имеющий будничного воплощения, туманно-мифологический образ, что-то вроде басурмана, хазара и прочего незапамятного супостата. Он, бедолага, может, и приютил бы мать, будь она каким-то образом не еврейкой. Опасался, что старуха Тумаркина с ее горбатым носом и выкаченными глазами, на которую он похож лицом, – но на его мужской лад ее черты, да еще в сочетании с серыми, от отца, глазами, выглядят даже очень аванажными, придают некий южно-ресторанный шарм, – опасался, что нарушит она его устоявшийся образ, станет наглядным его еврейство, расшифруется его обаятельный вид, и всякий поймет, взглянув на его мать, что Тумаркин-то наш – еврей; – неужто? надо же! а я-то думаю, что это он такой... какой-то не такой. А раз еврей, то с ним ухо надо держать востро. Да и жена не уживется с нею под одной крышей. За сорок лет их супружества они встречались едва ли больше двух-трех раз. Да и то натянутой улыбки жене хватало ненадолго. Но он был признателен славянской своей супругнице за дипломатический такт.

Пожить же старухе Тумаркиной еще все-таки хотелось. А придет срок, помереть при сыне, пусть и трудно с невесткой-антисемиткой. А разве с младшей невесткой ей легко, пусть она и еврейка? Старуха Тумаркина всегда внутренне протестует против ее диктата, иной раз совсем невмочь, но она не перечит, только согласно кивает. А разве не изнывал от ее сокрушительной инициативы младший сын старухи? И кто знает, не ускорило ли это его кончину? Очень странную. Лег как-то

днем поспать на кушетку и не проснулся. Дома, как на беду, ни души не было: ни невестки, ни внука, ни ее, домоседки, – ушла на партсобрание в ЖЭК. Когда возвращались, нашли его бездыханным, а рядом упаковка со снотворным, почти опустошенная. Так что было, ой много было на сердце у нее против младшей невестки. И неизвестно, которая из них была немилей. Известно одно: уезжать началось для нее ехать навстречу смерти, а это совсем иное дело, когда смерть является в гости к тебе, и ты – хозяин.

Вот и исторгся из старухи Тумаркиной ультиматум, выглядевший капризом: «Не найдется сапог – никуда не поеду!» – ни дать ни взять наследная принцесса. И все тут же взапуски стали искать, точно это был не старый сапог с невесткиной ноги, десять лет назад вышедший из моды, а хрустальный башмачок.

И тут безутешный сын, родное чадо, включась в поиски, оказался среди всей этой кутерьмы самым из всех разумным, самым смышленным. Он всегда был умницей, не чета младшенькому – пылкому, недотепистому.

– Вынесите все вещи – и сапог найдется, – сказал он слабым, полным печали голосом.

Вся компания с новой энергией бросилась хватать поклажу и утаскивать в автобус.

Необутой ее ноге было холодно: все двери были распахнуты настежь, студены сквозняки шастали понижу. Но она готова была терпеть холод – пусть бы только длилось и длилось пребывание в этих стенах. Да она и с левой ноги сбросила бы невесткин сапог, сгинь он к чертовой матери!

Еще не все вещи были убраны, когда предстал на освобожденном полу проклятый сапог, на который старуха Тумаркина воззрилась с ужасом, будто это был, скажем, *испанский сапог*, орудие средневековой пытки.

Сын неспешно, как бы нехотя подобрал его и стал заботливо обувать ее озябшую ногу. Когда он натягивал первый сапог и надежд остаться она не питала, ей даже приятна была сыновья забота. Теперь же, когда он надевал второй, с пропажей которого мелькнула у нее наивная надежда, она не чувствовала даже прикосновений, точно нога уже ей не принадлежала, точно обряжал он ее для похоронного ритуала.

Дальнейшее она воспринимала сквозь некую пелену. Она не давала себе отчета, когда повели ее под руки в автобус, забитый манатками выше окон; под одну руку вел не то старший сын, не то младший, покойный, под другую – покойный же муж Соломон. Не помнила, как взревел мотор и автобус покатился; она лишь искоса взглянула на покидаемый дом, на яблоневый сад, посаженный Соломоном сорок лет назад, что стоял теперь, припорошенный не то белым снегом, не то белым кипением яблонева цвета. Не помнила, как вели ее через кишевший людьями вокзал, как сидела в зале ожидания рядом с печальным сыном, пока возглавляемая невесткой команда провожатых воевала с мафией носильщиков, заломивших цену, превышающую стоимость купейного билета до Будапешта, прекрасно понимая, что имеют дело с евреями, рвущимися в свой еврейский рай со своими бебехами, и как тут не подработать. И так, она сидела с сыном, который что-то шелестел ей, какие-то мелкие наставления, поправлял шаль, совал носовой платок, спрашивал, не принести ли попить, а она в ответ шептала: «Ничего мне не надо».

И пробила минута, когда подлетел к ним кто-то из провожатых, кажется, вернейший друг покойного сына, всегда представавший по первому зову. Разгоряченный атмосферой перрона, войной за очередность погрузки, он нервно объявил, что пора на посадку, и они оба с сыном почтительно повлекли под локотки старуху Тумаркину, которая совсем не чуяла под собой земли, перебирала лишь ослабевшими ногами, вставленными в невесткины рыжие сапоги, и просторные раструбы голенищ похлопывали по иссохшим ее икрам.

На платформе, чуть в стороне от сутолоки, привлекала внимание машина скорой помощи. Рядом на носилках лежала, свернувшись калачиком, еще одна старуха. Тут же громоздилась гора чемоданов и узлов с нашитыми ярлыками.

– Вот видите, мама, – встретила с назиданиями старуху Тумаркину невестка. – Очень больная женщина, а тоже едет.

Лежавшая на носилках старушенция смотрела невидящими, отрешенными глазами на происходящую суматоху.

– Едет – да не доедет, – вслух заметил стоявший неподалеку не то пассажир, не то провожающий, а скорее всего, ни то ни другое, ибо ни у пассажира, ни у провожающего нет досуга для наблюдений и умствований.

– А может, и доедет? – усомнился другой наблюдатель, державший руки сложенными на груди.

– Что-то непохоже, – стоял на своем первый.

Получилось вполне как у Гоголя с двумя мужиками, что обсуждали – доедет ли вихляющее колесо до Москвы.

– И не стыдно вам! – присрамила эти праздные языки невестка. – Живой человек, а вы... Ей зато в Тель-Авиве вручат тысячу шекелей. Прямо в аэропорту. Вам назло!

– А сколько это выйдет на наши деньги? – поинтересовались наблюдатели.

– Четыреста долларов! Сами перемножьте на ваши паршивые рубли.

– Ишь ты, – удивились наблюдатели и поприкусили языки.

Как бы там ни было, но старуха Тумаркина несколько ободрилась, увидевши такую никудышную пассажирку, совсем уж напоминавшую поклажу: как-никак, сама она перемещалась на своих двоих. У нее чуть отлегло от сердца: в последний путь ей теперь была компания – все-таки веселей.

Тем временем семейство, имевшее живой груз в виде свернувшейся калачиком бабуся, хлынуло в вагон с чемоданами. И старуха Тумаркина с горечью отметила, что ее компаньонка осталась на носилках в стороне.

– Эй, куда же вы?! Мамашу не забудьте! Тыщу шекелей! – крикнули им в спину двое праздных наблюдателей.

Лишь рассовав, растыкав по полкам и рундукам свою поклажу, семейство хватилось, что бабуся все еще на перроне. А между тем новое семейство уже пошло приступом и пустилось хватать да метать свои манатки. Пришлось криком и мольбами взывать, чтоб дали проход, дабы внести забытый на носилках живой (едва живой) груз, лежавшую в позе эмбриона старушенцию и желавшую лишь одного: покоя, предсмертного сосредоточения. Так, на носилках, ее и подали в вагон над головами, сотрясаемую, колеблемую от напряженных усилий многих рук, и она вплыла в сумрак вагонного тамбура.

Лихорадочная посадка в вагоны вдруг привиделась старухе Тумаркиной эвакуацией, которую она уже испытала в 41-м с двумя детьми на руках, перед вступлением в Киев немецких войск. Старшему шел двенадцатый, младшему – полтора.

И еще всплыла в ее памяти бомбежка под Харьковом. Поезд тогда стал в чистом поле, чтобы просто перевести дух, так как Харьков прошли без остановки. Многие беженцы-пассажиры, воспользовавшись стоянкой, повысыпали из вагонов по нужде. Младшенького оставила спящего в вагоне. Местность ровная, уходить от состава далеко нельзя. И люди, разбившись на два лагеря, мужской и женский, присели орлами, на виду друг у друга – не до церемоний. За естественным делом и застал их немецкий авианалет. «Ложись!» – заорали бывалые голоса среди нарастающего в небе рева. И все растянулись на земле, там и сям белея наготовю, не успев со страху ее прикрыть. Бомбовые взрывы взметались вдоль полотна, комья земли, щебень долетали до лежавших ничком пассажиров. Было очень страшно, но еще страшнее рвало душу терзание, к кому из сыновей бежать: один остался в вагоне, другой – в мужском стане. К счастью, налет был короток и урона не нанес. Вскоре

она смогла прижать к сердцу обоих. Разлука была короткой, но чреватой вечностью.

Много лет спустя вечная разлука все же настала, и тоже среди бела дня, и снова в те минуты, когда она отлучилась, и снова младшенький спал...

И вот пришел черед навеки разлучаться со старшим. Они снова сидели рядом, но уже в тесно забитом вещами купе. Теперь сын, ввиду близости расставания, забрал иссохшие ее ладони в свои руки, и они оба смотрели, как за окном на перроне невестка с внуком и другими, убывавшими из грешной этой земли, прощались с толпой друзей и родичей. Международный вагон в составе поезда был единственный, и теснилась толпа именно здесь. Слезы, объятия, выстрелы пробок шампанского, радость вперемешку с печалью...

В старухе Тумаркиной настало теперь спокойствие, коим награждает обреченных неизбежный удел.

– Не переживай, мама, – с перехватом в горле говорил сын. – Вот увидишь: все образуется. Все будет хорошо. Даст Бог, еще свидимся.

Старуха Тумаркина лишь кивала головой и глядела сквозь вагонное стекло на происходившее на перроне надрывно-веселое действо. Звуки сюда не проникали, и все в раме окна выглядело мелькающими кадрами телепередачи.

– Не грусти, мама. Не надо грустить, – все приставал сын. – Что ты такая грустная?

Тут она снова высказалась, вторично за сегодняшний день:

– Там хоронят без гроба.

Сын дернул кадыком, хотел что-то сказать, да осекся.

– Кто тебе сказал такое? – только и сумел он выдавить из себя.

– Закон такой. Обычай, – ответила она. – В саван зашивают. Тахрихим.

«Какая, в общем-то, разница?» – подумал он, однако не произнес. Но она ответила, точно расслышала его вопрос:

– Разница есть. В гробу лучше.

– Почему? Кому лучше? – вырвалось у него на этот раз.

– Покойнику. Мне.

– Что ты говоришь?! Зачем ты это говоришь? – с мукой и укором возопил он.

– Они, – указала она глазами на тех, кто за окном, – получают новый дом. У них будет крыша над головой. У меня не будет ни крыши, ни крышки.

– Почему не будет?

– Там хоронят без гроба, – повторила она.

– Чушь! – крикнул он.

Она сама почувствовала, что напрасно на такое повернула разговор. Ему и без того было несладко. Досада на него выплеснулась сама.

Повисло гнетущее молчание. С платформы все же пробивался шум прощаний. Сын многое бы отдал, чтобы быть там, на перроне, среди живых. Затянувшееся расставание с матерью рвало ему душу.

– Этого не может быть, – вымолвил он уже помягче. – И зачем об этом думать? Ты еще поживешь в доме...

– Иди туда, простись с невесткой и племянником. Скоро дадут гудок, – сказала старуха Тумаркина, сто лет не ездившая поездами.

– Успеется, – досадливо отмахнулся он, чтобы показать: главное для него – она.

– Иди-иди, – настаивала она. – Я побуду одна.

Он с отчаянием взглянул ей в глаза и вдруг, уронив голову на ее колени, зарыдал безутешно.

– Прости меня, мамочка, – произнес он совсем по-детски сквозь рыдания.

Старуха Тумаркина гладила его по волосам и смотрела в окно. Там уже пошли прощальные испуганные объятия.

- Иди, иди, Люсенька, Ступай. Все будет хорошо.
- Прости меня, прости, – все повторял он.
- Прощай, сынок!
- Прости, мама! – напоследок крикнул он и ринулся вон из купе.

В тамбуре он столкнулся с взошедшими в вагон пассажирами. Глаза их были безумны от бури противоречивых чувств.

...Старуха Тумаркина скончалась в бомбоубежище, при первой же воздушной тревоге, во время вскоре разразившейся войны в Персидском заливе, когда на Израиль летели с арабской стороны советские ракетные снаряды, которые ей представлялись немецкими. Вообще ей вдруг показалось, что это та же война, которую она уже однажды выстрадала. На продолжение – ее уже не хватило.

Умерла она с противогазом на лице.

ПАМЯТИ ТРЁХ ТОВАРИЩЕЙ ЭРИХА МАРИИ РЕМАРКА

(тривиальный спич в честь юбиляра на незваном ужине его невеликой памяти)

Всем худшим в себе, господа и дамы, я обязан книгам.

Не в последнюю очередь книгам нашего дорогого юбиляра.

Это они научили меня самому дурному. За что я им искренне благодарен – как человек, взывающий блага паче зла. Ибо к благу обычному человеку можно прийти только через познание зла.

Мысль, впрочем, не новая. В частности, именно она является главной составляющей детективных способностей патера Брауна. Вся разница только в том, что он не читал Ремарка и научился этому из своей практики священнослужителя. А я научился этому, не имея еще никакой практики познания добра и зла, не самостоятельно, а от великого учителя – совсем не великого писателя Ремарка.

Когда-то один мой старший товарищ, дамы и господа, сказал: все думают, что Чехов – скромный, как подобает интеллигенту, учитель жизни, а он всего-навсего великий писатель; все думают, что Пруст – великий писатель, тогда как он прежде всего великий дидактик. Если вдуматься, в этой неправде столько же правды. Именно в смысле этой неправды я и намерен сказать несколько незатейливых, банальных слов в похвалу нашего дорогого и уважаемого. Всего несколько слов, чтобы не утомить вас, уважаемые дамы и господа, в защиту пользы самых тривиальных и тем самым необходимых для всех и каждого простых и старых истин, необходимых именно потому, что они не новы, почему их и надо вдалбливать каждому и всем, чтобы удержать общество от распада, а человека от бесчеловечности.

Для меня, моего формирования из полной подростковой бесформенности, таким дидактиком, по странной случайности, оказался наш многодрагоценный, скромно молчащий о себе юбиляр, которому сегодня, 22 июня, исполнилось бы ровно 109 лет – дата круглая и обязывающая.

В пятнадцать лет я прочел «Три товарища». Там пили ром, «солнцем вспыхивающий в мозгу».

Я пошел на угол, где продавался тогда один из лучших ромов мира – семилетний темный ром «Хабана клаб». Во времена дружбы с Кубой цены на очень дорогие напитки были бросовые. Однако не для школьника. Тогда впервые я стал думать, как обойти препятствие, и решил задачу: пригласил двух своих товарищей.

Так нас стало трое, как в романе Ремарка. Я выпил свою треть от семиста сорокаградусных грамм. Мне стало плохо; не мне одному, как выяснилось, и выяснилось очень скоро. Однако другие справились с дурнотой, спокойно выbleвав ее. Я же понял, что здоровая рвота не для меня: она оказалась не здоровой и не больной, а одним из самых невозможных и самых невыносимых дел во всей моей жизни по сей день. Это был первый опыт моего отличия от других. Он довел меня до добра, я сказал себе: сколько бы я ни выпил впредь – меня не будет тошнить. Этот первый опыт важной первоначальной установки держит меня, спасибо ему, и по сей день: сколько бы я ни выпил – а выпил я на своем веку спиртного размером с Селигер, когда бы не с Байкал – меня не тошнит. Благодаря Ремарку дрянь, Готт зай данк, не выходит из меня, а отравляет, чтобы я привык к яду и долго жил именно благодаря регулярному самоотравлению. Ремарку, таким образом, я обязан здоровьем, позволившим дожить до пятидесяти пяти; жизни моей нет конца, хотя край уже виден, за что ему тоже спасибо, зане мало кто ясно видит край своей жизни, что мешает ему как следует подумать о смерти и своей душе. Потом я убеждался не раз в необходимости следовать себе, следуя Ремарку.

В шестнадцать я прочитал «Триумфальную арку». Там пили кальвадос. Поскольку с Кубой мы дружили больше, чем с Францией, кальвадос в стране не продавался. По крайней мере в город Куйбышев его не завозили, это я знаю точно: магазины, которые я обошел в поисках кальвадоса, счету не поддаются. Тогда я, нежно полюбив прежде – социалистическую Кубу, возненавидел родную советскую власть, мешающую заботящейся обо мне Франции поставлять мне кальвадос. Это были сразу несколько первых опытов: любви к социализму в другом краю, ненависти к своему социализму, переходящему все нравственные границы добра и зла в отношении к моему здоровью и поставившему предел здоровой любознательности юноши, обдумывающего житье, – и первый девственный опыт влюбленности – не в женщину, но, с не меньшей силой влюбленности, – в прекрасную Францию, не отвечающую мне взаимностью и посылающую кальвадос кому-то другому. Опыт любви без взаимности, доводящий до белого каления, – а белое каление, как известно, лучше всего закаляет сталь. Всеми этими опытами я тоже обязан Ремарку.

Да, мои шестнадцать оказались потерянным напрасно временем; зато мои семнадцать оказались совсем не пустыми – я прочитал «Время жить и время умирать». Там пили много и разное: арманьяк, сливянку, лучшее рейнское «Иоганнесбергер» 19... года из подвалов Г. Х. Мумма.

Заменив арманьяк коньяком, купив на первую свою стипендию чешской сливовицы, я отведаль их. Особенно ценным оказался опыт с коньяком – купив сто грамм «Плиски» в розлив, – тогда это было рядовым явлением, к сожалению, утраченной доброй русской традицией не прятаться за забором, а пить честно, достойно, открыто уважая себя и других прямо у прилавка отдела напитков, пить все, от разливной водки до бутылочной крем-сода, – купив и выпив у стойки гастронома сто грамм плохого болгарского коньяку, я почувствовал внезапную вспышку счастья. Именно солнце вспыхнуло у меня в мозгу, как и учил Ремарк, но вспыхнуло оно у меня от коньяка, тогда как, согласно его строгому учению, должно было вспыхнуть от рома. Я понял тогда, что и настоящий, строгий к себе и к тому, что пьет, знаток – может постыдно лопухнуться, отсюда вывод: логичнее, да и лучше всего – не заниматься никаким делом, ничем вообще – для того чтобы и быть умным, уважаемым человеком, и слыть им. До какой же степени неправ Гончаров, эта великая гордость нашей литературы! Как все у него в «Обломове» с точностью до наоборот, дорогие друзья!.. Или нет, он не ошибся, а напротив, был совершенно прав, как утверждают некоторые специалисты сегодня, он был верен истине, когда писал в своем герое свою же болезнь – маниакально-депрессивный синдром; я, правда, не нахожу в нем ни малейших следов маниакального стремления к действию, хотя депрессивности, согласен, в нем – более чем. Но специалистам виднее, а если и не так (хотя наши немецкие специалисты не ошибаются, потому что не ошибаются никогда) – но даже если и не так, то у Обломова все равно есть какая-то душевная болезнь, это же очевидно; в этом, то есть в любом, случае он становится еще большей гордостью нашей русской литературы – он, получается, фактически был создателем в Европе, да и в мире, психопатологического романа как нового жанра, как, более того, скрещения художественной прозрачно-психологической прозы – с психоаналитическим методом в действии. Тогда Гончаров выступает как фигура титанических, колоссальных масштабов, т. е. он становится тем самым – предвосхитителем самого Достоевского, в этом, не единственном, конечно (напомню, что для Достоевского самым важным был религиозный смысл творчества, совершенно неважный для нас, да, пожалуй, и для самого Гончарова), но в определяющем смысле – его превзошедшим. И это опять-таки урок, и в какой-то, если не решающей, степени, все-таки Ремарка.

Но более всего насущен оказался опыт с «Иоганнесбергером» 19... года из подвалов Мумма. Тут я уже заранее знал, господа, что и искать не стоит: чего нет – того нет и не будет, но в данном случае я почему-то не возненавидел советскую власть, должно быть, потому, что уже постоянно хронически ненавидел ее, и отсутствие «Иоганнесбергера» 19... года из подвалов Г. Х. Мумма не в состоянии было увеличить мою ненависть, обострив ее, – обострять было некуда, ненавистью к Софье Власьевне я был полон так, что уже по привычке ее в себе не замечал. Этим важнейшим опытом не только необходимости, но и реальной возможности погасить в себе ненависть даже к самому бесчеловечному, что только могло изобрести человечество, я опять-таки обязан Ремарку.

В двадцать восемь я прочел «Из любви к ближнему» и поправил дело с коньяком: в Москве в Елисейском, по слухам, продавали французский коньяк, который предпочитал именно герой романа, «Курвуазье». Я сел на первый попавшийся пятьсот веселый и прибыл в столицу на третьей полке общего вагона, деревянной полке без какой бы то ни было разновидности матраса и малейшего подобия подушки с одеялом.

Вечером я укатил домой с бутылочкой «Курвуазье» в купе фирменного поезда «Жигули». Этот опыт ничему меня не научил; по сей день я думаю, что «Курвуазье» V. S. O. P. – а именно

этот «Курвузь», судя по соотношению цены и качества, должен был взять с собой герой романа – один из заурядных коньяков этого класса. Прости меня, учитель. Ты – знаток, не ведавший ошибок в деле качественного алкогольного самоубийства, не лопухавшийся никогда даже там, где лопухаются иной раз и знатоки. Ты – абсолютное исключение из правил. Значит, я чего-то истинно важного в твоём учении – не понял. Прости, учитель, – с кем не бывает. Кроме разве тебя, уважаемое собрание...

Сегодня, сейчас, когда я стою на этой трибуне, на ней стоят, как вы видите, многодрагоценные мои, несколько бутылок спиртного; понимая, что Вам это кажется более чем странным, я спешу, наконец, удовлетворить вашу любознательность: эти бутылки, каким бы неприличным вам это ни казалось, специально куплены мною в честь моего учителя, и я не вижу никакого другого способа достойно почтить нашего юбиляра, мир ему, кроме одного: выпить в его честь, прямо по ходу моего спича, его любимых, судя по его романам, коньяка, рома, кальвадоса и русской водки – а также, отдельно, «Иоаннесбергера» именно из подвалов Г. Х. Мумма. Это я и делаю, не стесняясь выставить напоказ, и приглашаю и Вас с собой. Жаль только, в продаже не оказалось «Иоаннесбергера» именно 19... года. Прости, учитель, это не моя вина, а вина самого вина урожая 19... года – просто его нет и не может быть в продаже даже у нас в Германии, что подтвердят все собравшиеся в честь тебя здесь сегодня: столько ни одно белое стоять не может, его просто нет в природе, оно стало уксусом. Однако я постарался, не пожалев последних денег, купить бутылочку подороже, и урожая хорошего года, чтобы было хоть как-то сопоставимо, производило бы действие, елико возможно тождественное тому, что описано в твоём романе.

Собственно, я не являюсь новатором подобного неслыханного неприличия: я только пробую ход, применённый моим старшим товарищем и какое-то время едва ли не учителем, не таким великим, как ты, конечно, ибо ты научил меня всему главному, а он только кое-чему, но незаурядному: при прочтении им и одновременном записывании на магнитофон поэмы «Москва-Петушки» – выпивания по ходу чтения именно тех напитков, насколько это было возможно, которые герой поэмы потребляет, – и в той последовательности, в какой он это делает. Я тоже всего-навсего пробую употребить в честь тебя именно те напитки и именно в том порядке, в котором пьют их герои именно твоих произведений...

Алкоголь – твой первый товарищ. Женщина – второй. Это почти всегда одна и та же женщина, хотя в каждом из романов ее зовут по-разному: Патриция Хольман, Наташа, Элизабет и т. д. Иногда у нее даже нет имени, как в «Лиссабонской ночи», но она все та же. Это женщина легкомысленная и серьезная, любящая жизнь, что оборачивается для нее скорою смертью, романтически-таинственная, даже – что, впрочем, редко – если это романтически-таинственная «слабая на передок» дешевка; она может болеть чахоткой в последней стадии или быть железно, как умеем только мы, русские-немцы, здоровой, но она всегда прекрасна, и в тумане ночи, и в ярком блеске дня, лежа в едва освещенной лунной кровати или стоя у ночного лунного окна, совершенно нагая, – как, впрочем, и полностью освещенная дневным солнцем. «Она была прекрасна, знала это и потому не стыдилась», – эта фраза переключивается из романа в роман. Повторы бросаются в глаза; они надоедают и вообще характеризуют Ремарка как писателя ограниченных возможностей, и к тому же страдающего неврозом навязчивых состояний. Так говорят многие, но они сами не знают, что говорят. Может ли великий учитель обойтись без повторов? Нет, конечно, повтор-то и есть одно из главных средств любого дидактика – дабы вдолбить в голову и сердце даже самого нерадивого ученика то, что требуется; как писатель же Ремарк (то же относится к современному покойному русскому писателю Довлатову) весьма музыкален и своими повторами – чуть-чуть импровизируя на заданную себе же тему, но далеко от нее не уходя; он сообщает читателю присущее только ему, Ремарку, особое, сразу узнаваемое по контрасту с откровенной сентиментальностью и почти цинической грубоватой трезвостью – настроение, для любящих именно такого рода контрастность (а именно она-то и отвечает запросам нашего сердца, на глубине души, даже у истинных меломанов и строгих ценителей искусства, вслух и даже «про себя» считающих тех, кто так или иначе всегда разыгрывает подобного контрастного рода мотив, второсортными авторами, едва ли не сознательно-безотказно воздействующими на болевые точки читателя-слушателя-зрителя). Наконец, это простой и честный урок верности – себе. Все эти уроки я впервые получил опять же от Ремарка. С тех пор я полюбил повторы и в жизни, и в литературе. Ни то, ни другое не довело меня до добра. В отношениях с женщинами, по порочному повторяющемуся кругу, я уходил от одной, чтобы уйти к другой, именно чтобы та оказалась дру-

гой, чем прежняя. И она оказывалась-таки другой, до полной противоположности другой, то есть другой той же самой. Как ни странно, крайности сходятся. Но тогда – зачем вообще менять женщин? Храни верность той, с кем живешь, – какой бы она ни была – следующая непременно окажется предыдущей: вопреки Гегелю, антитезис повторит тезис без какого бы то ни было синтеза.

Исходя из вышесказанного понятно, что женщины Ремарка либо одеты в серебряные чешуйчато-струящиеся платья, в которых выглядят неземными (или, что то же, наги как богини) – либо они совсем голые, как коровы. Они не бывают только – раздетыми. Эти два полюса Ремарка напоминают мне место из произведения куда большего немецкого писателя «Доктор Фаустус»; в главном герое романа присутствовали два полюса, телесный и духовный, без посредничества среднего – душевности, сентиментальности. Ремарковские герои, напротив, сентиментальны, как можем быть сентиментальны только мы, немецкие-русские; а вот духовного уровня у них не обнаруживается (думаю, мы все с вами согласны, что несмотря на очевидное отсутствие персонального, личного Бога, не мешает нам всем верить в Него как в воплощение всего самого лучшего, что мы знаем, и в этом смысле Бог несомненно есть; так что справедливо и понятие духовного, отличающееся от душевного, психологического, хотя иные интеллектуалы это разграничение и отрицают, и вполне последовательно), есть только телесный и душевный. Тем не менее Ремарк и из этих двух ухитряется слепить одного из своих типических героев – героя с полярной психикой, пытающегося решить дихотомию: спать с женщиной или любить ее (надо отдать должное Ремарку: гораздо чаще у него встречаются герои нормальные, для которых физическая любовь – это и есть любовь душевная, до неразличимости сливающаяся с первой в акте близости; но вот эта-то безнадежная нормальность и делает таких героев куда более плоскими и менее интересными, чем те, поляризованные оригиналы). В «Черном обелиске» это доведено до полного раздвоения личности – в квадрате: герой шизоидно одну любит, а со второй спит, но та, которую он любит, сама шизофреничка, и он уже не понимает, какую из двух любит, а какой ужасается; а тем временем спит, не любя, по существу, с третьей, и при этом, лежа с третьей, только для этого ему и нужной, беспрепятственно удивляется тому, например, как может женщина, женщина вообще и эта голая рядом в особенности, сказать такую неприлично-приземленную вещь, как: «Боюсь, ты даже помочиться не можешь без...» – забыл, без чего буквально, но, думаю, и так понятно: без чего-то высокого, философистики всякой, а попросту умничанья.

Что до полярности, то не великий Томас Манн, а именно простой сентиментальный Ремарк, герои которого не поднимаются ни в беседах, ни вообще в жизни выше идеалов верности дружбе и проч. атрибутов гимназического кодекса нравственности, заставил меня задуматься над разницей между полярностью немцев сравнительно с полярностью русского человека – и только много лет спустя, живя в Германии уже десять лет, я пришел хоть к какому-то выводу: полярность немцев – это рационализм, зашкаливающий за самое себя, оборачиваясь иррационализмом; полярность же русских – это просто непроработанная природа, бесформенность, хаотичность, которая может в любой момент повернуться к тебе передом и к тебе же – задом. И то, и другое, на мой вкус, прекрасно: одно своею мощной напряженностью, другое – своей добродушной расслабленностью до непредсказуемости.

Еще одно о женщинах в жизни мужчины я усвоил из романов Ремарка, в которых почти все герои, не считая лишь, пожалуй, Роберта Локампа из «Трех товарищей» да еще этого... ну, в общем, большинство – пламенно, болезненно ревнует своих любимых – и продолжает их любить, и все время ревнуют, любя до умопомрачения, и любят, ревнуя до безумия. Это учит, что настоящая, патологическая ревность – вещь совершенно необходимая для взрослой долгой жизни: она позволяет узнать на собственной шкуре, что можно смертельно болеть от ревности, переживая смертельную болезнь долго, хронически – и не умереть; до смертного конца болеть от ревности – и пережить самый свой смертный конец; после этого, опытно узнав, что от любого пустяка можно умереть, а саму верную смерть можно пережить и выжить, – после этого чего же бояться в жизни? Отчего унывать? Чего страшиться быть несчастным на всю жизнь? Великий урок...

Третий товарищ Ремарка – табак. Это настолько близкий ему товарищ, что он крайне редко говорит о нем – это ли не доказательство любви? Только раз он позволяет себе сказать нежно – устами подпольного разыскиваемого антифашиста, которому герой романа Гребер в условленное место в условленное время приносит какие-то продукты. Тот сказал, взяв передачу, что больше не станет обременять героя, больше не придет, тем более что это опасно для обоих. Да,

но у меня будут для вас еще сигареты. Тогда лицо подпольщика «осветилось тихой нежностью». Да, сказал он, сигареты – это верные друзья, они не предают. За ними я приду.

Этот роман я прочел тогда же, когда и «Три товарища». И понял, что надо научиться курить – не для того, чтобы казаться старше, как окружающие подростки, нет – но потому, что алкоголь прекрасен только с табаком, а без него алкоголь безобразен. И я стал учиться. Это было время не только дешевого первоклассного рома, но и дешевых лучших в мире гаванских сигар, и я сделал правильный вывод: если уж пить кубинский ром, то с кубинскими сигарами. Вот тут меня затошнило по-настоящему, но к тому времени я уже дал зарок, что меня никогда не будет тошнить – и меня, тошняя, не тошнило. Это был первый урок того, что для дисциплинированного человека даже по определению невозможное – таковым не является. Спасибо Ремарку. С тех пор я научился ценить гармонию вещей, хорошо сочетающихся друг с другом, и возвращать взгляд от вещей не сочетающихся – как коньяк с лимоном или вдохновенно-интеллектуальные проповеди о. диакона Андрея Кураева с подлинным христианством.

А прежде всего необходимо научиться курить, поскольку куренье сокращает нам опыты быстрой жизни, и едва ли не главный из этих опытов – узнать, кто ты на самом деле, кто ты настоящий. Это и есть ответ на гениальное вопрошание поэта: да, ты действительно настоящий – потому что, действительно, смерть придет. И чем скорее ты узнаешь истину о себе – тем лучше.

Роман «Из любви к ближнему» научил меня многому. Прежде всего бояться людей, особенно в форме, бояться до такой степени, когда перестаешь их бояться начисто: крайности сходятся. Потому что есть на свете куда худшие вещи, чем люди, и вот их-то и надо бояться.

В том же романе один из двух главных героев, старший, спрашивает другого, младшего, посаженного на две недели в тюрьму за незаконный переход швейцарской границы и только что выпущенного на волю: ну что, мальчик, научился чему-нибудь полезному? И тот отвечает: да, за эти две недели один русский профессор, мой сосед по камере, научил меня говорить по-французски. Это научило и меня, что учиться возможно и нужно всегда и везде, и если этим как следует заниматься, то не будет времени бояться и в тюрьме, не будет дискомфорта нигде, и вообще главное для человека – учиться, хотеть и уметь учиться всегда, в девяносто лет как в двадцать, что вообще эта способность учиться отличает человека, которому всегда скучно, от человека, которому не скучно никогда. И еще научило тому, что даже такие негодяи и интеллектуальные болваны, как Ленин (если читать его «Материализм и эмпириокритицизм», а не говорить о его гениальной тактике в гражданской войне, тактике, позволившей ему с Троцким победить в ситуации неизмеримо превосходящих сил противника, к тому же в ежeminутно меняющейся ситуации на пространстве от Самары до Иркутска и от Екатеринбурга до Симферополя), бывают совершенно правы, что, например, надо учиться, учиться и еще раз учиться, с той небольшой поправкой, что учиться надо не тому, как построить то, чего быть не должно никогда и, даст Бог, никогда и не будет, т. е. заведомо дохлому делу, а учиться надо чему угодно, но хоть как-то годному для людей; правы многократно и по многим поводам – и нельзя заранее отвергать то, о чем говорят и пишут даже заведомые негодники и самозванцы, а надо при всем законном предубеждении научиться слушать и читать их непредубежденно – авось что-то, даже многое, и пригодится. Это полезно помнить всегда; и за это ценное напоминание спасибо тебе, учитель.

В том же романе все главные герои – правонарушители и мошенники. И я, усвоив это, стал и остаюсь правонарушителем, а то и мошенником, что необходимо – из любви к ближнему. Этой любви у меня нет, не дано, тут даже и ты, учитель, мне не можешь, помочь может только настоящее, серьезное, опасное правонарушительство ради человека, которого ты не любишь: это куда больше, чем правонарушительство ради того, кого любишь, настолько больше, что, пожалуй, приведет и к любви к тому, кого не любил, коль скоро ты уже так много для него сделал... даже если это выльется только в привычку к столь тесно с тобою повязанному – это хорошая привычка: стерпится – слюбится...

В том же романе бывалый старый «авторитет» нелегальных переходов государственных границ не советует своим беспаспортным собратьям переходить немецко-французскую границу в районе Кольмара, говоря, что Матиас Грюневальд (собственно, мастер Нитхард-Готтхард, господа и дамы, мы знаем несколько больше, чем эти глубоко симпатичные нам всем несправедливо дискриминированные нашей же великой державой евреи, но все же нельзя не признать, что мы тут имеем дело с настоящими бродягами, а эта публика, как правило, большой образованностью не блещет) и его Изенхаймский алтарь (находящийся, напоминая на всякий случай, с наполеоновских времен не в Изенхайме, а в почти соседнем Кольмаре в бывшем монастыре, а ныне музее Унтерлинден) не помогут уйти от полиции, которая в Кольмаре особенно свирепа, а

советует идти через... врать не буду, забыл, где лучше всего нелегально переходить границу, на языке вертится, а вспомнить не могу; а зря, такие вещи всегда могут пригодиться... Да, так уже живучи в Германии и давно желая пройти «по местам боевой славы» героев любимого юбиляра, я тщательно прочесал район границы вокруг Кольмара и несколько дальше во все четыре стороны. Времена явно изменились к лучшему: теперь границу тут пересекают на велосипеде. Благодаря этой серьезной инспекции я стал в некотором роде почти знатоком Эльзаса и заработал на эксклюзивных экскурсиях по ремарковским местам кое-какие деньги. Спасибо, учитель, ты справедливо говоришь устами скульптора-идеалиста Курта Баха в «Черном обелиске»: идеализма у меня и так навалом, могу еще и одолжить, денег – вот чего мне не хватает. И не только говоришь, но и помогаешь таким недотепам, как твой герой, подработать «по-черному», являя личным примером единство слова и дела.

Не русские учителя сказали мне, где именно умер русский шрифтистеллер Чехов, а ты, немец; сказал, сам не ведая того. Инспектируя по твоей наводке район Кольмар-Фрайбург, я натолкнулся на тот незнакомый мне, дипломированному преподавателю русской литературы, факт, что в 1904 г. Чехов поехал лечиться именно во Фрайбург, к уважаемым им, врачам, светилам немецкой медицины, и тамошние специалисты по его болезни, поставив ему окончательный диагноз, отправили его лечиться на местный курорт Баденвайлер, самый подходящий для его излечения, по их глубокому убеждению. Вот тут, в двадцати пяти минутах езды на автобусе от Фрайбурга, он и отдал концы через полтора месяца, в июле 1904-го, от правильного лечения и прекрасного, известного немецкого ухода; человек родом из Таганрога, из Южнороссии, из здоровой купеческой семьи, длинный, сухой, как палка, умер в сорок четыре года летом, на прекрасном курорте, от туберкулеза совсем еще не в последней стадии, как твои чахоточные и харкающие кровью прекрасные героини, о Эрих Мария, – вдруг сгорел за полтора месяца – во славу немецкой медицины. Странная история, правда? Но я не собираюсь разгадывать то, что разгадать невозможно по определению; я только хотел сказать тебе слова благодарности за то, что я познакомился с одной из самых интересных и загадочных историй, вероятно, не слишком тебе знакомой, но для меня – кровно родной словесности.

В нашей истории литературы, да будет тебе известно, одного за другим лучших ее представителей кого изрубали в куски неведомо зачем какие-то посторонние люди, кого убивали на дуэли, самими же ими спровоцированной, кто морил себя голодом до смерти, одновременно страшно ее боясь и более всего страшась именно такой смерти, какую сам же себя и уконтрапупил; кто, баловень судьбы, знаменитость европейского калибра и богатый человек, в конце жизни, совсем еще не старый, три года умирал от рака позвоночника с метастазами в область сердца, так медленно-мучительно умирал, что просил пистолет или открыть окно, чтобы дали ему покончить с этой болью, от которой он под конец этих трех лет сошел с ума до полного бреда; кто за невесту что, за какую-то полную чепуху угодил на каторгу на четыре года и затем на солдатское поселение в Северный Казахстан, Семипалатинск (считай, что это самое страшное для вас, немцев, слово «Сибирь» – не ошибешься: там и по сей день, кажется, испытывают очередную атомную бомбу, а тогда место это было тоже не более оборудовано для человеческого обитания); другой, равновеликий конкурент предыдущему, во взрослом возрасте сошел с ума – что бы ни говорили о нем, «совести Европы», как назвала его сама Европа, – надо же, какие были времена: европейцы считали русских более европейцами, чем они сами; что бы ни говорили о его бескорыстии, правдоискательстве и т. п. – мы-то с тобой, немцы, понимаем: человек, который чуть ли не всю, по крайней мере, взрослую жизнь, вынашивал план раздавать *посторонним людям все*, накопленное его предками и прибавленное к накопленному им самим, – а он написал очень много толстых романов, средней толщины повестей и тонких, но от этого не менее именитых, рассказов, за какой-то огромный корпус произведений, неоднократно изданных и переизданных, и переведенных на всевозможные иностранные языки, он получил... ну, я в чужих карманах рыться не привык и точно не знаю, сколько, но ведь и те, кто привык калькулировать чужие деньги, тоже не знают, сколько он получил за всю свою длинную творческую жизнь, потому что такие деньги вообще не могут быть подсчитаны, их именно немерено, – так вот, такой человек может быть нами, трудовыми немцами, расценен только как безумец, а уж когда он начал было осуществлять свой план по раздаче посторонним людям *всего*, включая сюда теперь еще и колоссальную недвижимость, обширные земли, на которые он имел полное юридическое право как на законно унаследованную от прямых родителей собственность, – с этого момента его можно признать только и еще раз только буйнопомешанным, раздающим, и если его не остановить,

так и раздавшим бы все огромное состояние посторонним людям, лишив тем самым всех решительно средств к существованию членов своей многочисленной семьи, о которой, по всем Божеским и человеческим понятиям, ему было должно заботиться в первую очередь, а уж вовсе не о совсем посторонних людях, да еще людях примитивных, не знающих даже толком, как распорядиться свалившимся на них с неба богатством, — да, только архибуйноархипомешанным, от которого, по крайней мере, следует немедленно обезопасить его жену и детей, как только возможно молниеносно надев на него смирительную рубаху и прикрутив руки и ноги к спинкам больничной койки.

Немало удивительнейших вещей мы узнаем, если обратимся к писателям или поэтам второго ряда, несопоставимым с двумя вышеперечисленными, но и не лишенным таланта; вот двое из них; первый, не столь знаменитый, как предыдущие двое, но такой, что если бы он был парижанином, то парижские экскурсоводы без продыху водили бы толпы любознательных туристов по местам его жизни и смерти, как сейчас они водят такие же толпы по Монмартру, — не в последнюю очередь чтобы показать дом, где некоторое время жил Ван Гог, ул. Лепик, 54, — этот первый из двух, молодой, в зените тогдашней своей славы — взял да и бросился вниз головой с верхнего этажа в лестничный пролет подъезда дома, где квартировал. Интересно, что у нас, в немецкой России, даже невеликие художники бывают настоящими провидцами: один такой невеликий написал картину, где царь Иоганн де Террибль — позвольте мне щегольнуть некоторым знанием французского, — довольно известная личность во всем мире, известная прежде всего опять же чертами истинно русско-немецкого гения: сочетанием всем известной нашей немислимой и гениально абсурдистской, на уровне «Алисы в стране чудес», жестокости, глубочайшей и широчайшей образованности — и немислимой духовности самого изуверского плана: он ночами напролет глубоко, сердечно молился коленопреклоненно о спасении души не только своей, но и душ тех, кого днем казнил, иногда собственноручно, и благочестиво посылал огромные деньги церквам и монастырям — во пожертвование на храм и на помин душ, им честно, что означало коварно (как мы знаем, в отличие от иных народов, наш не отделяет все эти взаимоисключающие качества друг от друга, что делает честь его вековой мудрости, предвосхитившей таких мыслителей двадцатого столетия, как Витгенштейн или Рассел, а пожалуй, что и Алонзо Черч), — да, извините, зарпортовался, так на этой картине царь убивает своего сына, у того вся голова в крови — и представьте, художник писал голову царевича именно с нашего самоубийцы, и точно так все потом и произошло, вся голова в крови и увечьях; я думаю, кто-то из сидящих уже пробовал кинуться вниз головой с пятого этажа и может сейчас подтвердить мои слова о том, как выглядит голова такого самоубийцы. Что это — провидчество? Или провокация болезненно восприимчивого молодого писателя? Кто скажет? Но даже если и второе, тем более надо гордиться столь великой силой провокации, даром буквально провоцировать горы передвигаться — даром такой могучей провокативности обладаем во всем мире только мы.

А теперь о втором из двоих, талантливом поэте и критике, невзирая на дикую неряшливость его мысли и слога (отметим побочный, но люющий воду на мою бесконечную мельницу, эффект — бесконечность, достижение которой я, без ложной скромности, ставлю себе в заслугу именно как простому почти неизбежному носителю основных качеств своего народа). Итак, снова в который раз вернемся к — чему? Просто — куда-то вернемся — к тому хотя бы, что именно неряшливость слога, за которой стоит неряшливость мысли, послужила истинным основанием назвать одну из главных литературных премий наших, кажется, упраздненную пару лет назад, — а жаль, эта премия как раз вручалась, в отличие от других, что называется, по смыслу, потому что, названная в честь одного из самых непрофессиональных литераторов в истории русской художественной литературы и критической мысли, неряшливее, если это можно представить, даже меня, она вручалась исключительно членами жюри, состоящего только из лучших и известнейших критиков, и именно за высокий профессионализм, это точная формулировка, господа и примазавшиеся, я отвечаю головой! Вот какова сила точной и высокохудожественной мысли не только лауреатов, но и самих членов жюри! Мы должны по праву гордиться нашей гуманитарной элитой, и мы гордимся ею, не правда ли, товарищи? Да, так вот наш неряшливый и тем не менее высокопрофессиональный, потому что написал-таки одну в целом профессиональную и художественную вещь, до такой степени, что она известна даже вам, уважаемые, именно же стихотворение-песню, т. н. зонг, которыми так прославился позже еще один из наших гениев художественного проникновенного до слез слова, Бертольт Брехт, — зонг, который знаком всем по первым его строчкам «Две гитары за стеной жалобно вах-вах-вах», но который на самом деле называется «Цыганская венгерка». Вслушайтесь, дружино моя и братие, в изумительное это название, перед

которым, остолбенев, встанет как вкопанный, зачесав в затылке, мастер любой школы чань-дзен-буддизма, сочиняющий коаны-задачи повышенной сложности: что может означать это и для выдающегося коаниста непонятное, в чем я совершенно уверен, и доказательств никаких не требуется, название. Еще раз – вслушайтесь: кто такая – цыганская венгерка? Венгерская цыганка – это еще понятно... А все просто: цыганская, да к тому ж венгерка (хорошо еще, что не венгр), да плюс к тому сочиненная, а то и взаправду жившая с русским, который все это и сочинил, то есть на самом деле не было никакой венгерки, с которой русский жил, кроме той, с которой он жил, этот русский с греческим именем Аполлон (интересно, бай зэ вэй, что они-мы, будучи, сколько я знаю, христианами, называют своих мужчин и женщин в честь языческих божеств – и это нам-им разрешено! Ну не возмутительны ль мы-они – самим им-нам?), писавший с живой женщины неодушевленный предмет: мертвый текст под заголовком, настаивающим на жизненности мертвого, чисто литературного прототипа – цыганской венгерки: скрещение двух столь огненных кровей просто самоочевидно эту заявку на повышенную жизненность персонажа – подтверждает; небезынтересен и, казалось бы, столь мелкий факт решительной непереводаемости с одного нашего языка на другой и обратно рефрена песни «басан-басан-басана», говорящий без лишнего слов о той же поразительной черте нашего двуликого, но не двуличного народа, об абсолютной самодостаточности и полной, совершенной законченности, а потому закрытости для всех не нас-нас-их, могущих только, не понимая ни слов Николая Кузанского, ни той части теории множеств, где говорится о том, что в бесконечности часть равна целому и вообще все равняется всему, смеяться над нашей якобы тупостью, глупостью и невозможным недомыслием, не могущим свести любые концы с любыми же концами, над нами, верящими любой небывальщине и создающими небывалые же враки; они просто не понимают, о чем говорят и с кем имеют дело; они уверены, что все, что они о нас думают, – полная правда, тогда как на самом деле, в отличие от действительной полной правды, все, что они о нас думают – действительно полная правда, и даже более чем правда.

Да, так вот, я забыл, с чего мы с вами начали, а потому просто вернемся к самому верному – директивной линии руководства, а именно: вышеназванный поэт и гитарист долго дождался гонорара за несколько вещей сразу, помещенных в журнале, который издавали двое братьев; долго ждал, пока наконец один из совладельцев, уже упомянутый нами писатель, вернувшись, наконец, из длительной командировки, не выплатил гитаристу весь гонорар разом. Что же сделал наш поэт? Купил ли ребенка дорогу, заветную игрушку? Или, может быть, приличное платье жене? Никаких. Он пошел – куда, отгадайте с первого раза? – правильно, именно туда, и там пропил сразу весь гонорар до семитки (или антисемитки? кто из нас нас разберет? по крайней мере, людей иудеохристианской, нашей, немецко-русской ориентации), отчего сразу и помер.

Но – сугубо вернемся от этого фигуранта к другим, не менее интересным; во-первых, хочется вернуться к человеку, уже проходившему по нашему-вашему разбирательству его персонального; тем не менее вернусь к нему: он представляет интерес в очень многих отношениях. Выберем только то, которое находится в прямой связи с помянутым только что: самое интересное, что один из этих двух, тот, что выплатил приличную сумму другому, – и потом очень сокрушался, что именно по его милости поэт-гитарист помер, то есть винил себя в том, что выплатил полагающийся за большой труд гонорар человеку, который свободен распорядиться им как угодно, в частности, на них взять да и убить себя. Из чего для меня лично непреложно следует вывод: платить за честную работу – на всякий случай – вообще не следует, и не следует именно по совести, не желающей взять на себя грех возможного убийства; а это первое положение неотменимо ведет ко второму выводу, крайне важному для меня: ваша-наша-ихняя русская-немецкая душа, что бы ни писали самые серьезные мужи сегодня, сколько бы ни упрекали они эту мысль в заезженной неправде, – действительно *загадочна*, действительно – есть не только характерная национальная физиогномика, но – глубинный дух нации, отличающий раз и навсегда его от духа другой нации; и в нашем случае главное доказательство тому и одновременно главный признак русской немецкой народности – это константная многовековая совесть, не выветрившаяся и по сей день совесть народная, – о чем не только писал этот величайший немецкий русский писатель и работодатель – и как писал! – но и сам – принадлежа к людям истинно русским, а значит, и стопроцентно немецким: хоть в СС предлагай его кандидатуру – все проверки на чистоту крови и нордичность характера пройдет не глядя, обладая глубинной, несколько даже гипертрофированной немецкой совестью, он потому именно был и в жизни представителем русского народа, лучших его качеств – не только совестливости, но и бескорыстия – нет нужды напоминать, что

совесть и бескорыстие тесно связаны на глубине, да и на поверхности идут рука об руку, – такого глубинного бескорыстия, что на него, бывало, как и на всякого русского немецкого человека, где сядешь – там и слезешь. Можно уничтожить Достоевского и любого другого русского немца, но нельзя победить в нем его стержня – праведного, святого бескорыстия: он не повезет тебя никуда ни за какие деньги, не продаст своего духовного первородства за чечевичную похлебку меркантильности, – так вот, искренне сокрушаясь о своей вине, о вине даже благородного человека перед горьким забулдыгой – что и выказывает истинного благородного человека, – Достоевский на самом деле был совершенной, до полного удивительного сходства ровней Григорьеву; да, он не был забулдыгой и вообще не пил, он прошел каторгу и солдатчину – и не опустился, тогда как Григорьев опустился и без столь страшных, невыносимых условий существования; но и тот, и другой совершенно схожи в запойном пьянстве: абсолютно ту же самую роль, что алкоголь в жизни Григорьева, в жизни Достоевского занимает игра; в своем эгоцентризме, доходящем до полной эгоистичности, выражающейся в том, что один пропивает все из дома, а другой проигрывает все до обручальных колец и старой-престарой заношенной и перештопанной мантии своей молодой жены... И вот, господа, мы наблюдаем сейчас изумительный факт того, как один в своей эгоистичности и эгоцентризме, ведущих к полной бессовестности, единится с другим в его эгоистичной и эгоцентрической совестливости и альтруизме, позволяющих ему, и без того будучи в долгах как в шелках, в постоянном мучительном унижении от полной нехватки денег, взять на себя еще долги брата и всей его семьи; взаимоисключающие понятия единятся на наших глазах до полной, неразличимой тождественности; это ли неслыханное, фантастически невозможное, снова и снова, как всегда у нас, по определению, тождество – не есть уникальнейшая, отличающая ее от всех других, особенность двух душ одного народа? Это ли не исполняет гордостью принадлежать к такому народу – наши сердца, дорогие примкнувшие к господам дамы других господ, примкнувшим, в свою очередь, к другим господам и примкнувшим к ним дамам, примкнувшим к первоначальным господам, тем, кого мы первыми обозвали господами?

Однако, задержавшись и здесь, чего мы никак не ожидали, пойдем все же далее; вспомним и других наших великих, не писателей, а, скажем, композиторов, тоже ведь художников и артистов, как мастера художественного слова.

Вот один из них, гениальный композитор, из не слишком многих, кого помнит весь мир, уродился гомосексуалом – по крайней мере, так утверждают, и почему бы нам не поверить всеобщему мнению настолько, чтобы иметь хотя бы право так думать, а не утверждать, положив руку на Библию? Так вот, он всего-навсего уродился гомосексуалом и почему-то сильно переживал из-за этого; почему? Быть человеком гомосексуальной ориентации – не позор, а гордость, – так думает, опять-таки, весь мир – и мы с вами, благородное собрание, надеюсь, тоже: гомосексуализм есть торжество борьбы за самоопределение личности, включая сексуальное самоопределение, – более того, поскольку последнее было отстоять труднее всего, это высшее проявление свободы общества и суверенности личности, этим более всего следует гордиться и обществу, и самой гомосексуальной личности, носительнице высшей свободы! Но хорошо, он этого еще не знал (хотя мог бы и самостоятельно к этому прийти, все же он не лаптем щи хлебал) и чувствовал себя виноватым – в те времена и церковь так думала, а он был верным ей христианином – и переживал свою «вину» очень сильно; до такой степени, что выкинул вот какой номер: насыпал в стакан воды горсть холерных вибрионов – и, выпив эту воду, отравился насмерть; но, спрошу я, виданное ли дело, что вздумавший отравиться холерой – взял, сколько горсть возьмет, холерных вибрионов ровно столько, сколько необходимо, чтобы от холеры – умереть? Это все-таки медицина, точная наука фармацевтики: меньше возьмешь – останешься жив, больше возьмешь – перебор, тебя вытошнит – опять останешься жив; он же был композитор, а не дипломированный фармацевт – и точной меры не мог знать. Однако ему случайно повезло: он на ощупь взял ровно сколько надо и умер. Да только, при всем его везении, понять его опять же невозможно: как же он, он, будучи христианином, каясь в своем грехе, из покаянного чувства лишает себя возможности покаяния? Мы-то с вами не верим, что самоубийство «греховно»; зная случаи, когда умертвить себя – гораздо правильнее, достойнее и осмысленнее, чем не совершать этого; но он-то, будучи церковным человеком, верил в то, что самоубийство – тягчайший грех, – и сознательно лишил себя возможности покаяться, которая есть даже у убийцы, у того есть еще время, а самоубийца мгновенно, автоматически оказывается перед Судьей.

И все-таки другой, равновеликий предыдущему, гений, учудил еще более невероятное, вообще величайшее из величайших чудес: он умер от пьянки; это совершенно, до полной непредставимости невозможно; может быть, вы – извините за такое предположение, за самую возможность

его – но, может быть, вы все-таки не поняли, что в этом необычайного и тем более невозможного? В таком случае постараюсь объяснить все в самой доступной форме: от алкоголя просто нельзя умереть, от алкоголя в любых количествах можно все, но одного никак нельзя: умереть. Научно доказано, что сколько бы ты ни пил, ты этим только продлеваешь свою жизнь, и таким образом, если бессмертие на земле возможно, то пьянками-то ты только его по-настоящему и достигнешь, а уж прожить какие-нибудь тысячу лет с помощью спиртного – это раз плюнуть.

Не верите? Но наука это обосновывает и, на мой взгляд, не просто аргументированно, а математически точно. Смотрите: из всего икс-количества пьянок есть лишь одна, от которой ты умрешь, не так ли? Следовательно, далее, вероятность твоей смерти от пьянки строго равна соотношению между всем количеством твоих пьянок и той одной, смертельной. Эрго: увеличивая количество пьянок, мы уменьшаем вероятность смерти до отношения икс-количества к одному. Следовательно, далее, чем более ты пьешь, тем меньшей становится возможность умереть, пока вероятность смерти не станет, скажем, один к миллиону, а то и миллиарду – согласитесь, ничтожное исключение из общего правила, которое серьезно и рассматривать смешно. Умрет только один из миллиарда, господа, если мы сможем – а мы сможем, я верю, научиться крепко выпить; покойный и стал таким невозможным исключением из общего правила, ибо он, господа и дамы, он пил как мало кто много и регулярно – то, что у нас-нас точно именуется неясным словом «запой», – покойный был очень дисциплинированным человеком, дамы и господа, он-то должен был бы прожить как минимум 698 лет, три месяца и десять дней – и вот он падает жертвой столь математически ничтожно-маловажного исключения! Это невозможно представить, в это нельзя поверить, господа-господа, но об этом можно скорбеть – всем нам вместе с ним, господа. И пусть для нас всех это станет скорбным, но необходимым уроком: нельзя, не подвергаясь пусть ничтожному, но все-таки риску, умереть в сорок два года, прожитых покойным, пия столько, сколько он пил; тот, кто хочет дольше, должен понять: пить так мало, как покойный, – преступно по отношению к своей жизни; кто хочет настоящего долголетия, переходящего едва ли не в бессмертие, тот должен пить более или менее много, а кто хочет бессмертия – а шанс на это у него есть, – пусть пьет и еще более, пока не достигнет, мы посмотрим, чего – бессмертия или все-таки лишь неограниченного долголетия; и как жаль, дамы-дамы, что до такой самоочевидно простой и удобной, безо всяких тяжелых упражнений и диет, полной возможности по мере обучения сочетать приятное с бесполезным, достигнуть пропорционально выучке – сколь угодно, неограниченно долгой жизни, до такой ясной, как вымытое немцем-мной и тобой-русским стекло, мысли – не додумались еще пять тысяч лет назад! Сколько людей умерло за это время – безвременно, не достигнув даже собственного пятисотлетия! И даже сейчас, господа и им прислуживающие, когда теория, наконец, практически дошла до открытия способа безграничного продления жизни, способа не только не шарлатанского, но абсолютного верного и к тому же легко осуществимого каждым дураком и, что немаловажно, понятного, убедительного для любого дурака, – способа, обоснованного неопровержимо, продуманно в каждом звене всей цепи рассуждения, где нет ни одного, ни-од-но-го пропущенного звена и где ни в одном пункте рассуждения не обнаруживается логической противоречивости, – даже сейчас, что объяснимо разве лишь историческим предубеждением и предрассудком, этот способ достигнуть самого желанного для каждого человека, по крайней мере, иудеохристианской, нашей, немецко-русской ориентации, – не в чести у большинства и практикуется только непредвзятым меньшинством, многочисленным, но – меньшинством. Увы, господа и все остальные, это прискорбно, но это факт; остается надеяться, что рано или поздно сила истины сама переубедит инертное и предубежденное большинство. Да, дорогие мои друзья, были-таки люди не в наше время, богатыри – не мы, но, к счастью, и сегодня еще не перевелись подвижники и герои, спасающие нас и наше общество от бесчестья. Чтобы не быть голословным, но и не удлинять и без того чересчур длинное, назову только одного человека, не так давно, уже при нас жившего в Вологде не то Архангельске, в общем, где-то на северо-востоке, он же северо-запад, это как посмотреть, и там свершившего свой славный подвиг: его, как утверждают компетентные люди, – хотя есть, как всегда в таких случаях, и другие версии – его зарезала любовница, кухонным ножом, до смерти, чуть ли не в кровати, где он как раз находился, во сне ли, наяву, и представьте себе – ему и это оказалось нипочем: мертвый, он даже не обозвал ее, как только наш народ умеет обозвать; никаких – он даже не моргнул. Да, нам есть еще делать жизнь с кого, есть еще порох в пороховницах, есть еще шансы стать той прежней могучей нацией чудо-богатырей, героев, праведников... И хотя мы потеряли Германию, господа, Германия сегодня выслуживается перед Штатами и лижет им ... – но Россию мы не

потеряли, как утверждает искренне, но ложно один известный кинорежиссер: Россия была, есть и будет, пока такие люди, господа, в стране Российской есть!..

Последний, на кого я надеялся железно, был Чехов; уж этот-то интеллигентный человек, прилично себя ведищий, должен умереть нормальной смертью, приличной. Как все о нем и ней писали, да еще если верить воспоминаниям его жены – а с чего бы им не верить, когда она была рядом с ним, когда он умирал? – смертью «безболезненной, непостыдной, мирной»... А вот на тебе – и этот умер, вопреки невозможному, по воспоминаниям его жены, какой-то очень странной смертью... Спасибо тебе, учитель, и за это: я таки понял, что меня ждет, если я стану хоть второстепенным писателем, но вошедшим в историю русской литературы просто по факту того, что история сия отмечает имена всех мало-мальски известных авторов, просто по факту их жительство в такое-то или сякое-то время, а поскольку я живу и пишу именно в такое, если не сякое, время, от которого никуда не денешься, есть реальная возможность в эту историю литературы вляпаться. Но ты показал, чего это стоит, – без исключения, еще раз спасибо тебе – надо еще подумать, писать ли дальше или пойти на курсы поваров, к чему, то есть к кулинарии, я всегда был склонен. Ты предупредил меня, и теперь я вооружен.

В романе «Черный обелиск» ты научил меня многим вещам сразу.

Ты научил меня уважению к труду, любому, включая труд проститутки. Это тяжелая работа, облагаемая серьезными налогами; и смертельно грешный, но все равно труд, и я уважаю его теперь куда больше, чем раньше, – потому что теперь, на чужбине, мне есть с чем сравнивать какой угодно, самый презренный труд нон-стоп; наверное, потому, что я происхожу из страны, провозгласившей труд венцом всего уважаемого, а на деле страны бездельников, халтурщиков, называющих себя трудовым народом, а в глубине души презирающих всякий труд вообще, как таковой.

Ты научил меня, в сцене, когда герой-идеалист-циник-сомневающийся во всем интеллигент беседует за столом с католическим священником, и тот, потягивая рейнское с удовольствием знатока, на все неразрешимые, «последние» вопросы и запросы и претензии героя к Церкви, отвечает важно и, по мнению героя, самодовольно, «с ученым видом знатока», отвечает только одно: друг мой, вы упрекаете Церковь в том, что не только к ней не относится, но и в том, чего не знаете, и в этом ваша вина перед собой, вина, а лучше сказать беда, – а вот Церковь знает все, даже ответы на Ваши «неразрешимые» вопросы, которые вполне разрешимы, если правильно поставить вопрос, – научил меня тому, чтобы я выбросил из головы всю эту дурь: перестал бы красоваться собой перед собой, видя в себе настоящего интеллигента и полагая, что это и есть лучшее, высочайшее, что породило человечество. Перестал бы считать рефлексией и постоянные сомнения во всем признаком ума, а не чисто психологических, ежечасно меняющих свое обличие, перепадов.

Но из этой беседы я поучился и правоте героя, а не священника; да, это не ложь, а как раз полная правда, что не уверенность знающего человека, а рефлексия, сомнения и вопрошания без ответа – это и есть удел действительного интеллигента, а не интеллигента рефлектирующего, сомневающегося и вопрошающего. И полная правда в том, что быть агностиком, атеистом и даже озлобленным антихристианином – лучше, чем быть настоящим христианином и подлинно верующим, потому что антихристианство и есть подлинное христианство, атеизм и есть подлинный теизм, потому что только антихристианство, атеизм, а точнее – сознательный и жесткий анти-теизм приводят к столь мучительным состояниям души, которая «по природе христианка», по словам Тертуллиана, – с которым, впрочем, мы не можем согласиться, потому что душа по природе как раз кто угодно, а в том числе и христианка, но по-настоящему душа – христианка совсем не по природе, а по благодати, а чаще – по мучительному усилию волевого выбора, который может и подвести, обмануть, оставить без ответа; и все же душа по природе действительно христианка, что, думаю, самоочевидно и в доказательствах не нуждается, – да, так атеизм и антихристианство приводят душу-христианку-не христианку к столь мучительным состояниям души, переживающей перманентный опыт перемалывания самой себя, что она просто не может этого пережить, и одновременно с пережевыванием самой себя, даже мгновеннее этого, опережает свое же длительное мучение от навязанного себе тобою же самим атеизма, антихристианства и пр. – в своем стремлении к Богу вообще, Христу в частности, чтобы как можно быстрее и еще быстрее, чем сколь возможно быстрее, покончить со своею невыносимой мукой и обрести наконец желанный покой: я на своем месте, которое мне и было определено, и все теперь на своих

местах, и я спокойна, удовлетворена и наконец-то счастлива. Это же очевидно как Божий день любому, кто действительно не верит в Бога, – но я-то, полуверующий дурачина, нипочем не довер бы, мсье и мадам, до того, что – под носом у каждого; когда бы не дорогой, бесценный мой учитель Эрих Мария Ремарк.

В эпизоде, где брат друга и босса главного героя говорит тому: «Во всем виновата наша подлая интеллигенция и евреи», – на что герой отвечает: «И велосипедисты»; «Почему велосипедисты?» – «А почему евреи?» – в этом эпизоде бородатый анекдот обыгран тобою специфически: герой, безусловно, порядочный умный человек, т. е. никак не антисемит – напротив, он ехидно-прозрачно издевается над своим «оппонентом», над его самодовольной тупостью, чванливостью и – как вечным следствием этих качеств – вечным антисемитизмом. Но при этом герой едва ли не подмигивает оппоненту, чуть ли не давая этим понять, что он не согласен с ним именно потому, что в чем-то согласен; это научило меня антисемитизму как вещи самого правильного и гуманистического толка: ведь нелюбовь ко *всем* евреям ведет человека к единственной реальной возможности полюбить *каждого* еврея.

Список всего самонужнейшего и самоважнейшего для любого человека, чему еще ты научил меня, – почти бесконечен; поэтому совершенно все равно, дамы и господа, продолжать ли его до утра или закончить немедленно, на последнем полуслове; выберу последнее: закон...

И все-таки скажу напоследок еще одно: ни Джойс, ни Фолкнер не научили меня почти ничему – разве что самовыражению, т. е. выражению некоторых глубин своей-чужой души. А кому нужно твое-свое самовыражение, когда всем нужно только их-свое самовыражение? Хемингуэй же и вообще научил только той глупости, что при охоте на льва нельзя трусить. Во-первых, научившись кое-чему у Учителя, скажу как взрослый ребенку: и можно и должно трусить, чтобы стать храбрым. Нельзя не не трусить, а нельзя охотиться на львов: это бесчеловечно – охотиться на царей зверей, занесенных из-за отважных людей в Красную Бархатную Книгу столбового зверинства.

Да, ни вышеназванные, ни другие не названные не научили меня почти ничему толковому. Всему остальному бестолковому научил меня ты.

... и лишь одному ты не смог научить меня: простой вере в Бога. По чисто техническим причинам – твоей вины тут нет. Вера либо уже есть в человеке, и обнаружить ее скрытое наличие в себе ты можешь только сам, либо к вере приходят, и опять-таки каждый своим внутренним путем. Научить этому нельзя. К вере я пришел сам. Но, думаю, если бы все-таки было можно научить вере извне, и этим учителем был ты, то я научился бы вере куда лучше, чем совершил это на свой дилетантский глаз.

Всем худшим в себе я обязан книгам.

Всем лучшим в себе я обязан книгам.

Всем в себе я обязан книгам.

Твоим книгам, господин учитель.

А все книги – значит, и твои тоже – всем обязаны, даже если они этого не знают или не хотят знать, – Книге книг, восходя к ней или нисходя от нее. Она их начала и концы, их прологи и эпилоги, интродукции и кульминации.

Всем в себе, значит, всем самим собой я обязан Ремарку и Библии. Хотя правильнее: Библии – и Ремарку.

Но я назвал книги и Книгу в том порядке, который действительно меня сформировал. И я верю – Господь меня простит.

Ведь Он же Гений, козь скоро Пушкин и Достоевский – Его создания по Своему образу и подобию. Насколько же Создатель гениальнее самых гениальных созданий. А гений – парадоксов друг. Бог безмерный друг достойных Его, безмерных же, парадоксов. И я верю – Он простит мне то, что непростительно с моей стороны. Он простит не непочтение к Себе. Ему это легче легкого, легче, чем мне стакан пива выпить с тобой, майн либер херр Лерер. Если Он не простит меня, то парадоксализм Его не безмерен. А тогда Он не Бог. А тогда некому и прощать.

P. S. Твой герой Равик, как известно, из всех напитков, понимая в них толк, все-таки всему предпочитал кальвадос. Разумеется, почитая тебя и почитав тебя, я не мог не попробовать любимый напиток героя одной из самых лучших твоих книг. Я пробовал кальвадосы всех сортов и сроков выдержки – и вот что я скажу наконец уверенно: кроме самых старых, для себя оставленных и по-настоящему дистиллированных и выдержанных лет этак больше двадцати, а лучше еще

древнее, все «старые» кальвадосы – это простая и дерущая язык, даром что постоявшая как следует в дубовых бочках, грубая яблочная самогонка. Яблоко – хитрая вещь: если все плоды от какой бы то ни было переработки изменят свой вкус и запах, только яблоко да малина их сохранят. В кальвадосе это мешает – за исключением тех самых домашних кальвадосов, которые ни доктору Равику, ни нам с собой – совершенно не по карману. Яблоко, даже мягкое, будто разваренное, как «московская грушовка» (разумеется, Наставник, ты этого сорта яблока знать не мог), все равно остается на вкус жестковатым, звенящим: в нем очень много железа. Прости, но в любви к кальвадосу ты оказался неправ.

Но это – единственная твоя ошибка. Если ошибка вообще: твои герои, как и ты сам, могут любить, вопреки общему вкусу, напитки именно жесткие и грубые – их, как и тебя, немало помотали и Первая мировая, и эмиграция; и они хотят, возможно, любой ценой хранить память о том времени, когда их из восемнадцати ребят осталось только трое. Три товарища.

Да, пожалуй, ошибся я, а не ты. Ты все-таки безысключительно безошибочен в выборе качественного спиртного, исходя из его назначения во всегда конкретной жизненной ситуации.

Да, ты оказался недостоин бессмертия. Ты оказался достоин лишь вечности. Ей нет до тебя, к счастью, никакого дела. Ей нет ни до кого никакого дела. Поэтому она никого не беспокоит.

Спокойной тебе вечности, господин Крамер, херр невеликий писатель Эрих Мария Ремарк... Поаплодируем тебе, нашему всему. Аплодисменты – лучшая колыбельная, лучшее снотворное для таких, как ты, не нуждающихся в аплодисментах.

Майне либен дамен унд херрен, я закончил. Dixi. Благодарю за внимание. Я знаю, как трудно внимать до конца тому, кто, задекларировав «несколько слов» спича, сдержал свое обещание, сказав несколько многомногочисленных слов; но Вы, в отличие от меня, оказались на высоте положения.

Благодарю за непонимание.

На сем желаю Вам, чтобы все (но не все сразу);
искренне не ваш,

кому Юра, а кому и Юрий Иосифович.

ТВОРЦЫ ДЕКРЕТНОЙ РОДИНЫ

РОСТОК ЗЕМЛИ ОБЕТОВАННОЙ

На словах руководствуясь марксистско-сталинской территориально-экономической теорией нации, на деле советская власть налегала на главный фактор – на создание системы коллективных иллюзий. Ещё до всяких индустриализаций, в двадцатые годы она поставила перед собой небывалые задачи: в ударном порядке создать сразу два национальных фантома, один объединяющий, другой обособляющий, – «советский человек» и «Биробиджан – родина всех трудящихся евреев». Через восемьдесят лет можно с уверенностью констатировать: новый фантом создать не удалось, а старый на новом месте вполне прижился, так что его пришлось истреблять силой. То есть после падения коммунистической диктатуры «советский человек» распался в точности по национальным швам, а назначенную с потолка декретную родину еврейские романтики (а именно они являются солью всякого народа) действительно начали считать своим отечеством.

Поскольку родину создают не кочегары и не плотники, а поэты, ибо родина – это система грёз, интересно было бы изучить поподробнее, какими иллюзиями биробиджанские творцы были очарованы сами и пытались очаровывать других. И хотя больших поэтических талантов среди них открыть не удалось, их попытка создать родину из ничего остаётся уникальной и весьма поучительной.

Сталинский удар на них обрушился из-за того, что они с предельной добросовестностью исполняли своё дело – воспевали новую декретную родину. Но – воспевали как нечто отдельное, особенное, ибо никак иначе ничего воспеть невозможно. Невозможно заразить кого-то своей любовью к человеку, профессии, народу, области, постоянно приговаривая, что они ничем не лучше других. Невозможно и оплакать своё отдельное горе, будучи поставленным в необходимость постоянно оговариваться, что и у других горе несколько не меньше. А именно этого и требовала советская власть.

Она требовала романов и поэм в таком примерно духе: наконец-то сбывлась тысячелетняя мечта еврейского народа о собственном государстве – хотя в дружной семье советских народов повсюду живется одинаково уютно. Наконец-то мы можем писать на своём родном языке – хотя он, конечно, ничем не лучше великого и могучего русского языка. Мы должны собрать все силы – хотя без поддержки великого и могучего русского народа у нас всё равно ничего не получится. Наши парни сражаются, как истинные наследники Самсона, – хотя, впрочем, Илья Муромец ничем ему не уступит. Горе наших матерей, потерявших своих сынов, безмерно – хотя и не более безмерно, чем горе русских, украинских, белорусских, узбекских, татарских и всех прочих матерей.

При всей смехотворности этого канона, поэтов и прозаиков карали именно за отступления от него.

Нет, вполне можно понять, что в военные годы, требуя от самого сильного народа страны чудовищных жертв, власть стремилась как можно больше льстить ему и как можно меньше его раздражать (если только этого не требовали её собственные интересы), – с этой точки зрения объяснимо даже то, что массовые истребления евреев во время войны советская пропаганда дипломатично именовала массовыми убийствами «мирных советских граждан». Но если так может рассуждать политик, то поэт, национальный поэт так чувствовать не может, поэзия рождается эмоциональным порывом, а не дальновидным расчетом.

Всё это, собственно, доказывает только то, что попытка создать с нуля национальное государство меньшинства внутри национального государства большинства была обречена на заведомое поражение. Причём обречена не только тоталитарно-коллективистскими, но и либерально-индивидуалистическими принципами.

В 1944 году на фоне общего горя и нужды руководство Еврейской автономной области решило отметить десятилетие со дня образования ЕАО и в благодарственном обращении к Сталину среди стандартной патетики была использована пара специфически еврейских образов: Самсон, пожертвовавший собой ради уничтожения врага, «львиное сердце Маккавеев»... И это через несколько лет припомнили первому секретарю обкома Александру Наумовичу Бахмутскому в качестве проявления еврейского буржуазного национализма.

Об уничтожении Еврейского антифашистского комитета (ЕАК) написано довольно; поэтому здесь достаточно сказать: разумеется, никакой шпионской деятельностью «еврейские антифашисты» не занимались, но что касается несанкционированных грёз, то таки да, грезили. Вступались за отдельных евреев, вообразили себя представителями несуществующего народа...

ЕАК и в самом деле находился в фокусе международного внимания. Но кому в столицах было дело до того, какими демагогическими зверствами отозвалась эта кампания в Еврейской автономной области! Мощным катализатором послужило и осложнение отношений с государством Израиль, примерно в это же время воссозданным на канонической Земле обетованной и отказавшимся служить советским плацдармом на Ближнем Востоке. Энтузиазм, с которым советские евреи восприняли его героическое рождение, не мог не усилить в советских вождях не лишённое оснований чувство: сколько еврея ни корми...

Всё, что связывалось со словом «еврейский», «еврейское», в Еврейской автономной области теперь именовалось буржуазным национализмом, — как, впрочем, и во всей стране. Однако особенностью ЕАО было, пожалуй, обвинение А.Н.Бахмутского в попытках создать в Еврейской автономной области еврейскую элиту. Что он, судя по всему, действительно пытался сделать. Тогда как подбор кадров по национальному признаку и в самом деле был нарушением не только сталинской конституции, но и вообще либеральных принципов, запрещающих принимать во внимание национальность граждан. Ну, а что без такого подбора, без создания дополнительных стимулов евреям оставаться и становиться именно евреями, а не просто «советскими людьми», область и не могла сделаться еврейской — так и не нужно. Довольствуйтесь названием. А потому и экспозиции по еврейской истории из краеведческого музея должны быть изъяты.

После показательных изобличений и тщетных покаяний («Я кроме семилетки и ФЗУ, по существу, никакого образования не имею») в театре имени Кагановича А.Н.Бахмутский был исключен из партии. Напрасно он, глотая слёзы, повторял: «Мне всего тридцать восемь лет. Поверьте мне. Только не исключайте...»

Первые слова нового, присланного из Москвы первого секретаря обкома П.В.Симонова, обращённые к ожидавшему его шоферу (кстати, еврею), были таковы: «Ну так что, расхулиганились здесь еврейчики? Ну ничего, мы порядок наведем».

Новое истребление начавшей было формироваться государственной, хозяйственной и культурной элиты Еврейской автономной области, в отличие от 37 года, планомерно осуществлялось теперь уже по национальному признаку. Во всех обвинениях ключевые слова были одни и те же «буржуазный», «националистический», «сионистский», «космополитический», «проамериканский». В центре города жгли тысячи книг на еврейском языке — это были книги репрессированных писателей, а заодно и просто «устаревшие по содержанию» и «излишние». А сами биробиджанские писатели...

Борис Миллер (Бер Срульевич Мейлер), 1913 года рождения, образование высшее, писатель, был обвинён в том, что в его патриотической пьесе «Он из Биробиджана» земляки, встретившись на фронте, поднимают тост сначала за Биробиджан и только потом за товарища Сталина, — в итоге десять лет, правда, с правом переписки. И то сказать: в газете «Биробиджанер штерн» («Биробиджанская звезда») Б. Миллер опубликовал список евреев — Героев Советского Союза. Не могу устоять перед соблазном процитировать протокол его допроса.

Следователь: Почему список озаглавлен «Честь и слава еврейскому народу»? Вам разве неизвестно, что это определение — «еврейский народ» противоречит национальной политике партии и правительства?

Миллер: Термин этот, хоть он и противоречит марксистско-ленинскому определению нации и народности, систематически употребляется в еврейской печати.

Следователь: Вы сознательно опубликовали этот список?

Миллер: Сознательно. Я вообще не представляю, как можно что-то делать несознательно.

Хорош...

Любовь Шамовна Вассерман, родившаяся в Польше, приехавшая в Красный Сион из просто Сиона, имела неосторожность сочинить стихотворение, в котором были такие строки:

Биробиджан – мой дом,
И песнь моя о нем.
Люблю свою страну – Биробиджан.

Следователь: Признаёте, что оно националистическое?

Вассерман: Да, потому что в нём допущено такое националистическое выражение: «Люблю свою страну – Биробиджан».

Следователь: Значит, признаёте, что вполне сознательно проповедовали национализм?

Вассерман: Нет, не признаю. Потому что стихотворение мною опубликовано не было, и никто его не читал. Когда я написала это стихотворение, я поняла, что оно националистическое.

В итоге те же десять лет, отштмпелёванные тем же 31-м мая 1950 года. А в 1952 году, в день Советской армии А.Н. Бахмутский был приговорён к расстрелу, заменённому после его клятвенного письма Сталину двадцатипятилетним заключением. Бахмутский вышел на свободу в 1956 году за месяц до XX съезда сорокашестилетним, но уже безнадежно больным человеком. И век свой доживал в полной безвестности.

Антисемитизм пировал в еврейском «национальном государстве» ещё более пышно и разгульно, чем в остальном Союзе.

Еврейское переселение практически прекратилось. Условия, которые теперь предоставлялись переселенцам, могли бы соблазнить разве что каких-то еврейских энтузиастов – однако для энтузиазма было меньше всего оснований. Зато хоть как-то обеспечивались жильём «спецпереселенцы», среди которых было немало реальных пособников Гитлера, помогавших ему осуществлять окончательное решение еврейского вопроса в Западной Украине, Белоруссии и Молдавии.

С колхозников в ЕАО сдирали последнее, – как, впрочем, и везде: «нормализация» была осуществлена на все сто. О национальном же достоинстве могли помнить только безумцы.

* * *

В Большой советской энциклопедии, куда, как известно, попадают лишь самые выверенные знания, в 1952 году чёрным по белому было пропечатано: евреи не составляют нации.

Еврейской нации не было, а еврейская область всё-таки была, напоминая известный анекдот про Вовочку: как же так, ж... есть, а слова нет?

До перестройки без специальных поисков о Еврейской автономной области было практически невозможно найти какие-то печатные упоминания, разве что изредка вздрогнешь, наткнувшись на карте на слово «Еврейская». Биробиджан в конечном итоге не сделался ни огромным гетто, как опасался Илья Эренбург, ни какой-то особенной фабрикой ассимиляции, как с горечью констатировал Борис Миллер. Это была область как область, с 1967 года Еврейская ордена Ленина. Правда, с 1970 года с евреем во главе. Евреев там осело всё-таки погуще среднего (около 9% населения Биробиджана и около 0.7% всех советских евреев), но в номенклатуре их почти не было. И в коллективных грёзах русского народа они тоже не присутствовали. И в грёзах еврейского народа, я думаю, тоже, а дух народа – это и есть его коллективные грёзы. Даже в тех сферах народного духа, где обретаются анекдоты, мне попался только один третьесортный экземплярчик. Брежнев летит в Биробиджан, а самолёт из-за сложных метеоусловий садится в Китае. Брежнев выходит, всматривается в публику и спрашивает: «Ну что, жида, прищурились?»

Биробиджан выпал и из еврейской, и из русской истории, – время от времени, правда, всплывая, когда требовалось поубедительнее заклеить международный сионизм.

Сегодня упоминания о Биробиджане встречаются хотя и тоже редко, но всё-таки гораздо чаще прежнего. То промелькнёт по телевизору, что там открылась новая синагога, то попадётся на глаза ещё более оптимистическое сообщение, что биробиджанское акционерное общество «Тайга-Восток» начало выпуск ещё трех видов водки с национальным ароматом, или, если хотите, душком, – «Еврейское счастье», «Бедный еврей» и «Рабинович», присоединившихся к уже завоевавшим сердца потребителей русским национальным напиткам «Шабатная», «Хасидская», «Фрейлахс» и «Еврейские штучки»: это обнадеживающий пример не ассимиляции еврейства, но зарождения новой, синтетической культуры, взявшей лучшее у обоих народов.

И тем не менее... Сохранится ли Биробиджан в еврейской истории? Иными словами, накоплен ли им сколько-нибудь заметный поэтический потенциал, ибо все непоэтическое обречено кануть в писаную историю. Чаще всего история Биробиджана воспринимается как история обманов и расправ, и этого добра в ней и впрямь более чем достаточно. И все же... Обманутый романтиче-

ский порыв, обманутая бескорыстная любовь – это вечная поэтическая тема, – не хватает только своего Шекспира. Или пускай уж Ростана.

ПЕВЦЫ АМУРА И БИДЖАНА

Именно из-за отсутствия таковых автор этих строк и написал свой «Красный Сион»...

И всё-таки прежде чем проститься с несостоявшейся Землёй обетованной, оглянёмся напоследок на творцов поверженной грёзы.

В идиллическую застойную пору местные очеркисты любили воспевать Биробиджан в духе «Медного всадника»: где прежде гольдский зверолов, печальный пасынок природы и так далее, теперь громады стройные теснятся.

«Сегодня площадь Советов – одно из красивейших мест Биробиджана. Летом она утопает в цветах, под прохладной тенью белой сирени, у памятника Владимиру Ильичу Ленину весело резвятся дети. Кто расскажет им, скольких трудов стоило создание этого великолепия? Когда-то был здесь заброшенный карьер, откуда брали песок и щебень на строительство железной дороги, в пору летних дождей и паводков тут разливалось целое озеро, хоть катайся на лодке». (С. Панман «Воплощённая мечта первостроителей». Сб. «На берегах Биры и Биджана», Хабаровск, 1972).

Но самыми поэтичными, разумеется, были поэты.

Изи Харик, расстрелянный в 1937-м, на языке идиш воспевал прежде всего индустриализацию – чтоб, мол, чахлой зеленью не сквернили скверы, в небеса шарахаем железобетон. Бродя по родному покинутому местечку, он либо не ощущает, либо не даёт воли ностальгическим чувствам:

О чём я, местечко, мечтаю, как встарь,
Чего желаю тебе сердечно:
Хотел бы одеть тебя в камень и сталь,
Мной покинутое местечко.

Бетон и железо – самые поэтические предметы в этой поэтике. И еще – грядущее!

Среди высочайших

В сапожищах из юфти,
В соседстве лазури небесной,
Мы стоим среди лесов
На стропилах, висящих над бездной.

Как покорную глину,
Меся неоглядные дали,
Локоть в локоть стоим
На железе, на камне, на стали...

День за днём на стропилах
Проводим в труде напряжённом,
И – растущие в высь,
Насыщаются стены бетоном...

И отсюда мы вглядываемся
В просторы без края,
Мы следим, как в лазурь
Убегают ступени, сверкая...

Что ни день, убегают
Ступеньки всё выше и выше,
И, на миг оторвавшись,
Мечтаем: – Дожить бы до крыши!

И отрадно нам чувствовать,
Цемент и камень кладущим,
Что среди высочайших
И мы засверкаем – в грядущем!

Превыше всего промышленное строительство. Но для торговцев уже и шаг к крестьянскому труду – тоже шаг вверх.

Песня бывших лавочников

«Никогда мы земли не имели,
Никогда бы мы прежде не пели,
Как сегодня, за плугом идя.

Наши руки неловкими стали.
Что мы знали? – аршин да весы.

Разве мы об усадьбах мечтали?
Мы земли и во сне не видали,
Не слышали мы звона косы.

Наши крепкие, быстрые ноги
Не могли нас к земле привести,

Только время борьбы и тревоги
Нас лишило привычной дороги
И другие дало нам пути.

О прошедшем забудь поскорее!

Дни былые быльём поросли...»

И внезапно умолкли евреи.
Всё отвесней лучи. Всё светлее
Полевые просторы вдали.

Лирические размышления биробиджанской ночью тоже не порождают грусти расставания с уходящим миром – в отношении к прошлому доминирует либо предвкушение нового, либо мстительное торжество.

* * *

Многим думам нынче возникать дано –
Чутко прикорнула тишина у ног...

Небеса сползают, и в морозной мгле
Озираю край, лежащий на столе.

Режь и перекраивай... Будь упрям, суров...
(Жило-было некогда местечко Рогачёв,
Где отец седой выкраивал и шил...)
Распростёрся край, исполнен дивных сил...

Режь и перекраивай, разбуди от сна,
Да взойдет в нём жизнь, просторна и ясна!

Козочки-местечки средь равнин-болот...
На Востоке Дальнем дом родной встаёт.

* * *

Тишина великая нисходит на меня,
Голову мою кудрявую клоня.

Эх, товарищ дальний, брат мой Михаил,
Звон твоих цепей в тиши я уловил.

Как глухими трактами плёлся ты в централ,
Ветры голосили, снег в лицо хлестал,

Ветры с ног сшибали вас, одевали в лёд,
Арестанты серые, каторжный народ.

Пусть на хлеб и воду, в отдалённый край –
Мы с тобой сочтемся, император Николай...

Эх, товарищ дальний, брат мой Михаил,
Звон цепей твоих в тиши я уловил...

Среди тысяч сопков виден мне твой след!
На Востоке Дальнем – триумфальный свет.

* * *

Ночь. Путиами звёзд исчерчен небосвод.
Песня по просторам стелется-плывёт.

Я к земле прикладываю ухо, – и слышна
Сокровенных недр густая тишина.

В недрах сокровенных тишина горда,
Как моё томленье, рвётся ввысь руда.

Как тайга, там дико изобилье, и в ночи
Под землей промёрзшею, ворочаясь, рычит.

Сотни контрабасов в темени слепой
Стонут, завывают, громяют вперевой...

Уголь, медь и золото – а ветры так и жгут, –
Распластались недра, притаились – ждут.

* * *

Перламутром синим светит ночью край,
Перламутром красным светятся утра.

Спозаранья слышно, как гремят в тайге
Взрывы динамитные вблизи и вдалеке.

Там тоску срубают, как старинный бор,
Там звенит-гудит уверенный топор.

Ну, и так далее, как говаривал Багрицкий, внезапно обрывая чтение стихов.

* * *

У Любви Вассерман те же мотивы – беспросветное прошлое и наконец-то обретённый сияющий дом.

Несётся поезд вдаль, борясь с ночной тьмой. Где в сопках над тайгой широко всходит утро.
Звезда уже горит рассветным перламутром. И всё прозрачней высь, путь краше и ясней.
Летит состав туда, где новый город мой, Мелькает ширь степей, байкальские тоннели...

Встает моя страна в сплошной голубизне,
И струи мчит Амур в пограничных елей.
Среди зелёных рощ, среди долин и гор
Стремглав летит состав... И за оконным

светом

В последний раз моих воспоминаний скорбь
Всплывает, как туман, дробясь в лучах
рассвета.

В пути ещё, минуя
Речной изгиб у Вятки,
Я вспомнила внезапно
Мрак нашей жалкой хатки.
И с ней местечко в Польше –
Как ветхое кладбище.
Я провела в нём детство
Без крова и без пищи.
Кляня и кровь погромов,
И чёрные руины,
Оттуда я бежала
Под небо Палестины.
Но здесь всё тот же голод
Грозил своим оскалом.
И воспалённым взором

Я жадно путь искала.
С толпою демонстрантов –
Тот путь мой был суровым.
Тюрьма глухая стала
Моим невольным кровом.
Но дух мой не был сломлен –
И снова я бежала...
Теперь передо мною –
Огни Биробиджана.
Приводит путь мой к счастью –
С трудом и звонким пенем.
И юность расцветает
Вторым моим цветеньем.
В раскрытое окно кропят росой кусты
И свежестью ветвей, расставшихся с
дремотой.
Как дни мои опять, пройдя сквозь ночь,
листья
Горят, озарены рассветной позолотой.
За маревом тайги и голубых дымов
Уже несёт Бира течение сквозное.
Над нею город мой растёт грядой домов,
И солнце льёт лучи сверкающего зноя.

За любовь к этому дому она и получила свои десять лет. Вот то самое роковое стихотворение из следственного дела в более безопасной, книжной редакции времён перестройки.

Хочу, чтоб знали все, всем рассказать хочу:
Биробиджан – мой дом, душой к нему лечу.
К вам, пахари, творцы, строители дорог:
Не где-то – только здесь
Любви моей исток.
Я среди вас, друзья, трудилась и жила,
Писала по ночам, костры утрами жгла
И по ночам опять писала о тебе,
Мой город у Биры, единственный в судьбе!

Так шёл за годом год, и не забыть вовек:
Болотам и тайге не сдался человек.
И вырос у Биры наш светлый добрый дом,
В котором мы с тобой, счастливые, живём!
Пусть юность пронеслась, как бирская вода,
Но город молодым остался навсегда.
И я хочу друзьям напомнить об одном:
Биробиджан – мой дом,
И песнь моя – о нём..

Как видите, роковой строки – «люблю свою страну Биробиджан» – уже нет.

* * *

Арон Вергелис в моих глазах всегда был фигурой несколько комической – главный редактор декоративного журнала «Советиш геймланд» («Советская родина»), так как мой еврейский папа Мотель Аврумович накрепко внушил мне, что все мало-мальски стоящие евреи давно уже перешли на русский, за идиш держатся только те, кому не по силам выдерживать конкуренцию с «нормальными» поэтами и прозаиками. Надеюсь, папа был не совсем прав в своей предвзятости, но и «Литературная энциклопедия» насчет Вергелиса не вдохновляет: в центре стихов В. – становление характера сов. человека, В. воспевает героизм сов. воина и строителя...

Тем не менее, места среди певцов Биробиджана Вергелис безусловно заслуживает.

Родившийся в тайге

Мой брат, родившийся в тайге Биробиджана,
С рожденья знал пути в лесах наверняка;
Дремучая тайга и в сумраке тумана
Была ему ясна, как степь для степняка.
Он был, как юный кедр, не тот, что пересажен
В угрюмую тайгу, чтобы сродниться с ней,
А тот, что из земли здесь вырос ростом в
сажень,

Вцепясь в тяжелый грунт сплетением корней.
Его отцы прошли по всем дорогам мира,
Чтоб не пришлось ему скитаться на возах,
И нету для него родней реки, чем Бира,
Он любит этот край, как любит степь казах.
Здесь он родился, здесь переболел он корью,
И терпкий сок берёз сосал, как молоко,
И в шелковой траве зелёные нагорья

Его, запеленав, баюкали легко.
 Тайга крепила рост его зубов молочных
 Пахучею смолой и корешками трав,
 И ветви в колыбель тянула, чтоб неточный,
 Неверный первый шаг он сделал, не упав.
 Она вела его, как нянюшка, играя,
 В атласный мир листвы, где мог он без конца
 Свистеть и щебетать, дразня и повторяя,
 Такого же, как он, задорного певца.
 Медведя мягкий ход, стремительность фазана
 Узнал и перенял он с самых ранних пор;
 Река его труду учила неустанно,
 И вечно юным быть – тысячелетний бор.
 И тишину дарил ему покой долинный,
 Движение и шум – гремучий водопад,
 А сопка – небеса на высоте орлиной;
 На голубых полях он был простору рад.

Медовой смолой и хвоей пахла брёвна:
 В грудь леса врублен был его сосновый дом.
 В артельный, общий труд с врождённой
 страстью кровно
 Он сам – ещё малыш – вошёл своим трудом.
 Теперь он великан с могучими руками;
 Открытое лицо, и взгляд по-детски чист,
 И бронзовый загар, и кудри – ручейками,
 Он зорок, как орёл, и по-оленьи быстр.
 И потому, что он, иной удел приемля,
 Родился, вырос здесь, – переселенца сын, –
 Он любит этот край, как любит корень землю,
 Его ветра, леса и шум речных теснин.
 На юношу взглянув, припомнишь ты нежданно
 Скитальческую жизнь и ощутишь острее:
 Вот поросль коренных сынов Биробиджана,
 Возвращенная трудом еврейских матерей!

Вергелис пытался (и это сошло ему с рук) привести в некую гармонию тему русского и еврейского подвига: я, дескать, еврей, но одновременно и русский. Вот характерный отрывок из поэмы Вергелиса «Песнь о герое» – Иосифе Бумагине, повторившем подвиг Александра Матросова.

Я русский воин, я еврей из-за сибирской
 дали.
 Я в бой пришёл с хинганских гор, где вся
 моя семья,
 Меня в труде сибиряки умельцем называли,
 И смельчаком теперь зовут меня в бою
 друзья.
 Врагу известно – у меня рука тяжеловата.
 На русском поле рос и креп мой род из века
 в век.
 Я на Матросова похож, как на родного брата,

Я русский воин, я еврей из-за сибирских рек.
 Я родины своей солдат. Я к площадям Европы
 С боями тяжкими пришёл, не сдавшись, не
 устав.
 Я с теми, кто под пули шёл, сражался, рыл
 окопы,
 Россию милую храня, на страже счастья встав.
 Я волю нес друзьям, врага карая неустанно.
 Готов гранатой сердце я швырнуть в лицо ему.
 Я русский воин, вырос я в тайге Биробиджана.
 Я с теми, кто спасает мир в пороховом дыму!

Да, и впрямь изящное решение: «я русский воин, я еврей».
 Субэтнос?

* * *

Исаак Бронфман в «Литературную энциклопедию» не попал, но в биробиджанской плеяде он фигура вполне заметная.

Улица Шолом-Алейхема

...Мне дорог этот город.
 Люблю гудков его
 Рассветный говор,
 И звон Биры,
 И сумерки аллей –
 Здесь я встречаюсь
 С юностью моей.
 И часто снятся мне
 Костры и ливни,
 Гул тракторов
 И перебранка пил.
 Легли проспектов
 Солнечные линии
 В местах,

Где зверь таёжный воду пил.
 И не жалею,
 Что кирпичиком здесь лёг я
 Вот в эти мостовые
 И дома.
 Взметнулся город
 Птицей-песней лёгкой,
 И я шепчу
 Шолом-Алейхема слова:
 «Смеяться здорово,
 Врачи велют смеяться!»
 На площадях цветёт сирень, акация.
 Шолом-Алейхем –
 это значит

«Мир вам!»
 Что может быть дороже
 Этих слов!
 Мой город спит
 Под небосводом мирным,
 Укутанный таинственностью
 Снов.
 Шолом-Алейхем –
 Звонкий мастер слова –
 Любил людей.
 И был любим он ими.
 Сегодня мы встречаемся
 С ним снова
 На улице,
 Носящей это имя.
 Здесь поднялись дома
 До неба синего,
 Здесь встали корпуса
 Заводов новых.
 Живут здесь люди
 Честные и сильные –
 Строители
 Невиданнейшей нови.

Когда рассвет
 Крыло зари расправит
 И приподнимет
 Чёрный полог ночи,
 Ему навстречу
 Двери открывает
 К станкам своим спешащий
 Люд рабочий.
 О, если б мог
 Шолом-Алейхем видеть,
 Как труд их светел,
 Радостен и славен.
 Он – вечно молодой,
 Смешливый витязь,
 Великой Песнью
 Труд людей прославил.
 Над городом –
 Распахнутые дали...
 – Шолом-Алейхем, люди,
 Мир вам, люди!
 И улице мы это имя дали –
 Она достойна.
 И всегда так будет.

Гешефт

(Из фронтовой тетради)

Мне с венграми досталось разделить
 Победы радость.
 Было всё похоже
 На то, что мне в тот день любой прохожий
 Считал за долг улыбку подарить.
 И я бродил, той радостью согрет,
 По городку с беспечностью разини,
 И подошёл дорогой к магазину,
 По случаю нехватки сигарет.
 А он являл собою пустоту,
 Среди развалин чудом уцелевший.
 Да, пуст был он.
 Но за прилавком плешью
 Поблескивал хозяин на посту.
 Хозяин – толст, в ермолочке и скор
 В движениях –
 развёл руками: видишь...
 На языке простого люда – идиш –
 С хозяином заводим разговор.
 На языке знакомом и весёлом
 Приветствие радушно звучит:
 – Шолом Алейхем! – мне он говорит.
 И отвечаю я: «Алейхем шолом!»
 – Откуда ж вы, позвольте вас спросить?
 Какие ветры по миру носили?
 – Как видите, хозяин, из России... –
 Он на погоны глазом стал косить.
 – Э-э-э, как же не слыхали!
 Мир болтлив,
 Как тот раввин из нашей синагоги.
 Мой дед едва унёс оттуда ноги,

Когда ещё, хи-хи,
 Я был соплив.
 Вы скажете, он подобрал сбежал?
 Его богаче не было в Одессе!
 А вы – откуда?
 Извините, если...
 – Есть город там такой – Биробиджан...
 – Ах, – будто треснул на зубах орех, –
 Туда же можно ехать на кончину!
 Тайга, медведи, небеса с овчину...
 Простите мне, хи-хи,
 мой глупый смех... –
 И он, повеселев и поблажев,
 Прошёлся за прилавком, подбоченясь...
 – Ещё вопрос имею к вам, почтенный:
 Какой вы там имеете
 гешефт?
 То на меня он весело глядел.
 То зло –
 на автоматную гашетку...
 – Простите, – отвечаю, – но гешефтом
 В знакомом идиш
 я не овладел.
 – Как можете шутить, – скривил он рот.
 Но вот опять затараторил бойко:
 – Мы магазин имеем?
 Маслобойку?..
 Чем делаем свой маленький доход?
 Тут я захохотал – о, бизнесмен!
 Лицо дельца
 враз вытянулось тупо.

– А мой гешефт понять вам недоступно!
 Простите мне, – ха-ха! –
 мой глупый смех.
 Спросить позвольте: вы давно с Луны?
 Я вижу бизнес вам проел печёнку.
 Вы всё ещё – хозяином лавчонки,
 А я давно – хозяином страны.
 Я – тракторист, хозяин. Я пашу –
 И пышен хлеб мой на столе
 Отчизны!

Вот это, я сказать вам должен, – бизнес.
 О чём я, кстати, и стихи пишу.
 О, у меня богаты закрома,
 Засыпанные этими руками!
 Но час пришёл – бороться с сорняками
 Нас призвала история сама.
 А как живём, так тот напрасен спор:
 Что спорить, если прежде не увидишь?..
 Тем кончился на языке,
 на идиш,
 Приятный обоюдно разговор.

Боюсь, это его последний разговор и с российским читателем...

* * *

Эммануила Казакевича, автора знаменитой «Звезды», рекомендовать не нужно. Хотя, может быть, и стоит задуматься, почему он не вплёл в свой шедевр никаких еврейских мелодий. В расчётливости геройского разведчика, пробывавшегося на фронт с риском загреметь в штрафбат, заподозрить трудно. Скорее всего, он стремился в своей балладе избежать психологической и идейной усложнённости, с которыми неизбежно связана еврейская тема.

За свою военную прозу Казакевич дважды награждался Сталинскими премиями, но его идишистский биробиджанский период сегодня совершенно забыт. И, может быть, напрасно. Советую прочесть его стихотворение и маленькую поэму 1936 года. Как минимум, это документы эпохи.

Земля, на которой я счастлив

Я, коня не седлая,
 Взлетел на него.
 И шарахнулись в стороны
 Синие тени.
 Я намётom лечу
 Среди сказочных гор
 По обильному августу
 В рыжем цветеньи.
 От Биры до Хингана,
 Коня горяча,
 Мимо пасек,
 Пропахших медвяным настоем,
 Сквозь смолистые запахи
 Кедрача
 Я лечу. И я вижу –
 Земля моя строит.
 Мне навстречу
 Выходят мои земляки.
 Я приветствую их,
 Поздравляя с успехом...
 – О-го-го!
 Возвращается из-за реки
 Их ответ многократным
 раскатистым эхом.
 И девчата с полей
 Мне помашут вослед.
 Тракторист улыбнётся
 Приветливо, щедро.
 Я люблю свою землю!
 Мне мил белый свет!

В зимовье нахожу
 Я смолистые щепки.
 Сухари. И хрустящую
 Соль в туюске.
 И заботу о том,
 Кто придёт сюда следом.
 В моем сердце
 Нет места старухе-тоске,
 Залита она ярким
 Улыбчивым светом.
 Я намётom промчусь
 По родимой земле,
 Да, она для меня!
 И, как тысячи радуг,
 Расцветает в душе,
 Расцветает во мне
 Неизбывная, полная
 свежести, радость!
 Становлюсь я похожим
 На эти края.
 Не прохожий,
 А общего дела участник.
 Полюбила меня,
 Присушила меня
 та земля,
 На которой я счастлив!

Вон вальс плывёт
 в открытое окно.
 От радостных улыбок
 в мире тесно,
 Легли дороги,
 в дальний путь маня...
 проходят люди,
 и не слышат
 песни,
 Что родилась под сердцем у меня.

2

Он был одним
 из лучших
 зданий города,
 Сарай, что выводил
 под крышу я.
 Он на тайгу глядел
 светло и гордо,
 По ветру спелым
 кумачом звеня.
 Шел первомай.
 Я шпалы просмолённые
 Пустил на мостик,
 что к сараю вёл.
 По ним
 шагали первые влюбленные
 За речку,
 где багул
 лиловый цвёл.
 Они ломали
 на букеты ветки
 И украшали ими мой «дворец».
 А я смотрел на них
 с терпением редким,
 Как смотрит на детей своих отец.
 И мой сарай
 был кораблем влюблённых,
 Несущимся на алых парусах
 Туда,
 в весенний и вечнозелёный
 Мир,
 тающий в задумчивых глазах...
 Теперь сарай мой
 лишь обыкновенный,
 Довольно куцый и смешной сарай.
 Влюблённые в тайге подняли стены,
 И город встал, где был медвежий край.
 И былью стало всё,
 о чем мечтали,
 О чем просили: «Ёселе, сыграй!»
 И он летит сквозь
 дымчатые дали,
 Дворец мой первый,
 первый мой сарай!

3

Перрон Биробиджанского вокзала!
 Взошла твоя счастливая звезда.

Ни водокачки, ни большого зала
Тут не было.
 Но были поезда.
Сердито отдуваясь,
 привозили
Они народ со всех
 концов России.
вот едут Туняядовка и Шпола,
Вот Витебск, Минск,
 Одесса и Лунгин.
И на вокзале
 тяжко
 стонут шпалы,
Висят гудки,
 протяжны и туги.
Тут матери качают
 ребятишек,
Там двое в споре
 яростном сошлись.
В теплушках, на подножках
 и на крышах
В наш край таёжный приезжала жизнь.
С весёлыми и грустными глазами,
С плечами просто
 и в сажень плечо.
И был перрон толпой густою
 залит,
Тут пели
 и рыдали горячо.
И лошадей
 по сходням выводили,
И выносили сундуки с добром...
И стар и млад –
 как молоды мы были!
Нам в шевелюры город серебром
Ещё не лег тогда.
 Нам всяко будет:
в палатках надрожимся под дождём...
Но никогда, наверно,
 не забудем
Вокзал.
Наш первый в этом крае дом...
Уже звенят над городом антенны,
Дрожит над клубом алая звезда.
Я каждый вечер,
 каждый, непременно,
Хожу встречать ночные поезда!

4

Привыкли к взлёту
 третьих этажей,
На тротуар не смотрим
 как на диво.
И скептики порастеряли
 желчь,
А город стал приветливо
красивым.
Привыкли к телефонам
 и к тому,
Что на работу не идём,
 а едем.

И в скверах «Штерн»,
 а вовсе не талмуд
 Читают старики.
 Привыкли к детям,
 Что целый день
 с настырностью грачат
 На улицах кричат.
 Привыкли к свету,
 Что вспыхивает в окнах по ночам
 И озаряет заревом планету.
 К людской толпе
 у театральных касс,
 К домам,
 встающим из болотной ряски...
 Могло ли быть без вас,
 без них,
 без нас
 Такое воплощенье старой сказки?
 А город всё растёт.
 Ещё вчера
 Всех жителей я кликал поимённо.
 И скверы обходил по вечерам,
 Чтоб не спугнуть нечаянно влюблённых.
 Вчера я знал
 кому чем досадить,
 И чем могу
 обрадовать другого...
 А нынче столько незнакомых
 лиц,
 Что я уже теряюсь,
 право слово.
 О чём мечтали
 мы в крутой мороз,
 Вбивая в хлябь болота
 сваи гати,
 Сегодня в нашем городе сбылось,
 И счастливы с тобою мы, приятель!

5

Улыбку моего отца я вижу
 В лучах рассветных
 над седой Бирой.
 И город мой становится
 мне ближе.
 Он как отец мой – добрый и родной.
 О, где мне взять
 ту силу
 и ту ласку,
 Ту правду,
 что улыбкой он дарил.
 Кончаются немыслимые сказки
 У дорогих и горестных могил.
 По улицам,
 как гулким коридором,
 Плышет фрегатом
 алый этот гроб.
 По улицам,
 по улицам,
 которым
 Он отдал всё.

Остыл высокий лоб.
И я один.
И лишь улыбка светит,
Его улыбка светит сквозь года.
Город, просыпаясь на рассвете,
Встречает голубые поезда.
И песня из моей
 груди наружу,
Как кровь из раны,
 начинает бить.
И сад отцовский
 расцветает в стужу,
И клочок зари,
 как знамя новых битв.
Встаёт рассвет
 над синью
 дальних сопок,
Колышет горизонт трава лучей.
Как в сине небо
 серпокрылый сокол
Вдруг грянет песня –
 лучше и звончей
Той,
что писал я,
 что носил –
 под сердцем,
С которой сто
 путей-дорог прошел.
Рассвет кричит: «Эммануил, вос эрт зих?»*
И я в ответ бросаю: «Хорошо!»
А он встаёт
 в неровном свете буден,
Наш новый день,
 прорвавшийся из тьмы.
Над всем, что было,
 и над всем, что будет,
Над городом, который строим мы!
Над нашей верой
 в светлые дороги,
Которым нету края и конца.
Идёт рассвет, помедлив
 на пороге
При входе в город
 моего отца!

Вот перед нами и промелькнули те образы, которыми творцы биробиджанской сказки были очарованы сами и старались очаровать других: здесь мы, вечные скитальцы, наконец-то обрели дом, дом, построенный нашими собственными руками, здесь родились наши дети, здесь похоронены наши отцы, здесь сияет улица нашего полубездомного классика, мы хозяева не только собственного национального дома, но даже всей страны...

Романтики жестоко поплатились за то, что отнеслись к этой сказке слишком серьезно. Хотя, по сталинским меркам, *нормально*. А политика советской власти по отношению к евреям и называлась нормализацией.

* Вос Эртзих? – как жизнь? (идиш)

«ТИТАНИК» И «ОКЕАН»

О «стихии», о Блоке, о «музыке». 5 апреля 1912 года Блок записывает в дневнике: «Гибель Titanic'a, вчера обрадовавшая меня несказанно (есть еще океан). Бесконечно пусто и тяжело». На «Титанике» погибло примерно полторы тысячи человек. Большинство из них, не попавшее в спасательные шлюпки, прыгнуло за борт и замерзло в ледяной воде (температура которой в районе катастрофы была минус два градуса, при температуре воздуха минус три). Между тем, спасательные шлюпки – их было мало, оборудованы они были плохо и управлять ими почти никто не умел – уходили полупустыми, командиры их сначала боялись попасть в образовавшийся водоворот, затем боялись приближаться к месту катастрофы, понимая, что десятки обезумевших рук сразу же ухватятся за борт и что шлюпки почти наверняка перевернутся; командиры эти стояли, следовательно, перед самым страшным выбором в своей жизни: спасти тех, кто уже сидел в шлюпках, или, рискуя их и своей жизнью, попытаться спасти хотя бы еще немногих. Почти все выбрали первое; удаляясь от места катастрофы, многие из спасенных еще долго слышали крики замерзающих, тонущих, обреченных людей. Есть еще океан... «Титаник» погиб в ночь с 14 на 15 апреля по грегорианскому, то есть в ночь с 1 на 2 апреля по юлианскому календарю. Почему Блок узнал о катастрофе (и «несказанно» обрадовался ей) только 4 («вчера»), непонятно, но в конце концов и неважно. Важно, что этот «океан» и есть, конечно, все та же «стихия», та же «музыка», готовая, при случае, превратиться в пресловутую «музыку революции», унесшую в своих «вихрях» поболее полутора тысяч несчастных, ни в чем не повинных, захлебнувшихся «в волнах истории». Несказанно, видите ли – несказанно обрадовала его эта гибель. «Сначала с милой пили чай, потом несказанное». Или наоборот – сначала несказанное, потом чай? Все равно. Поражает вообще вот что. Поражает, что все *предпосылки* были уже в наличии, задолго до того, как кошмар начался, причем предпосылки как идеологические, так и, что, может быть, не менее важно, эмоциональные, душевные. В том прекрасном мире, в Серебряном веке, в Belle Epoque они все уже продумали и прочувствовали. В том мире, о котором мы можем только мечтать, да и мечтать-то не можем, они сидят себе, и думают, и думают, как бы его разрушить, сидят и готовят предпосылки его гибели, предпосылки мыслительные и душевные. Грехопаденье происходит, как известно, не после, но еще до изгнания из рая. Грехопаденье происходит в раю. Хьюстон Стюарт Чемберлен, например, уже в 1896 году пишет свои «Основания девятнадцатого века», «классический труд» европейского антисемитизма, где «идейный фундамент» Холокоста уже заложен; автор, между прочим убежденный вагнерианец, муж падчерицы Рихарда Вагнера Евы, в десятые годы фактический глава Байрейтского клана, вел весьма любопытную переписку с германским императором Вильгельмом Вторым, очевидно ему верившим, во всяком случае принимавшим его бредовые идеи об «арийской расе», о евреях, которые ее «разлагают» и т. д., вполне всерьез. (Впоследствии Гитлер, посетивший его в 23 году – Чемберлен умер в 27 – получил от него как бы личное благословение на дальнейшие подвиги в деле спасения германской нации от еврейской заразы). Точно так же верил в юдофобский бред и другой император, дальний родственник и будущий враг этого, Николай, тоже Второй (в письмах они называли друг друга не иначе, как «Вилли» и «Никки»), до самой своей страшной смерти хранивший у себя, среди немногих прочих пожитков, экземпляр «Протоколов сионских мудрецов», покровительствовавший «Союзу русского народа» (который правительство втайне финансировало), во время «дела Бейлиса» при личной аудиенции подаривший судье золотые часы и посуливший ему повышение по службе, если процесс будет «выигран» правительством (беру эти примеры из замечательной книги английского историка Орландо Файджеса, Orlando Figes, о русской революции «Трагедия одного народа»). «В Киеве произошло убийство Андрея Ющинского, и возник вопрос об употреблении евреями христианской крови» (все тот же Блок, предисловие к «Возмездью»,

все о том же, разумеется, «деле»). Это мог бы написать Геббельс. Да так примерно они и писали. Возник вопрос... Окончательное решение которого будет затем испробовано в Освенциме. Что ж говорить об идеологии «левой», подготавливавшей в течение всего 19 века? «Мы на горе всем буржум мировой пожар раздуем». Горький, по свидетельству Ходасевича, обожал «маньяков-поджигателей» и был сам «немножечко поджигатель». «Любимой и повседневной его привычкой, пишет Ходасевич, было – после обеда или за вечерним чаем, когда наберется в пепельнице довольно окурков, спичек, бумажек, – незаметно подсунуть туда зажженную спичку. Сделав это, он старался отвлечь внимание окружающих – а сам лукаво поглядывал через плечо на разгорающийся костер. Казалось, эти “семейные пожарчики”, как однажды я предложил их называть, имели для него какое-то злое и радостное символическое значение». Любил он также и порассуждать о разложении атома, продолжает Ходасевич, но – «скучно, хрестоматийно и как будто только для того, чтобы в конце концов прибавить, уже задорно и весело, что “в один прекрасный день эти опыты, гм, да, понимаете, могут привести к уничтожению нашей вселенной. Вот это будет пожарчик!” И он прищелкивал языком»- Пожарчик, что говорить, удался на славу, костерчик получился не символический. Вот эта, гм, да, понимаете, мечта об «уничтожении нашей вселенной», эта «злая и радостная жажда «пожарчика», эта готовность к гибели, своей и чужой, – без них бы ни гibelи, ни уничтожения, ни «пожарчика», разумеется, не было. «Но вас, кто меня уничтожит, встречаю приветственным гимном», писал Брюсов еще в 1905 году. Думал ли то, что писал? Думал ли вообще что-нибудь, когда писал этот высокопарный вздор? Или просто играл словами – как в жизни играл душами и людьми? Эти игры, ни те, ни другие, ни третьи, даром никогда не проходят. Они и ему самому не прошли, разумеется, даром (в чем можно при желании увидеть и некую справедливость). Замечательны там призывы «грядущим гуннам» «сложить книги кострами» и «творить мерзость во храме»; «гунны» эти, видите ли, какую бы мерзость ни творили, все равно «неповинны, как дети».

Откуда же эта самоубийственная жажда катастрофы, этот «приветственный гимн»? «Гибель Titanic'a, вчера обрадовавшая меня несказанно (есть еще океан). Бесконечно пусто и тяжело». Пусто, значит, и тяжело. Не просто пусто, но – бесконечно. Пусто, скучно, «мерзостная, вонючая полоса жизни». Чем заполнить эту бесконечную пустоту? «Пожарчиком», «музыкой революции»? Да чем угодно, лишь бы ее заполнить. То есть что же они, говоря грубо, «со скуки на стенку лезли»? Наверное, было не только это, но и это тоже было. «Ты будешь доволен собой и женой, своей конституцией куцей, а вот у поэта... как там дальше?... всемирный запой, и мало ему конституций». Ну конечно, всемирный запой, переходящий в мировой пожар, это здорово, это мы понимаем. Конституция же была, действительно, довольно куцей, но была все-таки первой русской конституцией, как-никак дававшей России пусть маленький, но все же хоть какой-то шанс проскочить мимо бездны. Да хоть бы она и не была такой куцей, «поэту» все было бы «мало», ему подавай «всемирное», подавай «океан», а тут – конституция, пункт такой, параграф сякой. Нет, вообще говоря, ничего скучней демократии. Революция – это величественно, это – «музыка». Да даже и в диктатуре есть что-то завораживающее, есть – «большой стиль». Какие флаги и факелы, какие горящие глаза, какая молодежь, как она марширует. И какие все-таки, что ни говорите, свершения, и Днепрогэс тебе, и Кузбасс, и автострады, и стадион в Нюрнберге. А демократия? Боже, какая скука, вечные какие-то поправки к чему-то, вечные эти дебаты о прибавке одной десятой процента к налогу на буженину. Нет уж, давайте лучше устроим «пожарчик». «Нет, брат ворон, чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что Бог даст!» Результаты известны, «не приведи Бог» их видеть. Забывают, однако, ответ Гринева его страшному собеседнику. «Затейлива», отвечает он, затейлива калмыцкая сказка. «Но жить убийством и разбоем значит по мне клевать мертвечину». «Пугачев не отвечал и с удивлением посмотрел на меня». Как тут не удивиться? От этой простой истины, вложенной Пушкиным в уста своему неприятельному, но все-таки сберегшему «честь» герою, поклонники «метелей» далеки бесконечно, для них она тоже небось звучит как голос из «обывательской лужи». А нужен ведь «океан», куда уж там «луже». Это стремление к «пожарчику» и любовь к «океану» есть, в сущности, очень своеобразный (своеобразный, потому что лишенный, или почти лишенный, *конкретного содержания*) душевный радикализм – прямой наследник русского политического радикализма, того «интеллигентского» радикализма, описанного в «Вехах», который не признавал никаких реформ, никакой «постепенности», но требовал «всего сразу», великой, спасительной, всеразрешающей революции, после коей вообще должны были начаться «новая земля и новое небо», «Царство Божие на земле». А ведь на самом деле было все как раз наоборот. Мандельштам, уже много позже, оглядываясь назад из наставшего – не рая, но ада тридцатых годов, говорил, по свидетель-

ству Надежды Яковлевны, что-то вроде того, что вот был-де у нас рай на земле, был золотой век, да только мы не знали. Это был, конечно, век девятнадцатый. Который, как известно, кончился в четырнадцатом году. В каком году начался, соответственный, «настоящий двадцатый», не календарный. «Проклятье вечное тебе, четырнадцатый год», писал потом Ходасевич. Все катастрофы начались с этой первой, основной катастрофы двадцатого века – что, впрочем, в России ощущалось и как бы до сих пор, сквозь призму последующих, ту первую заслоняющих катастроф, ощущается все же не так остро, как на Западе. Россия и до этого жила на вулкане – Запад в гораздо меньшей степени. В России была малая катастрофа русско-японской войны, была и первая малая революция 1905 года – Запад со времен войны франко-прусской и, соответственно, Парижской коммуны жил, в общем, спокойно. Были, конечно, какие-то колониальные столкновения, какая-нибудь англо-бурская война, был непрерывно нарывавший «балканский вопрос» (в конце концов и прорвавшийся), но все это было где-то там, на краю света, бесконечно далеко от Парижа, от Берлина, от Лондона. Россия, кроме того, почти столетие жила в ожидании революции и как бы готовилась к ней – что, опять-таки, даром не проходит. То есть жила под знаком все того же душевного радикализма, который лишь перед самым концом стал как будто утихать – что и обеспечило России ее Серебряный век. Но, как видим, утихать лишь отчасти – почти лишенная реального политического содержания, мечта о «большом ветре из пустыни», о «стихии» и прочем подобном бродила по-прежнему в душах. Так что неправ был Анненский, когда писал в одном письме, что «с эсдеком можно грызться, даже нельзя не грызться, иначе он глотку перервет, – но в Блоке ведь можно только увязнуть». «Блок» и «эсдек» не так уж и далеки друг от друга – что потом и подарил нам «белый венчик из роз» и Петруху с Катькой, затерявшихся среди музыкальных метелей.

И все-таки четырнадцатый год в России тоже был обрывом, срывом времени, концом эпохи, падением в бездну – отчего тринадцатый казался потом «последним». И вот было ведь что-то совершенно загадочное в самом возникновении Первой мировой войны – историки не случайно до сих пор все спорят о ее причинах. Она началась как-то сама собой, как если бы не могла не начаться. Были разные «кризисы», которые всякий раз удавалось разрешить мирным путем, были амбиции, были «блоки» (с маленькой буквы), был вечный «балканский вопрос»... И в общем-то все ждали войны, все как будто знали, что рано или поздно будет – война, но что она действительно – будет, что она действительно, в самом деле, без всяких шуток, в результате таких-то и таких-то действий, австрийского ультиматума, русской мобилизации, может начаться – в это никто в Европе до конца поверить не мог. И вообще было лето, «была жара», как, опять-таки, написал потом Ходасевич, и поверить, что посреди этой летней, ленивой, беззаботно-курортной жизни, вдруг, ни с того, ни с сего... Если есть событие в новейшей истории, показывающее, до какой степени она, история, человеку неподвластна, до какой степени она происходит сама собой, повинуюсь каким-то, нам неизвестным, превосходящим нас силам, то это именно 14 год. Другое такое событие – это, конечно, русская революция (Февральская, разумеется). Помните изумление Розанова («Русь слиняла в два дня. Самое большее – в три!»)? Мгновенно, бесследно. И главное – непонятно почему. Что случилось-то? А непонятно, что случилось, ничего вообще не случилось («Ничего в сущности не произошло. Но все – рассыпалось»). Вот так и в 14 году. Что, еще раз, случилось? А ничего не случилось. Больше всего удивлялись сами политики, доведшие дело до катастрофы. Ну скажите же, наконец, спрашивал германский рейхсканцлер в отставку фон Булов у своего преемника Бетмана Хольвега, ну скажите же мне, наконец, как это все так вышло? «Бетман воздел к небу свои длинные руки и ответил глухим голосом: *Кто бы знал?*» Никто не знал, в том-то и дело. Была игра с огнем, это ясно. Все как бы испытывали друг друга, *задирались*, как шпана на базаре. Но что дело вправду дойдет до драки, никто, повторяю, не верил. Были разные *фикции*, вся эта болтовня о «братьях-славянах», которых надо было, разумеется, спасать и защищать. Сербию надо было спасать и защищать, а вот Болгарию почему-то не надо было, Болгария была союзница «держав оси», и Россия видела в ней свою соперницу на Балканах. Но главное, главное, была готовность к жертвам, все та же, вовсе, значит, не ограничивавшаяся Россией, хотя в России, через три года, и проявившаяся наиболее остро, готовность к пролитию своей и чужой крови – ради чего? Ради того, чтобы *что-то совсем другое*, наконец, началось. Не ради конкретных целей, этих целей как будто и не было, или они были фикцией, или их пытались придумать задним числом, но ради того, чтобы начался, наконец, – «океан». Чтобы постылые благополучные будни сменились, наконец, величественным, «общенациональным», с пальбой и флагами, праздником. Чтобы История с большой буквы восторжествовала, наконец, над мелочной мирной политикой. Война, как и революция, ведь это же, прежде

всего, *каникулы*. Это значит – дети не идут в школу, но бегут на площадь, и залезают на фонарные столбы, и маршируют в ногу с солдатами, и пытаются записаться в добровольцы. Это потом их будут травить газами, это потом они будут умирать в лазаретах. А сначала – праздник, счастье, «судьбоносные решения». «Эти часы [после объявления войны] были для меня как избавление от неприятных ощущений юности, пишет в “Моей борьбе” Гитлер [что это значит и каких таких ощущений – неясно, но важно, что – избавление, Erlösung, понятие, вообще говоря, религиозное]. Я и сегодня не стыжусь признаться, что, побежденный бурным вдохновением [одного этого стиля достаточно, чтобы проклясть его навеки], я пал на колени и из глубины моего переполненного сердца возблагодарил небо за то, что оно даровало мне счастье жить в это время». Теперь – все, теперь – прощай девятнадцатый век, золотой век («только мы не знали», что золотой), железный век (как «нам» казалось), ничтожный век, «беззвездный мрак», век «малых дел», и «слабых тел», и «бескровных душ», и «гуманистического тумана» (все цитаты из «Возмездия»). Теперь пойдут кровавые души и стальные тела, и «ангел сам священной брани» от нас уже долго не «отлетит», теперь будут – «подвиги», будет век великих свершений. Теперь будет, пожалуй, «еще страшнее», но той мелкой, постылой скуки, той «обывательской лужи» не будет. (Что одно другого не исключает, что «ужас» и «лужа» прекрасно уживаются друг с другом, это двадцатому веку предостояло еще узнать).

И вот сама эта готовность перейти от скучных будней к кровавому празднику, заполнить пустоту душ верденским газом, сама эта пустота и эта готовность выглядят как орудие неких высших – или низших – сил. «Нечто» должно было (непременно, неотвратимо) случиться; но чтобы оно могло случиться, нужна была соответствующая душевная почва, нужна была эта «бесконечная пустота» в душах, в которую только и могли, заполняя ее, ворваться «стихийные силы» (их же «не превозмочь»). Не было бы «пустоты» – «силы» не ворвались бы. Что прорыв стихии был, в этом сомневаться не приходится. Конечно, он был. «Дионис пронесся над Россией». Вопрос был, как всегда, в отношении к этому «прорыву», в готовности или, наоборот, неготовности в нем *участвовать*. «Бесконечно пусто и тяжело». Тяжело бывает всем. Ощущение пустоты знакомо каждому. Весь вопрос в том, согласны мы или не согласны заполнить пустоту «стихийными силами», снять с души тяжесть, отдавшись «метелям». То есть важна, как всегда, как во всем, *позиция*. Прекрасней, потому что яснее всех, была, в русской литературе, позиция Бунина. «Окаянные дни...» Противоположный полюс всякой «музыке революции» (над которой он властью поиздевался). Но Бунин, конечно, исключение (Бунин среди русских писателей того времени, наверное, единственный совсем не «интеллигент» – не в «чеховском», а в «веховском», опять-таки, смысле, – эти *смыслы*, впрочем, сходятся – а значит, единственный полностью свободный от интеллигентских *мифов*, от интеллигентского «народолюбия», интеллигентской революционности, которая, при всем «разочаровании» в большевиках, делала психологически очень сложным прямой и последовательный антибольшевизм, чуть-чуть все-таки, особенно поначалу, воспринимавшийся как «переход в лагерь контрреволюции»; а как нужен был бы России этот «переход», в это время... Виновата, впрочем, и «контрреволюция», от слишком многих «грехов прошлого» не сумевшая освободиться). Потому-то Бунин, чуть ли, опять-таки, не единственный из всех, никогда, ни при каких обстоятельствах «не бегал к большевикам». «Я его [Волошина] не раз предупреждал: не бегайте к большевикам, они ведь отлично знают, с кем вы были еще вчера. Болтает в ответ то же, что и художники: “Искусство вне времени, вне политики, я буду участвовать в украшении [речь шла об «украшении Одессы к первому мая] только как поэт и как художник”. – “В украшении чего? Собственной виселицы?” – Все-таки побегал.» Так ли, иначе, но почти все немножко «все-таки бежали», в «украшении собственной виселицы» чуть-чуть, да участвовали. Что говорить, если даже Ходасевич, вообще все понимавший, уже в конце 17 года «вознамерился поступить на советскую службу», приведшую его сначала в какой-то «третейский суд при комиссариате труда московской области», затем в «Пролеткульт», в «Книжную палату», наконец в «Тео», «театральный отдел Наркомпроса», возглавлявшийся О. Д. Каменевой (женой Каменева и сестрой Троцкого). Обо всем этом были им впоследствии написаны воспоминания, которые можно целиком включить в «антологию русской прозы», так они хороши. В этом «Тео» служили многие (и Вячеслав Иванов, и Андрей Белый, и Пастернак). «Чтобы не числиться нетрудовым элементом, писатели, служившие в Тео, дурели в канцеляриях, слушали вздор в заседаниях, потом шли в нетопленные квартиры и на пустой желудок ложились спать, с ужасом ожидая завтрашнего дня, ремингтонов, мандатов, г-жи Каменевой с ее лорнетом и ее секретарями. Но хуже всего было сознание вечной лжи, потому что одним своим присутствием в Тео и разговорами об искусстве с Каменевой мы уже лгали и притворялись». А что было делать? Жить-то надо было? Конечно. И не просто

жить – выживать. Надо было как-нибудь ухитриться выжить... Так что я пишу все это никому не в осуждение, избави Боже. А все-таки... все-таки есть что-то подозрительное в той легкости, с какой русские писатели оказались готовы «лгать и притворяться», с какой они «бегали к большевикам». Бежать скорее надо было от большевиков. Что впоследствии многие и сделали, но все-таки как-то уж очень не сразу и очень не все... Но это ладно, это, в конце концов, дела «личные», «биографические». А вот отношение к «вихрям», к «стихиям» и к «океану»... Что говорить, еще раз, если даже Ходасевич, все вообще понимавший, мог написать в августе 21 года (в день, когда получил известие о смерти Блока) такие – все равно замечательные, как и все его зрелые стихи – но все же чудовищные, под статью «Титанику», строки: «Все жду: кого-нибудь задавит / Взбесившийся автомобиль, / Зевака бледный окровавит / Торцовую сухую пыль. // И с этого пойдет, начнется: / Раскачка, выворот, беда, / Звезда на землю оборвется, / И станет горькою вода. // Прервутся сны, что душу душат, / Начнется все, чего хочу, / И солнце ангелы потушат, / Как утром – лишнюю свечу». И ведь вот что удивительно – к 21 году «раскачка» и «выворот» давно уже начались, что начались! – шли вовсю, «полным ходом», «беда» смотрела изо всех щелей и трещин, вода давно стала горькой. «Апокалипсис нашего времени...». Но этот «апокалипсис» сам выглядит как «тихий ад» (из соседнего стихотворения), жизнь вроде как успокаивается, уже, вот, и НЭП на подходе, то есть «ужас» оборачивается все той же, вечной «обывательской лужей». И ответ на нее, Блоком же явно и вдохновленный, все тот же – все те же, снова, апокалипсические видения, тот же «океан», сметающий, понимает, «зеваку бледного» без зазрения совести, походя, между делом. Пишу об этом с грустью – Ходасевич в моей личной иерархии ценностей стоит неизмеримо выше певца «метелей» с его разболтанной музыкой. Полтора годами ранее, в декабре 19 года, он был умнее и тоньше – там речь шла, в не включенном ни в один сборник и совершенно восхитительном стихотворении, о том, что – «Душа поет, поет, поет, / В душе такой рассвет, / Какому, верно, в этот год / И оправдания нет». «В церквях – гроба, по всей стране / И мор, и меч, и глад, – / Но словно солнце есть во мне: / Так я чему-то рад. // Должно быть, это мой позор, / Но что же, если вот – / Душа, всему наперекор, / Поет, поет, поет?» То есть душа поет именно *наперекор* «мору и гладу», *наперекор* «океану». Она «запела», может быть, от прикосновения с ним, от соприкосновения со «стихией» – «рассвет» Ходасевича начинается ведь и в самом деле где-то с 17 года, – но этот рассвет «гробов» не отменяет, и забыть о них отнюдь не велит, это «солнце» «стихию» не оправдывает и «стихией» не оправдывается, эта, в душе зазвучавшая, «музыка» с «музыкой революции» не сливается. Поэтому возможна и такая, в поэзии, в отличие от прозы, вообще нечаятая, острота этического сознания; именно она-то, может быть, и оправдывает, если он нуждается в оправдании, «рассвет».

«Обезьяна» или отчасти о том же

Одно из самых поразительных стихотворений, написанных по-русски в двадцатом веке – а поразительных, великолепных и т. д. стихов на этом языке, в этом веке написано было немало, – но все же одно из самых своеобразно поразительных, скажем так, русских стихотворений двадцатого века – «Обезьяна» Ходасевича. Это стихи, по крайней мере – на первый взгляд, очень простые, комментарии не требующие; все-таки скажем о них несколько слов. Для начала – вот они целиком:

Обезьяна

Была жара. Леса горели. Нудно
Тянулось время. На соседней даче
Кричал петух. Я вышел за калитку.
Там, прислонясь к забору, на скамейке
Дремал бродячий серб, худой и черный.
Серебряный тяжелый крест висел
На груди полуголой. Капли пота
По ней катились. Выше, на заборе,
Сидела обезьяна в красной юбке
И пыльные листья сирени

Жевала жадно. Кожаный ошейник,
 Оттянутый назад тяжелой цепью,
 Давил ей горло. Серб, меня заслышав,
 Очнулся, вытер пот и попросил, чтоб дал я
 Воды ему. Но, чуть ее пригубив, –
 Не холодна ли, – блюдце на скамейку
 Поставил он, и тотчас обезьяна,
 Макая пальцы в воду, ухватила
 Двумя руками блюдце.
 Она пила, на четвереньках стоя,
 Локтями опираясь на скамью.
 Досок почти касался подбородок,
 Над теменем лысеющим спина
 Высоко выгибалась. Так, должно быть,
 Стоял когда-то Дарий, припадая
 К дорожной луже, в день, когда бежал он
 Пред мощною фалангой Александра.
 Всю воду выпив, обезьяна блюдце
 Долой смахнула со скамьи, привстала
 И – этот миг забуду ли когда? –
 Мне черную, мозолистую руку,
 Еще прохладную от влаги, протянула...
 Я руки жал красавицам, поэтам,
 Вождям народа – ни одна рука
 Такого благородства очертаний
 Не заключала! Ни одна рука
 Моей руки так братски не коснулась!
 И, видит Бог, никто в мои глаза
 Не заглянул так мудро и глубоко,
 Воистину – до дна души моей.
 Глубокой древности сладчайшие преданья
 Тот нищий зверь мне в сердце оживил,
 И в этот миг мне жизнь явилась полной,
 И мнилось – хор светил и волн морских,
 Ветров и сфер мне музыкой органной
 Ворвался в уши, загремел, как прежде,
 В иные, незапамятные дни.

И серб ушел, постукивая в бубен.
 Присев ему на левое плечо,
 Покачивалась мерно обезьяна,
 Как на слоне индийский магараджа.
 Огромное малиновое солнце,
 Лишенное лучей,
 В опаловом дыму висело. Изливался
 Безгромный зной на чахлую пшеницу.

В тот день была объявлена война.

7 июня 1918, 20 февраля 1919

В примечаниях, которые Ходасевич внес в принадлежавший Берберовой экземпляр его (увы, последнего прижизненного) «Собрания стихов» (1927 года), об «Обезьяне» сказано: «20 февр. [1919 года]. Нач. 7 июня 1918. Все так и было, в 1914, в Томилине. Гершензон очень бранил эти стихи, особенно Дария». Гершензон был неправ, вообще и в отношении «Дария» в частности. Но замечательно, что «все так и было», что речь идет, следовательно, о воспроизведении реального эпизода – который, конечно, надо было еще, в его плодотворности для стихов, *увидеть*,

из того потока эпизодов, из которого жизнь, вообще говоря, и состоит, *выделить, вычлени*ть – чтобы затем превратить его в *нечто совсем иное*, в конечном счете отменяющее вопрос о реальности или нереальности самого эпизода, в то стихотворное *иноебытие*, которое создает реальность более плотную, более сжатую, более *сильную*, чем реальность, присущая бытию просто. Есть, впрочем, у этих стихов и литературный – если не прообраз, то, по крайней мере, литературная параллель – стихотворение Бунина «С обезьяной» (1907 года), которого, по свидетельству все той же Берберовой, Ходасевич, когда писал свою «Обезьяну», не знал. Берберова могла и ошибаться, но не верить самому Ходасевичу никаких оснований нет; даже если, следовательно, где-то в памяти, или полужабвении, это (очень, к сожалению, слабое – одна рифма «хлеб – Загреб» чего стоит) стихотворение Бунина у него, когда он писал свои стихи, и присутствовало, можно, тем не менее, считать, что «все так и было». А было – как? «Была жара. Леса горели. Нудно / Тянулось время». Эту жару и горящие леса 1914 года отмечали многие – например, Ахматова: «Пахнет гарью. Четыре недели / Торф сухой по болотам горит». Но Ахматова пишет это сразу, тем же летом 14 года, Ходасевич – оглядываясь назад из 18-19, поверх за эти годы случившихся катастроф, пожаров, за эти годы сделавшихся «мировыми». Время еще «тянулось нудно», видно, оно и вправду очень «нудно тянулось» перед самой войной, в Серебряном веке, в потерянном нами (как кажется нам) раю (в котором леса уже, впрочем, горели...); еще была, на месте этого нам кажущегося, воображаемого нами рая, убогая, дачная идиллия: «На соседней даче / Кричал петух. Я вышел за калитку». Это такое простое, дачно-обыденное действие – выйти за калитку – но что-то уже намечается в нем, «закулисный гром», как писал впоследствии Набоков, подспудно уже погромыхивает. «Я вышел за калитку» – это значит пересек границу, отделяющую внутреннее от внешнего, «пространство дома» от «пространства улицы», *свое* от *чужого*. И там, за калиткой, действительно, что-то весьма экзотическое предстает перед этим «я», от лица которого стихотворение и написано, этим «я», которое (или которого) просто отождествлять с самим Ходасевичем (даже при том, что «все так и было»), конечно, нельзя (в англоязычной традиции существует для этого *субъекта стихотворения* удачный термин *the speaker*, «тот, кто говорит» – впрочем, «субъект стихотворения», подвернувшийся мне под перо, тоже, кажется, термин неплохой, предлагаю им и пользоваться) – что-то, еще раз, весьма экзотическое предстает перед этим *субъектом*, менее экзотическое, чем кажется нам, не привыкшим к подобного рода зрелищам, более обыденное для того времени, но все же что-то, уводящее достаточно далеко от этой банальной дачи с ее петухами. «Там, прислонясь к забору, на скамейке...» «Там» – значит там, за калиткой, там, на дачной улице, с ее заборами, скамейками, пылью, сиренью. Но это «там», лишенное определений, слово *тяжелое*, это «там» само по себе уводит куда-то в сторону от «дома», да и от «улицы», куда-то вдаль или вглубь. «Я вышел за калитку. Там ... сидел». Где он сидел? Там. Он там, где-то – там, хотя и на скамейке, сидел. Кто сидел? Бродячий серб с обезьяной. У Бунина был хорват с обезьяной. Но у Бунина в 1907 году хорват был просто хорват, у Ходасевича серб, конечно, не просто серб, но серб, увиденный в день объявления Первой мировой войны и сквозь призму ее, этой войны, к 18, 19 году уже определившихся результатов, – серб этот отсылает, разумеется, к ее непосредственному поводу; Сараево, соответственно, начинает просвечивать сквозь дачную идиллическую кулису, Гаврила Принцип снова стреляет в несчастного эрцгерцога, несчастную эрцгерцогиню. Он, конечно, бродяга, этот серб, где-то, на каких-то ярмарках, показывающий за деньги свою обезьяну; она же, хоть и сидит «выше», чем он – «выше, на заборе» – она все-таки унижена, все-таки – «нищий зверь», унижена даже не столько им, о ней, довольно трогательно, заботящимся, но унижена вместе с ним, их общей долей и бедностью, унижена этим ошейником, этой цепью, жарой, даже этой дурацкой красной юбкой, гоготом нам незримой ярмарочной толпы. «Вся тварь совокупно стенает и мучится доньне», по слову апостола, которое Ходасевич помнил, наверное, так, как помнят только выученное в детстве... Затем начинается собственно «действие», просьба о воде, пьющая обезьяна, сравнение с Дарием. Вот за этого-то «Дария» Гершензон и бранил Ходасевича – а между тем, этот Дарий попал сюда не просто из гимназических воспоминаний автора (Дарий, пьющий воду из лужи, упомянут у Цицерона), но он создает ту *перспективу*, без которой стихотворение не было бы тем, чем стало, тот выход в глубь времен, который в следующих строках как бы расширяется, от древности только человеческой переходит к древности уже незапамятной.

«Всю воду выпив, обезьяна блюдце / Долой смахнула со скамьи, привстала / И – этот миг забуду ли когда? – / Мне черную, мозолистую руку, / Еще прохладную от влаги, протянула...».

Она сама протягивает ему руку, вот в чем все дело. Есть совершенная неожиданность, спонтанность, внезапность, и потому – красота в этом жесте. Кто наблюдал обезьян, видел, может

быть, это внезапное совершенство их движений; не могу не вспомнить, как сам стоял однажды в зоологическом саду в Нанси перед клеткой с явно скучавшей, скучно ходившей вдоль решеток, задевая ее когтями, мохнатой, не очень маленькой, но и не особенно большой, какой-то вообще никакой, обезьяной, не очень даже вонючей, наконец, усевшейся посреди клетки на корточках. Среди зрителей был старик, строивший ей гримасы, явно пьяный, с даже не красным, но каким-то фиолетовым, в синих прожилках, носом. Была опять-таки – жара-не жара, но был, в конце лета, душный, тяжелый день, такой же скучный, как эта обезьяна, как этот полузаброшенный зоологический сад, как сам этот город, откуда, казалось, все однажды уехали и забыли вернуться, где все застыло в провинциальном оцепенении. Нудно, короче, тянулось время; только старик с фиолетовым носом продолжал строить свои гримасы и почему-то браниться, как если бы ему не на ком было больше выместить накопившееся в нем раздражение. Так продолжалось довольно долго, обезьяна неподвижно сидела на корточках, в том же, казалось, оцепении, в котором застыл весь город, смотрела на старика не отрываясь, но по видимости безучастно, старик дразнил ее и бранился, все прочие наблюдали за сценой. Вдруг легким, плавным, округлым и мгновенным движением, не вставая с корточек, обезьяна, своей мохнатой, длинной, в этом движении как будто еще больше вытянувшейся рукой, зачерпнув пригоршню смешанного с дерьмом песка, на котором она и сидела, запустила ее старику в лицо и, как будто ничего и не было, убрал руку, приняла прежнюю позу. Старик отошел, утираясь и матерясь, зрители загоготали. Но главное было – само движение, которым песок был пущен. Это движение было быстрым и медленным одновременно; совершенно естественным, совершенно простым, совершенно свободным. Оно как будто исходило из какой-то, нам невидимой, точки, из какого-то, невидимого нам, центра. Я подумал о том медведе, которого Клейст описывает в своей статье о театре марионеток, вообще об этом удивительном сочинении. Медведь, как мы помним, отражал любые удары самого лучшего фехтовальщика «коротким движением лапы», не обращая при этом никакого внимания на ложные выпады своего противника; «глядя мне прямо в глаза, как если бы он читал у меня в душе», рассказывает (очевидно, воображаемый) собеседник автора, «стоял он с занесенной для удара лапой, и если мои выпады делались не всерьез, не шевелился». Вот так и обезьяна у Ходасевича смотрит в самую глубь души, «до дна души моей». Прежде чем вернуться к ней (душе, обезьяне), помедлим еще немного среди марионеток. Каковые, по Клейсту, обладают грацией, человеку недоступной, и недоступной, конечно же, потому, что человек наделен сознанием, – сознанием, однако, не бесконечным; «только Бог мог бы в этом отношении соперничать с материей». Отсутствие сознания и сознание бесконечное предстают как два (в последнем итоге сходящихся) полюса, между которыми и блуждает изгнанный из рая, а потому и лишившийся естественной грации человек. Чем меньше сознания, чем меньше рефлексии, тем грации больше; у человека она исчезает вместе с молодостью; еще чувствуется у животных; достигает совершенства в механической марионетке. Вернуться к ней можно лишь «с другой стороны», пройдя весь путь до конца, вновь вкусив плодов с древа познания, чтобы вновь обрести «состояние невинности». «И это – последняя глава мировой истории». Так выходит у Клейста в этом его, повторяю, совершенно удивительном сочинении – таком, кстати, крошечном, ведь там всего страниц семь-восемь! – пересказывать которое «своими словами» есть, конечно, труд неблагодарнейший.

Вот эта-то «райская», изначальная, «до грехопадения» лежащая естественность, грация и простота – хотя и по совсем не райскому поводу – была в движении моей нансийской обезьяны. И, конечно же, именно о таком движении, таком жесте идет речь в наших стихах – отсюда «благородство очертаний», недоступное человеку, ни «красавице», ни «вождю народа». Только на сей раз это жест дружественный, жест благодарности – благодарности тоже какой-то «райской», человеку тоже, может быть, недоступной («ни одна рука моей руки так братски не коснулась»). Эта протянутая обезьяной рука – как мост, перекинутый через бездну, отделяющую человека от им утраченной полноты («и в этот миг мне жизнь явилась полной...»), от «незапамятных дней». Здесь есть *разрыв времени*, этот обезьяний жест разрывает (нудное, скучное, обыденное, никакое...) время – почему и повторяется два раза слово «миг» («этот миг забуду ли когда?»; «и в этот миг мне жизнь...»); этот «миг», иными словами, выпадает из привычной «связи времен», переносит в иное, «незапамятное» время, в то, что было «прежде», за пределами всего *этого, здешнего*, в абсолютное (в первых строках стихотворения уже втайне возвещенное) *там*. И это упорядоченное, гармоническое *там*, это *хор* светил и т. д., в нем есть строй и гармония. То есть это никакая не «стихия», не «океан». Это Эдемский сад, а не джунгли. Обезьяна, конечно, «нищий зверь», и в ней есть «звериное», до-человеческое, первобытное (она жадно жует эти свои жалкие, пыльные листья сирени, она смахивает блюдец со скамьи долой – интересно все же, разбилось

оно или нет...). Но нет, кажется, ничего «зверского», «бестиального» – и уж точно нет ничего, соблазнительного восхититься бестиальностью, прельститься «стихий». Есть райский *отсвет*, лежащий на «нищем звере», – отсвет того рая, о котором Ходасевич писал много позже в посвященном «Памяти кота Мурра» стихотворении: «Теперь он в тех садах, за огненной рекой, / Где с воробьем Катулл и с ласточкой Державин. // О хороши сады за огненной рекой, / Где черни подлой нет, где в благодатной лени / Вкушают вечности заслуженный покой / Поэтов и зверей возлюбленные тени!» *Поэтов и зверей* – то есть, если угодно (если не бояться тех романтических представлений о «поэте», которым Ходасевич, как и большинство его современников, был не чужд, к которым я вполне всерьез отношусь все-таки не способен) существ, что-то иное знающих, что-то *видящих*. «Кошки не любят снисходить до проявления мелкой сообразительности. Они не тем заняты. Они не умны, они мудры, что совсем не одно и то же. Сощурился глаза, мой Наль [следующий, кажется, кот после Мурра] погружается в таинственную дрему, а когда из нее возвращается – в его зрачках виден отсвет какого-то иного бытия, в котором он только что пребывал». Так писал Ходасевич в «Младенчестве»; и разве «отсвет какого-то иного бытия» не есть то именно, что проходит, как ее, может быть, основная тема, через всю его зрелую поэзию? «Нищий зверь» ближе, конечно, к началу, к *до-началу* истории, к ее «первой главе». Но, как мы только что слышали от Клейста, крайности сходятся; потому отсвет до-исторического, изначального отсылает одновременно и к после-историческому, *после-конечному*, эсхатологическому; от того, что было «прежде», к тому, что будет «потом», «когда-нибудь», после всего, после времени.

Миг заканчивается (возвратимся к нашему тексту); все *миги* вообще имеют обыкновение заканчиваться; серб, «постукивая в бубен», уходит; еще, в последний раз, возникает образ экзотической древности («как на слоне индийский магараджа...»), но возникает уже и какая-то апокалипсическая образность, солнце Апокалипсиса уже висит над миром («огромное малиновое солнце, / лишнее лучей, / в опаловом дыму висело»; как далеко ушли мы от начала нашего текста, от «просто» жары, от петуха на соседней даче...); образность, *разрешающаяся* последней, отделенной пробелом строкой. И вот – какая же связь? Какая связь между Апокалипсисом в конце и райскими видениями в середине, между войной и – «сладчайшими преданиями древности»? «Все так и было». То есть был бродячий серб и его обезьянка, которой автор дал напиток – в день объявления войны, 1 августа по новому, 17 июля по старому стилю. То есть связь чисто хронологическая, следовательно – случайная. Мы этим, конечно, не удовлетворены, мы чувствуем, помимо этой случайной связи, еще какую-то, совсем другую, какую-то более глубокую связь, но какую же? Связь, может быть, по принципу противоположности? Может быть. То, что открылось нашему «субъекту стихотворения» (и нам вместе с ним) в этот незабвенный миг, в этом братском рукопожатии, и то, что несет с собой начинающаяся война, это противоположности, одно отрицает другое. Гром орудий заглушит органную музыку, хор «берт» перекроет хор сфер, полнота жизни погибнет в окопах, райские виденья погаснут в пороховом аду. Потому последняя строчка и воспринимается как обрыв, как – срыв времени, падение с какой-то сверхающей высоты. И как падение в реальность, уже не ту обыденную, над которой мы только что, бесконечно высоко, к светилам и сферам, взлетели, но в историческую реальность, в трагическую реальность истории. (Поражает, вообще и среди прочего, *амплитуда* этого сравнительно все-таки небольшого стихотворения: от бытовой, обыденной реальности к экзотике, к балаганной беде и бедности, к древности, к незапамятной древности, к запредельному, райскому, к небесным сферам, к апокалипсическим видениям, к реальности исторической и ужасной – на сравнительно небольшом пространстве оно прodelывает *путь*, равный которому в мировой поэзии найти нелегко). Как бы то ни было, и то, и другое, и гром орудий, и музыка сфер, уводит – пусть, может быть, в разные, даже противоположные стороны, но во всяком случае – за обыденные земные пределы, прочь от дачной идиллии, от нудного времени. Нудное время кончилось – наступает время апокалипсическое. А раз так, то открываются возможности и горизонты, до сих пор, в земных пределах, закрытые. Потому связь между тем и другим противоположностью все-таки не исчерпывается – или, иначе, связь по принципу противоположности тоже есть, прежде всего, *связь*. Каким-то таинственным образом взлет предсказывает падение, душа взмывает над бездной, грозящая гибелью сообщает жизни то напряжение, остроту, «полноту», каких она в мирные, благополучные эпохи, может быть, и не достигает. (Ходасевич не случайно так любил пушкинские строки про «упоение в бою», про «залог бессмертья» и «неизъяснимы наслажденья», которые, как мы помним, таит «для сердца смертного» «все, все, что гибелью грозит».) В конце концов, и эсхатология ведь не обходится без Апокалипсиса, Царство Божие приходит после мировой катастрофы. Из чего вовсе не следует, что катастрофы оправданы – наоборот, как мы видели, «оправдания нет», может

быть, даже для взлета и рассвета души «бездны мрачной на краю»; слишком ужасна «бездна», слишком много «гробов», мора, меча и глада, чтобы можно было «заглядывать в запредельное», ни разу не усомнившись в своем моральном праве на такие заглядывания. Ни о каком заигрывании со стихией, с «океаном» здесь речь не идет, никакого «дионисийского прельщения» здесь нет, в «мировых вихрях» автор не растворяется и читателя раствориться не призывает (слушайте, мол, «музыку революции...»). Но есть, повторяю, связь одного с другим, таинственное взаимодействие между взмывающей душой и открывающейся бездной, грозящей гибелью и органной музыкой незапамятных дней.

Всем этим своеобразие нашего текста еще не исчерпывается. В корпусе зрелых стихов Ходасевича стоит оно как будто особняком; но в чем именно заключается эта его особенность, определить нелегко. А между тем, оно представляет собой (не сразу узнаваемую – и вот в том-то и дело, что узнаваемую не сразу) вариацию на его, возможно, – основную тему, выше уже вскользь упомянутую, тему выхода – или вырыванья («но вырвись – камнем из пращи...»), или хоть заглядывания за земные пределы, мгновенного взлета над миром и над собою, нередко (хотя и не всегда) сочетающегося с как бы обратным взглядом на мир и на себя «уже оттуда», на мир, уже покинутый, на себя, уже как на пустую, брошенную, «изношенную оболочку». Проследить эту тему в ее различных преломлениях было бы задачей другой, гораздо большей по объему и охвату материала работы; ограничусь поэтому простым перечислением тех стихов, где эта тема проступает наиболее отчетливо – «Эпизод» (1918), «Полдень» (1918), «Вариация» (1919), «Из дневника» (1921), «Элегия» (1921), «Баллада» (1921), «Большие флаги над эстрадой...» (1922). Перечитывая эти и другие, этим родственные, стихи, замечаем в них две особенности. Во-первых, «прорыв в иные сферы», «взлет вверх» (и следующий за ним – «взгляд вниз») происходит без всякого внешнего повода, сам собой, «вдруг», непонятно почему. «И вдруг – как бы толчок, – но мягкий, осторожный...» («Эпизод»); «И вдруг, изнеможенный полный, / Плыву...» («Вариация»). Или – в потрясающей «Элегии» – «душа взыграла». Она сама, вдруг, ни с того ни с сего, «взыграла» – и вот летит «в огнекрылатые рои», и вступает «в родное древнее жилище», и – откуда? с какой высоты? кем измеренной? – смотрит вниз, на того, кого ей уже «навсегда не надо» и кто продолжает брести «в ничтожестве своем» по аллеям «Кронверкского сада» (в наши дни испоганенного аттракционами для восставших масс). Такова первая особенность, вторая заключается в том, что эти выходы и прорывы не имеют (по видимости) ничего общего с историей – кроме все той же одновременности. «Рассвет в душе», как мы уже видели, приходится на самые страшные, самые «океанские» годы русской, да и вообще европейской истории; но никакой связи между занимающими нас, «рассвет в душе» очевидно и создающими, выходами в иное бытие – и войной, революцией, военным коммунизмом, гражданской войной, *в самих стихах нет*. Поэт (или, опять-таки, – субъект стихотворения) идет в 21 году по Кронверкскому саду совершенно так же, как шел бы в 13, сидит в 18 году (в котором Ходасевич на самом деле голодал, болел, жил в подвале и мечтал о получении «ордера» на покупку ботинок) на московском бульваре в совершенно мирной, почти идиллической обстановке, рядом с барышней, читающей книгу, мальчиком, возящимся в песке. Как видим, это два «не», то есть два негативных свойства, которые, как и все негативные свойства, становятся особенно отчетливы при сличении с чем-то, в чем их нет, то есть с чем-то, где они заменены свойствами позитивными. Именно такова наша «Обезьяна». В ней *есть* внешний повод для выхода в иные сферы, в «незапамятные дни» и *есть* очевидная связь с историей, с начинающимися «в тот день» мировыми катастрофами.

Этот повод и эта связь, при всей их внутренней неслучайности, все-таки остаются, конечно, по внешней видимости, случайными. «Все так и было». Была, еще раз, в день объявления войны, обезьянка, которой поэт дал напиться, которая протянула ему «черную, мозолистую» руку. Так случилось, сошлось и совпало. Превращение случайного в неизбежное и есть, в известном смысле, основная задача, решаемая поэзией. «Жизнь» или кто угодно кидает поэту мяч случая, скажем так, поэт же ловит его и прячет, чтобы со временем превратить его в стеклянную сферу стихотворения, отражающую реальность земную и не совсем, дачные заборы, далекое небо.

ИНЫЕ ЖАНРЫ...

Нина ГОРЛАНОВА, Вячеслав БУКУР

СУББОТНИК

В одном городе не было денег на благоустройство.

Городской голова приказал: 22 апреля везде провести субботник и бесплатно навести чистоту.

А была поздняя весна, под ногами чавкала грязь.

И стоял посреди моря грязи детский сад «Утречко». Ирина Леонидовна уговорила пятнадцать родителей выйти на субботник. Недовольны были папы и мамы! Ведь новорожденный капитализм выжимал все соки, а тут еще субботник, который почему-то не умер вместе с социализмом.

И вот родители по грязи прочавкали за территорию детсада. Надо было очистить полосу пять метров за оградой. А там бомжи ночевали, все сплошь горами мусора покрыто!

Прямо перед ними раскинулся диван, похожий на дикобраза – во все стороны пружины дыбятся. Слева – дипломат раскрыл кровожадную пасть, полную битых бутылок. Справа – колючее дерево в горшке...

Ирина Леонидовна начала срочно хвалить отцам и матерям их детей:

– Такая группа! Через одного – Эйнштейн, через двух – Эйнштейн...

Папы и мамы замолчали, прикидывая: кто же лучше? Все-таки никто не сравнится с Киркоровым или Алсу. В общем, вы поняли, что силы у родителей от мечтаний забурлили, и вдруг они собрали двадцать мешков мусора и даже усыновили колючее дерево в горшке.

Тут выбегает Стасик, сын Ирины Леонидовны.

– Я тоже хочу субботник! – закричал он.

– Тебе сколько лет?

– Четыре.

– А на субботник можно с двадцати, – пыталась отбиться от новых проблем его мама.

Но какое там! Сын продолжал:

– Хочу субботник! Субботник!

Тогда собирай палочки и коряжки.

Стасик хватать-похватать три коряжки и заныл:

– Палочки спрятались! Помоги мне их найти!

Мама разозлилась:

– Я работала! А тут еще этот субботник, не скажу какой! Пойдем-ка мыть руки. Пошли-пошли, а то от бомжей микробы налетят.

Она повернулась и пошла в группу, а Стасик назло остался. И без мамы субботник будет!

Тут же вокруг него стал ходить какой-то лысый бомж. Он сразу не понравился Стасику своей хитрой физиономией. Этот лысик протянул вперед руку и закричал:

– Все на ленинский субботник!

– Только не это! Только не это! – ответил Стасик.

Стасик не хотел на самом деле ни от чего отказываться – просто он недавно услышал от старшего брата новое выражение и старался примерить его к жизни.

– Я – ленин, – сказал хитрый и потрогал красный бант на засаленном пиджаке, затем снова закричал: – Товарищ! Вы единственный в мире, кто вышел на субботник на самом деле добровольно!

– Мама запрещает мне разговаривать с бомжами, – на всякий случай сказал Стасик.

Хитролысик задумался, потом покачал головой:

– Товарищ мама не понимает. Ты каждый день выходи на субботник! И я от этого через сорок дней оживу на все сто процентов.

Стасик от неожиданности выронил свои интересные палочки и коряжки. Оказывается, нужно еще слушать какого-то ленина, когда есть мама, папа, бабушка, дедушка и другая бабушка. Достали уже! Он закричал:

– Я сейчас своей воспитательнице скажу – тете Рае! – И побежал в группу.

Надо вам сказать, что этот ленин даже был похож на человека, но что-то странное заставляло отделить его от всех людей. Это странное было в глазах: они не двигались, а стояли на месте, как у мухи. Кстати, две большие мухи вились вокруг ленина, блестя зелеными боками.

И вот Стасик бежит в группу, а ленин все кричит ему вослед:

– Батенька, выходи на субботник ровно сорок дней! И я оживу-у-у! У!

И заскучавший ветер подхватил: ууууууууу!

День за днем ленин ждал Стасика, выглядывая из-за забора в виде мутного воздуха человеческой фигуры. С каждым днем он злился все сильнее: единственный в мире добровольный работник субботника в ус не дует, гуляет, знай себе, нагружает песок на игрушечные машинки. Это вам работа? Это не работа.

Наступило 26 мая, выпускной день подготовишек. Ирина Леонидовна, их воспитательница, в венке, как фея, репетировала утренник. Дети запели:

Утречко минуло,
Утро наступило.
Ты не стой сутуло:
Все вокруг так мило...

А с понедельника Ирина Леонидовна уйдет в отпуск и увезет Стасика на дачу!

– По твоей вине я выцвету, как на старой фотографии! – простонал ленин.

Тогда решил он отомстить: сбросить на голову Стасика воронье гнездо.

Растопыренное воронье жилище было заклинено в развилке тополя, который рос на участке младшей группы. Ну, ленинский призрак дождался, пока эта птица улетит за пищей для любимых деток. И когда Стасик заигрался под деревом, ленин сбросил гнездо. Но Стасик отбежал в этот миг за мячиком, и гнездо упало в красную лодку, на которой младшая группа не раз плавала вокруг света. Воронята в недоумении хрипло запищали: что такое – неужели это запланировано для воспитания?

Прилетела черноногая их мама, замахала крыльями: ах, ах, как-кар! А воспитательница тетя Рая в это время по мобильнику вызывала кого-то. Стасик понял так: сейчас приедут дружбоспасатели. Ага, понятно: они спасают дружбу между птицами и людьми.

Дружбоспасатели приехали с телевидением и в оранжевых касках. Они поставили к тополи лестницу, подняли воронье гнездо...

– Сюда? – спросил командир Службы спасения у вороны-матери.

Да, да, – кивнула она умным носом.

А корреспондентка задала Стасику вопрос:

– Ты рад?

– Я два раза рад! Гнездо на мою голову не упало! И еще дружбоспасатели хорошо спасают!

– Не дружба, а служба, – поправила корреспондентка и вдруг выпучила глаза и затараторила в камеру: – Все должны это знать! Служба спасения всегда придет вам на помощь!

В это время ленин отчаянно лез в камеру, но силы его, не подкрепленные субботниками, на глазах испарялись. Улетая по направлению к мавзолею, он потом на телеэкране был виден всего лишь как помехи. Только один раз явно промелькнула его кривая голая голова.

Стасик спросил:

- Мама, почему у ленина лысина противная, а папе она идет?
- Хорошему человеку все идет.

Коротко об авторах

Леонид Гиршович Прозаик. Родился в 1948 г. в Ленинграде. Окончил Ленинградскую консерваторию, скрипач. С 1973 г. жил в Израиле, с 1979 г. – в Германии. Гражданин Израиля. Работал в оркестрах Ленинградской филармонии, Израильского радио, Нюрнбергской оперы, Ганноверского оперного театра. Первые рассказы были опубликованы в 1976 г. В России вышли романы: «Обмененные головы» (1992), «Бременские музыканты» (1998), «Прайс» (шорт-лист Букеровской премии 1999г.), «Суббота навсегда» (2001), «Вий» (2005). Живёт в Ганновере.

Нина Горланова Прозаик, поэт, художник. Родилась в деревне Юг Пермской области в крестьянской семье. В 1970 г. закончила филологический факультет Пермского университета. Автор множества книг и публикаций в российских и зарубежных литературных журналах. Лауреат нескольких престижных премий, в том числе международных (первая премия на Международном конкурсе женской прозы, 1992, Специальная премия американских университетов, 1992). Произведения переведены на английский, французский, немецкий, испанский, польский языки. Замужем за писателем В. Букуром, с которым часто пишет в соавторстве. Живёт в Перми.

Михаил Дынкин Поэт. Родился в 1966 г. в Ленинграде. Учился на географическом факультете Педагогического ин-та им. Герцена. Автор книги стихов «Не гдай по руке» и нескольких публикаций в ведущих литературных журналах. Работает картографом. Живёт в г. Ашдод (Израиль).

Юрий Колкер Поэт. Родился в 1946 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский политехнический институт, кандидат физико-математических наук. С 1984 г. – в Израиле, с 1989 г. – в Великобритании. Публикуется с 1972 г., за рубежом – с 1981 г. Автор семи книг стихов. Еще семь книг выпустил как редактор и переводчик. Редактор, составитель и комментатор двухтомника Владислава Ходасевича (1982-83, Париж). Около двух тысяч публикаций в российской и зарубежной периодической печати (стихи, рассказы, критика, публицистика). В 1989-2002 работал на русской службе Би-Би-Си, вел программы «Парадигма и Европа». Живет в Лондоне.

Яков Лотовский Прозаик. Родился в 1939 г. в Киеве. Закончил Литинститут им. Горького. Автор трех прозаических книг и множества публикаций в российской, украинской, американской и др. периодике. Лауреат литературного конкурса радиостанции «Немецкая волна» (1991) – рассказ «Гитлер», впоследствии переведённый и опубликованный на немецком, итальянском, иврите и украинском языках. Живёт в Филадельфии, США.

Алексей Макушинский Поэт, прозаик, историк литературы. Родился в 1960 году в Москве. По образованию филолог, кандидат наук. Автор романа «Макс». Публикуется в русских литературных журналах и многочисленных научных немецких изданиях. Член редколлегии журнала "Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte" и его русской сетевой версии «Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры». Сотрудник кафедры Восточноевропейской истории Католического университета Эйхштетт-Ингольштадт. В Германии с 1992 года. Живёт в Мюнхене.

Юрий Малецкий Прозаик. Родился в 1952 году в Куйбышеве (Самара). Окончил филологический факультет Куйбышевского госуниверситета и заочное отделение

ние искусствоведческого факультета Ленинградской академии художеств. С 1977 года по 1996 год жил в Москве. С 1996 года – в Германии. В 1995 году заведовал отделом прозы журнала «Новый мир». Первая публикация – в 1986 году в парижском «Континенте» под редакцией В. Максимова – повесть « На очереди» под псевдонимом Юрий Лapidус. С 1990 года – публикации в «Знамени», «Новом мире», «Дружбе народов», «Континенте» и др. толстых журналах. Неоднократно номинирован на Букеровскую премию, в 1997 и 2007 годах входил в шорт-лист. Автор двух книг, которые вышли в московских издательствах «Книжный сад» и «Вагриус». Живёт в Аугсбурге.

Александр Мелихов Прозаик, критик, публицист. Родился в 1947 г. в г. Россошь Воронежской обл. Окончил математико-механический факультет ЛГУ, кандидат физико-математических наук. Автор множества прозаических книг, журнальных и газетных публикаций. Широко печатается в России и за рубежом, ведёт большую общественную деятельность. Лауреат нескольких литературных премий. Живёт в Санкт-Петербурге.

Борис Хазанов Родился в 1928 г. в Ленинграде. Прозаик, эссеист, переводчик. По образованию врач. Учился в Московском университете, был арестован в 1949 г. по обвинению в антисоветской агитации. Освобождён в 1955 г. Участник Самиздата. В 1982 г. эмигрировал в Германию. Многократно переводился на иностранные языки. Широко публикуется в России и за границей. Лауреат престижных литературных премий, в том числе зарубежных. Живёт в Мюнхене.

Евгений Чигрин Поэт. Родился в 1961 году в Украине. Долгие годы жил на Дальнем Востоке. Печатался в журналах «Новый мир», «Континент», «Вестник Европы», «Арион», «Юность», «Литературное обозрение», «Крещатик», «Дальний Восток» и др. Автор книги избранных стихотворений (Водолей Publishers, Москва 2004). Член Союза российских писателей, член международного ПЕН-клуба. С 2003 года живет в подмосковном Красногорске.

Владимир Шубин Прозаик, литературовед. Родился в 1949 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения. Много лет работал экскурсоводом по Ленинграду, затем в журнале «Искусство Ленинграда», Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Автор книги «Поэты пушкинского Петербурга», популярных работ и научных публикаций по истории литературы. Рассказы последних лет печатаются в русской и зарубежной периодике. В Германии с 1997 г. Живёт в Мюнхене.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАПИСКИ
Журнал русской литературы
Выходит ежеквартально

“Partner“ Verlag
Руководитель издательства: Михаил Вайсбанд
Художник: Р. Дубинский
Компьютерная верстка: В. Аввакумов
Корректор: Р. Вайнблат
Подписано к печати 15.02.2008

Адрес: “Partner“ Verlag
Postfach 104219
44042 Dortmund, Germany
Тел.: +49 / 231 / 950 94 10 (общий)
+49 / 231 / 952 973 16 (подписка)
E-mail: info@zapiski.de

Банковские реквизиты:
Konto 190 57 36
BLZ 440 700 24
Deutsche Bank Dortmund

Электронная версия в Интернете:

<http://magazines.russ.ru/> (Журнальный зал)
<http://www.zapiski.de>

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

Для подписки на журнал вышлите, пожалуйста, в адрес издательства (“Partner“ Verlag, Postfach 104219, 44042 Dortmund, Germany) Ваши данные (адрес и телефон) и квитанцию об оплате подписки: 16 евро для жителей Германии и 27 евро (или чек на 27 евро) – для проживающих вне Германии. Вы получите четыре очередных выпуска журнала.

По вопросам подписки и приобретения ранее вышедших выпусков журнала звоните по тел.: +49 / 231 / 952 973 16

АНОНС

Читайте в четырнадцатом номере «Зарубежных записок»

Прозу

Нины Горлановой (Пермь),
Александра Иличевского (Москва),
Нatalьи Петровой (Москва),
Михаила Рушанова (Франкфурт-на-Майне),
продолжение романа Бориса Хазанова (Мюнхен) «Вчерашняя вечность»

Стихи

Александра Кушнера (Санкт-Петербург),
Владимира Салимона (Москва),
Ники Батхен (Москва),
Владимира Берязева (Новосибирск)

Публицистику и эссеистику

Самуила Лурье (Санкт-Петербург),
Александра Мелихова (Санкт-Петербург),
Владимира Сечински (София)

и другие интересные материалы

